

ПЕРВАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ
БУКЕРОВСКАЯ ПРЕМИЯ за 1992 г.

ВЕК НОВЫЙ ЛИТЕРАТУРЫ

51

ISSN 0868-4936



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
БУКЕР ПЛС
ПОРТЛАНД ХАУС
СТЭГ ПЛЭИС
ЛОНДОН SW1E 5AY
ТЕЛ: 071-828 9850
ФАКС: 071-630 8029



ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ
БУКЕРА В РОССИИ

ДИРЕКТОР
БРИТАНСКИЙ СОВЕТ
ВГБИЛ
УЛ. УЛЬЯНОВСКАЯ, 1
МОСКВА 109189
ТЕЛ: 297 3499
ФАКС: 975 2561

Специальная премия Букера, учрежденная для "периодического издания или независимого издательства, которое, по мнению жюри, существенно поддерживало современную русскую литературу в течение прошедшего года", присуждена в 1992 году петербургскому журналу «Вестник новой литературы» и московскому журналу «Соло».

•
КОМИТЕТ: СЭР МАЙКЛ КЭЙН, СЭР РОДРИК БРЭТВАЙТ, КЭТРИН ФРИМЭН,
ФРАНСИС ГРИН, АЛЕКСАНДРА ХЕНДЕРСОН, КРИСТОФЕР МАКЛЕХОУЗ,
ПРОФЕССОР ДЖЕРАЛЬД СМИТ

•
СПОНСОРЫ: БУКЕР ПИЭЛСИ И ТЕТРА ПАК ИНТЕРНЭШЕНЭЛ СА, ФОНДОМ
РАСПОРЯЖАЮТСЯ БУКЕР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И БРИТАНСКИЙ СОВЕТ В
МОСКВЕ

Премия Букера — одна из самых престижных литературных премий — присуждается в Англии с 1968 года за “лучший роман года”. Ее лауреатами в разное время становились такие писатели как Айрис Мэрдок (1978), Уильям Голдинг (1980), Салман Рушди (1981).

С 1992 года учреждена «Литературная премия Букера в России» “за лучший роман года на русском языке” и специальная Букеровская премия независимому журналу или некоммерческому издательству “за особый вклад в развитие современной русской литературы”.

По словам председателя оргкомитета по присуждению премий сэра Майкла Кейна, премия Букера вручается “с целью поощрить современных русскоязычных писателей, стимулировать интерес западного мира к современной русской литературе, способствовать росту количества переводов с русского языка и расширить книготорговлю”.

“Мы уважаем великие традиции русской литературы и с радостью отмечаем, что теперь у современных писателей России появилась возможность свободно публиковать свои работы и знакомить с ними мировую общественность”.

Членами жюри русского Букера стали Алла Латынина (председатель), Андрей Битов, Эллендеа Проффер, Андрей Синявский, Джон Бейли.

Комитет Управляющих: сэр Майкл Кейн (председатель Букера), сэр Родрик Брэтвэйт, Катрин Фриман, Фрэнсис Грин, Александра Хендерсон, Кристофер Маклехоуз, профессор Джеральд Смит (Оксфордский университет).

Редакция «Вестника новой литературы» благодарит компанию Букер, уважаемых членов оргкомитета и жюри за присуждение нашему журналу специальной Букеровской премии и поздравляет Марка Харитоновна — первого лауреата русского Букера, а также журнал «Соло», разделивший с «Вестником новой литературы» почётный Букеровский приз.

ВЕСТНИК НОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

№ 5



Ассоциация
«Новая литература»
Санкт-Петербург, 1993

**«Вестник новой литературы» — независимый литературный журнал.
Выходит с 1990 года.
Учредитель издания — Ассоциация «Новая литература».
Регистрационное свидетельство № 1346.**

**Адрес редакции: 198005, Санкт-Петербург, а/я 237, «АНЛ»;
тел. редакции: (812) 110 40 72, факс 544 91 65.**

**Михаил БЕРГ — главный редактор
Михаил Шейнкер — зам. главного редактора
Константин Кирюхин — ответственный секретарь**

Редакционная коллегия:

**Виктор Ерофеев
Виктор Кривулин
Евгений Попов
Дмитрий Пригов
Александр Сидоров
Елена Шварц**

ПРОЗА, ПОЭЗИЯ

Zigmund HANSELK
Ivor SEVERIN
МОМЕМУРС

Зигмунд ХАНСЕЛК
Ивор СЕВЕРИН

Establishment production
Publishing house
London
1984

МОМЕМУРЫ

(перевод с английского и примечания Михаила Берга)

Зигмунд Ханселк (р. 1944) и Ивор Северин (р. 1941) — австрийские эссеисты, литературоведы, авторы критических работ и беллетризованных исследований в духе школы «нового журнализма».

Вместе выступают начиная с 1979 г.

Отдельно З.Ханселк опубликовал статьи: «Псевдоономастика в постмодернистской прозе» (1971), «Принципы игрового расследования» (1972), монографию «Маски рассказчика и смена интонаций в романах Вильяма В.Кобака» (1975, изд. Венского университета).

Ивор Северин: «Обманутые читатели» (1973), «Травестия и симуляция мифа как прием» (1975), «Литература русских островов» (1976).

Совместно: «Литературный коллаж» (1979), *Mystification*, или «Кто читает Алэна Барта» (1980).

Последняя написанная в соавторстве книга «Боркетт» (роман-исследование, Интеблишмент продакшн, 1982) была удостоена специальной премии французских книгоиздателей.

Название книги *Momemurs* — трудно переводимый неологизм, анаграмма, построенная, очевидно, на фонетическом соединении частей таких слов как *memoris* (мемуары), *mummy* (мумия) и, возможно, *rubbish* (чепуха) (*прим. пер.*)

ВЕТЕР

Буря мглою небо кроет.

А.Пушкин

Ветер дул, завывая в пустотах, наполнял легкие высотного дома, гулял по неведомым переходам и свистел сквозь ноздри розетки. Поднести к ней руку — холодит в две дырочки. И некто, навалив на нее рыхлое облако подушки, закручивал в полудреме плед под лодыжку, а другой край на голову, чтобы оборвать пуповину звуков — беснующейся за окном сентябрьской непогоды — поневоле, на мгновение, затягивая в воронку взгляда анненковского Ходасевича с шахматами на плече, глядящего на него с прищуром черно-белого оберлуца, увеличенный фототипический план С.-Петербурга с ближайшими окрестностями 1914 года (копия с приложения к адресному справочнику Суворина «Весь Петербург»), который именно в эту секунду всплеснул — от порыва ветра — крыльями свободных от кнопок углов и затрепетал, передавая волну аксининской гравюры с обычным для него перенаселенным пространством: планетами и механизмами, все в кружочках с цифрами. Взлетели фалды занавесок, выводя за руку из тени круглую рублевскую Троицу, серебряный фруктовый нож, чашку с недопитым чаем и яблочный огрызок на подоконнике; рядом заваленный бумагами стол — и толкнул тело куда-то вбок и вниз в поисках блаженной выемки для сна. Затем осторожно прислушался — лифт лязгнул челюстями и заскользил по шахте.

Да, помнится, все происходило именно так — о наводнении, которое началось ночью, узнал только через несколько дней, хотя по тому, как ветер, звеня и гудя стеклами, утюжил дом и ходил с посвистом по перекрытиям, щелям и коридорам, можно было догадаться — и однако. Домашние были на даче, а он строил, поминутно разрушая, хлопчатобумажные ловушки из истерзанной простыни, подушки и витой улитки пледа, но полусонная душа все выскальзывала и улетала в щелки и незаделанные отверстия — то локоть затекал и билась жилка, то душно и липла к губам сырая наволочка. Не обмануть, не обвести себя вокруг пальца — ждал, сам не зная почему, гостей дорогих, монастырских ребят.

Да, были предчувствия — хотя, если взглянуть равнодушно со стороны, то вздор. По крайней мере — без такой очевидности, что именно сегодня, когда некому сказать последнего слова и никто не увидит. Несколько раз уже за последние годы приоткрывалась эта глава — на время, но попадал в опасную зону, а теперь безрассудная статья в эмигрантском журнале.

рантской «Русской мысли», звонок из Парижа об издании книжки, последние вызовы в местный «монастырь», чья косилка стала косить все ближе и ниже, брея почти начисто, а главное — те неуловимые иголки предчувствий, что кололи как при морозе кожу, — может, пустые страхи, а может, и нет.

Итак, пусть читатель представит себе совершенно ему незнакомого писателя, который на окраине бывшей северной столицы ворочается в своей постели, в углу комнаты, в ожидании ареста. Ночь. Ветер с моря. Маркизова лужа. Последняя четверть двадцатого века. После полуночи началось наводнение, о коем он, скорее всего, если ничего не изменится и все пойдет как по маслу, узнает только на третий день. Полное отсутствие трагедии.

Но, скажет читатель: что это за писатель, и если он хороший, то почему я не знаю? И потом: почему сразу «ареста»? Может быть, он, как бы это сказать, непорядочный человек и совершил что-то нехорошее? Ну, там, украл ложечку в мороженице или же, будучи подшофе, решил справить малую нужду на постамент самого любимого в городе памятника и был в этой глубокомысленной позе (метко названной Бейкером «позой священного треножника») задержан представителями порядка или просто вольными стрелками, энтузиастами борьбы за чистоту? И с незастегнутым ментиком, то есть я хотел сказать — мотней, или, скажем на европейский манер, зиппером, был застигнут на месте преступления, после чего неуместно, как Чацкий на балу, стал изрезать перед лицом общественности обычные, не подходящие к месту благоглупости, переходя постепенно, как популярный местный полководец, от защиты к нападению: мол, это вы сами во всем виноваты, где, говорю, места общего пользования (и договорился до антипропаганды)? Или, если все не так страшно, и он не совершил ничего эдакого и провинился на ниве, так сказать, литературного просвещения, обманув ожидания страстно жаждущих правды соплеменников (но так как его, если можно так выразиться, нация нам неведома, то лучше сказать — современников)? И вообще, хотелось бы узнать, что именно он написал и в каком стиле и духе, не было ли там, знаете, боюсь быть неправильно понятым, эдакой возни с ничего не значащими, но превратно истолкованными мелочами? Скажем: что такое фасеточное строение глаза — это глаз в мелкую клетку или, когда видишь одно, а говоришь другое? И потом, дьявольская разница — молодой начинающий писатель перед нами, и тогда вполне понятно и объяснимо, почему он неизвестен, ибо неизвестен он только пока; или закосневший в своем упрямстве имярек, что не желает считаться ни с какой реальностью и требованиями времени, а только как его левая фанаберия пожелает, и тогда его совсем и не жалко, а даже напротив, раз он эдакий плешивый карбонарий и совсем не хочет прислушиваться.

Но, кажется, мы слишком отвлеклись. На часах — ночь. Ветер, крепчая (хотя вроде бы некуда), дует с моря. Вода прибывает, и что-то свистит, воеет за стеной, будто там пустота, конура для ветра, где он ворочается, вертится, укладываясь поудобнее, и сквозь черные дырочки розетки проникает в комнату. Непогода. Крутит и вертит. Прекрасно. Что может быть приятней этого извечного ощущения тепла и защищенности, тонкого домашнего уюта, если за окном разыгралась битва теплых и холодных воздушных потоков, а ваша душа — как и подобает при наличии художественных склонностей — до краев полна романтики.

Но тому, кого мы — весьма, впрочем, условно — обозначили мало-вразумительным словом *писатель*, все же, если нам не изменяет чувство природы, не по себе. Вертится, крутится, как непогода за окном. Если накроет себя с головой — тише, спокойнее, но душно; чуть оголится ненароком обнаженная лодыжка — через две минуты холодная, как у лягушки, ибо поддувает, черт бы его побрал, откуда-то снизу. Вроде бы, что человеку надо? Радуйся, что живешь на побережье, что прямо из окна можешь наблюдать наводнение, а не какое-нибудь опасное для благополучия извержение и землетрясение, а то еще муравьи тропические могут поползти шириной в километр, или тарантулы, которые в мае кусают до боли и смерти. Так нет же! Вращается, извините за идиоматическое выражение, как *говно в проруби*, вместо того, чтобы мечтать, коли на то пошло и не спится, наблюдать непогоду за окном и обдумывать своего Медного всадника. Нет, не спит, себя пытаюсь обмануть, смотрит вроде бы сонными гляделками — хотя сна ни в одном глазу — на будильник, кумекает что-то про себя, как пить дать, решает: могут еще сегодня заявиться, или лавочка закрыта до завтра и монастырские ворота, как граница, на замке? Хотя, если подумать, тебе ведь всегда карты в руки, любой материал впору: не хочешь Всадника — пиши Сахалин, и благодари за это людей.

Но, если уж быть честным до конца, то, возможно, неизвестный писатель ворочается вовсе не от страха ареста или, там, обыска (дело обычное и приватное), а ворочается он в самых настоящих творческих муках. И не постель ему сейчас, а пылающие угли, или, лучше сказать, тлеющие угли, так как пылают дрова и поленья, а тлеют угли и все маленькое. Потому что неизвестный писатель вполне на внешний вид не такой уж молодой и начинающий, а совсем даже наоборот: во всю раскручивающий свой четвертый десяток творческой судьбы, написавший — для неизвестного писателя неприлично много (так как раз неизвестный, то чем меньше, тем лучше, ибо больше надежд). И поэтому вполне можно представить, что ворочается он в творческих муках на постели именно потому, что писать ему не для чего и некому, хотя и хочется, и что творческие муки — это преждевременные творческие муки, то есть когда еще творчески мучиться не начал и даже не уверен, что начнет, но

что-то неумное в душе требует и велит, а безразличное пространство вокруг говорит: не надо. Пиши, не пиши — ничего не изменится. Вот это трагедия так трагедия, только представьте себе: живет неизвестный писатель вполне писательской жизнью, а с окружающим пространством договориться не может. Не требует у него пространство ничего, не тянет, как у паука, ниточку слюны, чтобы он наплел прихотливые узоры, облагородив этим свой жизненный угол и удел и выполнив сим свое жизненное предназначение. А без тяги куда: если тебя не искушает пространство и вполне обходится без тебя, то и ты не искушаешь его. Без тяги никакой огонь — ни творческий, ни метафорический — как ни крути, не пойдет пожаром.

Да, пожалуй, стоит согласиться с читателем, что его вопросы вполне (если не сказать более) уместны. Что это за писатель такой, что ночью ворочается, не находя себе места на собственной постели, во время очередного вращения, как поэтический конь, косясь глазом на будильник и поневоле захватывая трехстворчатый иконостас, два коллажа (игральные карты, бумажные флаги, заголовки старых газет) и овальное зеркало (без рамы) посередине. Прислушиваясь к звукам в парадном и за окном. Вглядываясь в полустертый алфавит ночи. Что-то не так. Эдак не годится. Откуда сомнения? Положено, как говорится, по штату? Арест или муки? Почему? За что? Может, это новомодный Гамлет? Или, прости Господи, Пиндάρ? Непонятно. Читатель недоумевает. И ждет ответа.

И — пока еще не раздался звонок (или, наоборот, серебряный колокольчик волоокой музыки) — мы попытаемся разобраться. В том-то и дело, что у нас — совершенно, конечно, случайно — имеются всевозможные, но разрозненные материалы, записки, неоконченные наброски, портреты, начало статьи, воспоминания, заметки на полях и прочая рукописная шелуха. Откуда же берутся такие писатели? Вот и попытаемся прокомментировать эти оставшиеся от неизвестного писателя листы, собранные в зеленой картонной папке, составив из них шитое белыми нитками лоскутное одеяло ответа. Возможно, читатель будет удовлетворен. По меньшей мере — развеет туман. Вдруг получится. Начнем.

НАЧАЛО

Детство (читаем мы на первой из семи страниц *in quarto* с дряблой складкой на животе листа, ибо рукопись — фиолетовые, выцветшие чернила, хранилась, очевидно, сложенной пополам), детство (продолжаем цитировать документ, который будет приведен здесь полностью вместе с исправлениями и комментариями) — всегда центр тяжести, и чем оно тяжелее, тем лучше. В известном справочнике лорда Буксгевдена «Кому Нобелевскую премию» (пособие для молодых романистов) сказано, что несчастливое детство — лучшая школа. Я* бы мог ответить лорду Буксгевдену, что прошел эту школу, так как какое еще может быть детство у кроткого, хилого, хорошо воспитанного мальчика, который умудрился родиться в глухой русской колонии на окраине Сан-Тьеры за год до смерти нашего славного диктатора генерала Педро (и в самый разгар инспирированного им дела левых журналистов). Но все ли столь просто, готов спросить я у уважаемого Карла Буксгевдена? Однако о детстве мною и так написано предостаточно, и я отсылаю к источникам. Вторая глава — это юность, о которой еще Екклесиаст сказал, что она — суета.

Вне зависимости от того, где вы появились на свет, в Сан-Тьерре или в Ватикане, на окраине Кордуллы или в Авиньоне, от четырнадцати до двадцати само существование кажется порой чудесным сном — особенно, если вы родились пусть не в очень богатой, но в обеспеченной (хотя и на глазах беднеющей) семье держателя акций химического концерна, — или, по меньшей мере, приемлемым, чтобы не задумываться над его смыслом. А возможность все новых и новых открытий эксплуатируется щедро, словно золотая жила, не имеющая предела. Возмужав (а в детстве я был действительно узкогрудый, низкорослый, слабый мальчик, терзался этой слабостью, был скрытен, замкнут в свою скорлупу и болезненно самолюбив), итак, возмужав, я совершенно неожиданно для себя и окружающих буквально за год-полтора перерос на две головы, перегнал в развитии чуть ли не большинство отпрысков русских семей всего нашего квартала. И получил возможность для защиты и утверждения своего достоинства, почти избавившись от комплекса неполноценности из-за своего происхождения. На свою беду, выправившись физически, я приобрел достаточно смазливую внешность (которая

* Текст написан от первого лица, хотя, возможно, это и мистификация, и «я» рассказчика не совпадает с авторским «я», но у нас есть основания полагать, что все приведенные в дальнейшем факты соответствуют биографической канве (прим. изд.)

впоследствии, к счастью, несколько погрубела), будто сошедшую с обложки журнала «Лайк» или «Трансатлантик ревю», или, еще вернее, — журнала для старых дев «На досуге», и нырнул в омут первых любовных побед и простых радостей жизни. Только по привычке, перешедшей в физиологическую потребность еще в пору кропотливо одинокого детства, я обильно пичкал себя чтением, которое являлось единственной стоящей начинкой того времени. Короче, я отдавал дань своему легкомысленному веку и не менее легкомысленному поколению, второму поколению русских эмигрантов: жил ради того, чтобы жить.

Однако веселая жизнь хороша тем, что быстро набивает оскомину. Очнувшись однажды, я обнаружил себя студентом факультета естественных наук столичного университета, кем стал с легкой руки своего отца, давно растерявшего дедовские акции и теперь занимающего более или менее приличную должность в некогда принадлежавшей ему кораблестроительной фирме, а оглянувшись назад, увидел, как мог бы сказать Уильям Данбер, «*virgin land, where I have not left any trace*» (целину, на которой я не оставил ни одного следа). Такая же нетронута стерильная целина лежала передо мной и впереди, но если раньше, не задумываясь, я шагал по инерции, то теперь каждый шаг вызывал подозрение из-за страха сбиться с пути.

Что заставило меня поглядеть через плечо? Неудачно сданный экзамен, окончательно разочаровавший в получаемой специальности; фиаско в любовной истории с женщиной, что была на хрестоматийные пятнадцать лет меня старше и отнюдь мне не нравилась; пресыщение лучезарным светом юности, из которой я вышел мрачным угрюмым скептиком; или происшествие, заставившее внезапно споткнуться о неведомый порог (совесть? перверсия похоти? юношеский бзик?): наверно, все вместе — конкретной отправной точки не было. Случилось то, что симпатическими чернилами было написано мне на роду: конечно, решил стать писателем.

Отвечая на вопрос Стенли Брюнера, я, вероятно, несколько удивил своего интервьюера, сказав, что писать я хотел всегда. Думаю, он посчитал мой ответ претенциозным. И в некотором смысле был прав. Принятое решение вряд ли можно назвать удачным. Будь я смелей и откровенней, встретить я человека, понявшего и раскусившего нехитрую угловатость моей натуры, я бы остался, вернее, — стал нормальным здоровым филистером, и необходимость делать из литературы форму существования отпала бы. Этого не произошло. С детства болезненное ощущение исключительности томило меня тем сильнее, чем глубже приходилось его скрывать. Мое положение напоминало состояние беременной, узнавшей, что плод в ней неправильно повернут и кесарево сечение неминуемо. Ситуация осложнялась тем, что с самим собой я был незнаком, хотя, как герой Мики Джексона, автора знаменитых в начале века повестей, привык говорить о себе в третьем лице.

В двадцать лет я продолжал рушить преграды, чреватые стоявшие передо мной в десять: боролся против ветряных мельниц, превращенных в грозных идолов воображением хилого и впечатлительного мальчика из русской колонии в чужой стране. Как это бывает, масштабы внутренне-го и внешнего «я» не совпадали: я подходил к себе предвзято и неточно расставлял акценты. Преимуществами возводил в ранг недостатков, а недостатки высокомерно не замечал. Не представляя последствий, в пору первой юности (и под стать ей) я увлекся западной литературой — за месяц прочел в Национальной библиотеке все пять томов Пруста в издании 36-го года, там же в журнале «Литературные осколки» наткнулся на куски «Улисса» (то, что успели напечатать до ареста переводчика), просматривал «Русский журнал» с произведениями современных русских авторов, долго ходил под впечатлением «Ада» Холлинга, прочел все рассказы Барта, Генри Джефферсона и, прежде всего, их общего неблагодарного ученика. Прочитав книгу последнего о Париже, я был введен в опасное заблуждение: ремесло писателя, поданное аппетитно, казалось самоцелью, процесс вождения пера по бумаге наполнялся невыносимо сладостным смыслом, а героический пессимизм писателя-эмигранта (конечно, меня соблазняла параллель) — единственной стоящей формой отношения к жизни. Я не заметил, что парижская бедность (а бедность всегда лакома, если вы живете в обеспеченной и респектабельной семье) скроена из той же самой материи, что и лохмотья нищего в мюзиклах Лопеса, а тому, что у страны, где мне предстояло жить, не было Парижа, просто не придал значения.

Иллюзий насчет легкости литературного ремесла я не питал, напротив: априорная трудность писательского пути придавала только дополнительную прелесть и значимость этому сомнительному занятию. Бытие в искусстве виделось мне наиболее устойчивым и уравновешенным состоянием, а литература казалась индульгенцией несовершенных грехов и оправданием отпущенного жизненного срока. Еще не получив кредита, я уже мучил себя мыслями о расплате. Мысль о конечности земного круга находила для себя успокоение: творчество казалось панацеей от бесследного исчезновения. Серьезно решив писать, я часто думал исключительно о себе, остальные интересовали меня лишь постольку, поскольку им предстояло стать моими читателями. И это, в общем, неудивительно. Как и многие, я смотрел через свое непрозрачное «я» и, конечно, ничего за собой не видел. Для себя самого я был «ding an sich»*.

* Пародийный оборот, впервые примененный И.Кантом в его «Критике чистого разума» (прим. пер.)

За шесть лет попыток войти в литературу было несколько, я входил в нее в несколько приемов, как боязливые американцы, привыкая, входят в холодную воду на побережье. От каждого шага оставалась одна или две неоконченные странички, их продолжение даже не подразумевалось. Решил стать писателем, я почему-то не сомневался, что стану писателем великим и, естественно, разрешил себе только шедевры. Ощущение исключительности уравнивалось отношением к себе как к объекту литературы. Я был тонкой мембраной, что испытывает давление изнутри и извне. Преувеличенное мнение о себе наталкивалось на внутренние и не менее суровые претензии, и последнее обстоятельство избавило меня и мой дом от потока исписанной бумаги.

Не очнись, как после тяжелой болезни, от промелькнувшей юности, я так и остался бы писателем в уме, писателем белого листа, на всякий случай глядящим на всех сверху вниз, с высоты своего несозданного гениального произведения. Впоследствии я неоднократно читал это чувство в глазах других: иллюзия превосходства, подсчитанного по принципу минимума потерянных очков, — шаг, не сделанный и оставленный про запас, намекал на скрытые неиспользованные возможности. Будь мои отношения с жизнью более интимными, научись я без стыда и ненужного раскаяния переносить простые физические радости, я бы в конце концов тоже научился тайно презирать потенциальных собратьев по ремеслу, а очередная попытка по параболе устремилась бы в неосуществимую бесконечность. Но, проснувшись однажды дождливым утром, я понял, что жить мне скучно, жизнь, как она есть, мне не по нраву, для существования, похожего на пыльное зеркало Уайльда, просто не было сил, — и решил стать писателем, не откладывая в долгий ящик, начиная с этого же утра.

Ангелина Фокс, молоденькая девушка, навестившая меня как-то по заданию редакции вечерней газеты, поинтересовалась, о чем был мой первый рассказ? В этом рассказе я описывал свое возвращение в тесный колодезный двор с деревянной двухмаршевой лестницей и старым деревом посередине, в дом дедушки Рихтера. Возвращение было мнимым, я его выдумал, реального возвращения не было. Почему возникла эта тема? Я объяснил Ангелине Фокс, что в очередной раз испугался смерти, пустоты, аннигиляции и спешно стал рыться в памяти, ища место, где можно спрятаться. И первым, что пришло на ум, вынырнуло, точно парус из-за линии горизонта, было огромное дерево (*русский тополь*, как говорили в нашей семье), проросшее мое детство насквозь (рядом со мной? плечом к плечу? как двойник?). Это дерево не было для меня субстанцией, оно было функционально, и под его сенью я решил создать свой первый рассказ. Я возвращал себя, то есть «его» (третье лицо, казалось, снимало все возможные упреки) вместе с очередной прелест-

ной приятельницей в город некогда покинутого детства и заставлял эту парочку около часа пробыть во дворе дома дедушки Рихтера.

«Он», бартоновского типа, сдержанный и молчаливый, ничем не выдавая ассоциативных переживаний, молча вел свою спутницу по деревянной двухмаршевой лестнице, звонил в ностальгически знакомую дверь (крашенную бугристо-зеленой краской); и полчасика, после того, как на звонок никто не отозвался, сидел на верхней щелистой ступеньке и громоздил рубленый диалог с хорошенькой, но, конечно, мало его понимающей собеседницей, настоящей героиней новеллы с подтекстом: она умела лукаво скрещивать стройные ноги в тонких чулках, откидывать назад волосы, показывая боттичеллиевскую линию лба, и курить с ловкостью заправских гангстеров. Мотив возвращения служил обрамлением: внутри него герой (то есть я) перебирал воспоминания, как перебирают части механизма, из которых не составляется целое. Я с интересом открыл, что являюсь не цельным и сплошным, а состою из частей: и где-то в углу на чердаке были свалены в кучу покрытые слоем пыли забытые детские страхи и не менее чудесные дары волхвов, прикосновения к которым оказались сладостно-болезненными, как к шатающемуся зубу или к подсыхающей корочке ранки.

Через какое-то время я написал еще один рассказ. К концу года их было уже несколько. Отличалось ли мое литературное начало от прочих известных дебютов? Тому же Стенли Брюнеру я ответил, что по сути — вряд ли. Сочинительство стало для меня анабиозом, словесной летаргией, ожиданием изобретения в будущем лучшего лекарства от смерти. Не находя ни в своей, ни в жизни окружающих никакого смысла, я наскоро попытался смастерить смысл искусственный, заменив им отсутствие подлинного. И додумался до хитрости, известной, конечно, до меня: решил раздвоиться, одновременно являясь для себя и субъектом и объектом.

С самого начала я мечтал написать книгу, которую, как читатель, и хотел бы прочесть. Мне нужна была книга — двойник, собеседник, друг. Игра называлась: найди себя. Я пошел испытанным путем: стал искать себя в других. Находил и собирал отдельные части своего «я» и пытался составить из них целое, как в игре puzzle*. Это была не компиляция, а прием, характерный для русских саг, использующих живую и мертвую воду для преодоления скучной смерти. Момент воскрешения, преодоления небытия взял меня на прицел — наведенную мушку я чувствовал, как только оставался наедине с бумагой.

* Игра, завезенная европейцами в начале 20-х годов и ставшая излюбленным развлечением жителей колонии (прим. изд.)

Присутствовал и еще один мотив — я бы назвал его «набуханием в точке» — истоки его таились в моментах тихой истерики, случавшейся со мной в детстве, когда порой на меня накатывало почти непреодолимое желание устроить развязку немедленно, не сходя с места: выйти из жизни, как выходят подышать из продыmlенной комнаты. Это была все та же живая и мертвая вода или «единство диалектических противоположностей», сросшихся во мне, как сиамские близнецы.

Так уж устроен человек, что все безвозвратно потерянное он начинает ценить неизмеримо больше. Человеческая душа дальнoзорка, чтобы разглядеть как следует, ей нужно расстояние, перспектива. Потеря отодвигает предмет или чувство в туманную бесконечность, только самые четкие очертания светятся в темноте; мелочь, шелуха, царапины тонут во мраке. Осознав еще в далеком прозрачном детстве свое предназначение, я несуразно полагал, что стоит мне написать настоящую книгу, овладеть ключом мастерства, как этот ключ откроет дверь в насыщенную, волшебную и прекрасную жизнь (именно банальный эпитет — волшебный — наиболее точно обозначал нелепый призрак существования, для которого я честно не жалел никаких сил). Чем труднее мне писалось поначалу, чем въедливее я был собой недоволен, чем больше препятствий мне приходилось преодолевать, тем крепче становилась эта нелепость, обрастая сучками и покрываясь непробиваемой броней уверенности.

Как передать мои чувства, когда написав, наконец, книгу, которой остался доволен, ту настоящую книгу, которая мнилась мне в виде магического ключа, открывающего все, что угодно, — я очутился у корыта разбитого заблуждения. Перейдя заветный рубикон, я оказался не счастлив, как простодушно полагал, а куда более несчастен: разбогатев ровно на одну книгу, вернее, тогда еще просто рукопись, я обеднел на одну, но хорошую хрустальную иллюзию. Все приходилось начинать сначала, но игра складывалась не в мою пользу. Мне предстояло носить воду в решете, в котором с каждым шагом появлялось все больше дыр. За припадками мгновенного счастья и ни с чем не сравнимого наслаждения, что на протяжении сотни страниц посещало меня не более десяти раз, я должен был расплачиваться пропастью тусклой пустоты и не менее тусклой прoстрации, куда падала душа, поставив последнюю точку. Тогда-то я и понял, что писатель — Das Undinchen das aufden Messen gent*: за радость творчества нужно расплачиваться болью души. Узнав это, я вздохнул, помедлил — и побрел дальше.

* Андерсеновская русалочка, ступающая по ножам (прим. пер.)

СОЮЗ ТРЕХ

Три — священное число всех религий и основа многих игр.

Энциклопедия Ци-Кон Фу.

Да, все, пожалуй, было именно так, как описано в эссе будущего лауреата Нобелевской премии, незабвенного сэра Ральфа Олборна, которое профессор Стефанини (его основной биограф и исследователь) весьма приблизительно датирует концом последнего года первого десятилетия творчества писателя. Но сам жанр — своеобразное ситечко, предназначенное для отделения более крупных частиц от более мелких, — лишил повествование столь драгоценных для нас подробностей, которые мы и попытаемся, по мере наших скромных сил и возможностей, восполнить.

Однако, если период, увенчанный дотошной славой и известностью, исследован почти досконально, переливаясь всеми цветами оттенков и комментариев, то фактов — даже на суконной подкладке сухих предположений, касающихся столь благословенного начала, — тем меньше, чем дальше от нас то чудесное и таинственное время.

Известно только, что, поселившись с молодой женой вдали от шумно говорливого центра города, за первый год или полтора своего вдохновенного литературного ученичества, Ральф Олборн написал около десятка рассказов и одно более крупное произведение, то ли повесть, то ли роман с неизвестным названием — никто, с кем мы беседовали, не видел их воочию — писатель долгое время держал свои ранние рукописи под спудом, а потом, скорее всего, уничтожил. Единственный рассказ, избежавший беспощадного аутодафе, очевидно, неоднократно переписанный и переделанный, — это все тот же рассказ о возвращении и дереве, что росло в глубине двора-колодца. Все остальное пропало во мраке.

Мнения по поводу его службы расходятся, но профессор Стефанини, любезно согласившийся помочь нам своими бесценными советами, утверждает, что сэр Ральф долгое время служил в каком-то информационном бюро, принадлежавшем его отцу или приятелю.

Кое-какие подробности сообщил нам еще один весьма важный свидетель, профессор русской словесности Герман Нанн, более других, как оказалось, знакомый с ранним периодом творчества сэра Ральфа, посещавшего своего профессора раз-два в год на правах бывшего ученика. Правда, сам г-н Нанн был озабочен улаживанием дела с несурьезной дуэлью, на которую его только что вызвал один богемный сант-пьерский поэт (зачем и почему — об этом речь впереди), но, несмотря на дуэль-

ный фон, профессор утверждает, что сразу угадал блестящее будущее, ожидавшее молодого писателя в самом ближайшем времени, и намекнул, что несомненно оказал на него самое благотворное влияние.

Это влияние, с характерной итальянской запальчивостью, категорически отрицает мэтр Стефанини, утверждая, что если на Олсборна и произвели впечатление несомненная эрудиция и достаточно традиционная образованность пресловутого Нанна, то о влиянии — иначе, как отрицательном, то есть выражающемся в отталкивании — говорить не приходится. Характерная для этого господина (и шестидесятых годов в колонии) национальная направленность не могла не вызывать раздражения у сэра Ральфа, что, возможно, и привело в дальнейшем к прекращению всяческих сношений между ними.

С трудом удалось нам разыскать двух бесценных свидетелей, товарищей Ральфа Олсборна по лицу, некогда пробовавших себя на кремнистом литературном поприще, хотя и их сведения отличаются противоречивостью и туманностью (свои фамилия они, по вполне понятным соображениям, сначала попросили не называть, но впоследствии, в интересах дела, сняли свой запрет). Один из них, г-н Сильва — сменил за свою жизнь множество увлечений; человек катастрофически разносторонний, еще в студенческие годы открывший новое пространство, в которое пространство Эмерсона входит лишь как частный случай, он перепробовал себя в самых разных областях, везде оставляя заметный след (сейчас, правда, он скромно преподает на одной малозаметной кафедре и одновременно, конечно, под псевдонимом печатает весьма достойные литературные статьи в русских эмигрантских журналах).

Второй, г-н Альберт, уже давно отошедший от литературы, намекал несколько раз в разговоре, что сохраняет в своем архиве нечто весьма примечательное, способное произвести чуть ли не переворот в архивистике, но был при этом небрит, нетрезв и каждый раз удивлял нас новым настроением. И, к тому же, не всегда точно и удачно выражал свои мысли. Однако на фотографии двадцатилетней давности, ее нам любезно предоставил профессор Стефанини, мы видим перед собой высокого голубоглазого красавца-блондина, с мощным и сильным подбородком, статного и широкоплечего, который с подкупающе детской и томной улыбкой, с приятным взглядом, в нем читаются славная уверенность и надежды на будущее, — что-то говорит через стол будущему лауреату Нобелевской премии; этот симпатяга-блондин с подковообразной нижней челюстью (ему на колени положила кудлатую голову огромная черная собака неизвестной породы) и есть г-н Альберт; справа у окна, потупив горящий взор, сидит миниатюрный Сильва. Привет, друзья, что может быть прекраснее начала.

Три начинающих литератора, три судьбы, три взгляда на жизнь и островную литературу, которую каждый из них видел по-своему.

Есть что-то волшеббно-ностальгическое в тех достаточно банальных описаниях прошлого знаменитых людей, если эти описания касаются времени, предшествующего тому, что Кит Сигтер назвал «а point of success» (точкой успеха). Любые события лишь оболочка, каждое время фарширует их новым содержанием. Но двое новых знакомых сэра Ральфа, похоже, действительно были восхищены создаваемой им вокруг себя аурой фантастической уверенности в себе, которая производила на окружающих поистине магическое впечатление. «Представьте себе, — сказал г-н Сильва, любезно согласившийся помочь нам усилиями своей памяти, — затхлую провинциальную жизнь диаспоры, в которой, кажется, уже не может появиться ничего живого. Ощущение затухания. Мелочность интересов. И вдруг появляется человек, который уверен, что все можно начать сначала. И создает вокруг себя оазис культуры. Конечно, я был потрясен тем, что увидел, и тем, что услышал. И — тем более — тем, что прочел. Изумляла мощność замаха. Я уже не говорю о культуре слова и мысли. Я по сути сразу понял, что передо мной открывается новая эпоха».

Г-н Альберт куда менее охотно, нежели г-н Сильва, согласился отвечать на наши вопросы. Говорил он, постоянно потирая левой рукой небритую щеку, хмурился и не переставая дымил, прикуривая от собственного окурка. «Культура мысли и слова? Не знаю. Думаю, это aberrация. Сильва выдает желаемое за действительность. Да и откуда? Обыкновенный недоучка, не кончивший университетского курса. Думаю даже — с комплексом недоучки. Такие люди всегда стремятся оснащать свою речь наукообразными словами. Утром прочел новое слово, обрадовался, что узнал, а вечером уже употребляет его, как свое, как само собой разумеющееся. Лично меня всегда не оставляло ощущение, что Ральф постоянно встает на цыпочки. Как бы стараясь показаться и умней, и образованней. Непрестанная поза, которая теми, кто не знал его с детства, почиталась за истину. Поза, которая — как бы это сказать — приросла к лицу. Он всех лучше, смелее, сильнее. А ларчик открывался просто. Он был богат, мы — бедны. Да, потом его отец разорился, но снисходительность богатого и уверенного в своем будущем человека осталась в Ральфе навсегда. Именно высокомерная снисходительность к окружающим, якобы доброжелательность, которая на самом деле не стоила ему ни гроша. Он умел удерживать вокруг себя людей, которые ему именно сейчас нужны. Он высасывал человека, как апельсин, а когда сок кончался, бросал его себе под ноги. Человек, которого интересовал он сам и никто другой — *его* романы, *его* судьба, *его* взгляд на историю. Дутая популярность».

Нас, однако, не удивила эта инвектива. Даже Александр Сильва, более точный и проникновенный, чем г-н Альберт, признался нам, что еще до того, как сошелся с Ральфом Олсборном коротко, с лица встре-

чал его в разных компаниях, и хотя Олсборн уже тогда производил тревожное впечатление и обращал на себя внимание, но с совершенно неожиданной стороны. Скорее бросался в глаза его несколько фатоватый и намеренно аристократичный, а может быть даже ложенный вид, за коим вполне можно было подозревать, — что, как признался Александр Сильва, он и делал, — легковесность и высокомерие сноба. И только впоследствии понял, как был неправ. «Понимаете, — сказал он, — человек переживал культуру как свою собственность. Он так никогда не говорил, но, я думаю, ощущал, что мир как бы ожидал его. Ждал его появления. И отсюда огромная ответственность, которую он таким образом взваливал на свои плечи. Конечно, любому мощному таланту всегда приходится прорывать сопротивление в восприятии его окружающими. Его хотят втиснуть в традиционный образ человека и писателя-гуманиста, а он отстаивает право быть самим собой и никем другим. Это — фантастическое ощущение свободы. И какое-то сильное, волшебное поле вокруг — возле него можно было дышать полной грудью. Любой человек ощущал себя свободным и одновременно причастным к чему-то настоящему, что особенно ценно, когда вокруг духота и мерзость приниженности. Но, конечно, и натура, и творчество Ральфа были не лишены своеобразных провокативных черт. Он как бы двоился, слоился, искрился, а люди стремятся к определенности, однозначности, отчетливости. Все грандиозное они хотят разложить по полочкам, увидеть в нем то, что уже знают. Но ведь интересно и важно только то, что еще неизвестно, чего не было, не существовало на свете. А Ральф сумел именно это. Вызывая восхищение, — жестко, точно, сосредоточенно реализовывал себя, не сомневаясь в своем предназначении. И только потому сумел стать тем, кем стал впоследствии. Вы меня понимаете».

Нас не удивили эти разночтения — образ любого (а тем более великого) человека многогранен и несводим к общему знаменателю расхожих требований, как ни хотелось бы этого тем, кто идет по его следу. Но в описаниях г-на Сильва нам не хватало конкретных деталей, тех терпких, сочных и точных подробностей, которые придадут любому самому грандиозному облику черты теплой и единственной достоверности. Нам необходимы были факты, факты и факты. Поэтому мы продолжали свои поиски.

Придя во время одной из наших встреч к г-ну Альберту, мы нашли его на кухне, стоящим в трусах и с папиросой во рту на кухонном столе и прилаживающим какую-то полочку к стене, под восторженные вопли своего многочисленного потомства. Мы были явно некстати и решили благоразумно ретироваться, хотя о встрече было договорено заранее, и мы явились по приглашению; но г-н Альберт дал кому-то из своей оравы подзатыльник, и те — мал мала меньше — мгновенно бросились враспынную, разлив початую бутылку пива, стоявшую у босых ног отца.

Очевидно, ему самому хотелось повспоминать, и он уговорил нас остаться. Долгое время беседа не получалась, г-н Альберт отвечал невпопад, хмурился, курил, не переставая, русские папиросы, тер ладонью грудь и потягивал заварку из носика чайника, в очередной раз предлагая чая и нам, но мы, чувствуя себя весьма неловко, только выжидали время, чтобы в удобный момент распрощаться. «Да, — как-то кисло улыбнувшись на наш вопрос, который он, кажется, не расслышал, наконец ответил Альберт, — жестокий был господин. Именно жестокий, а не жесткий. Пример? Пожалуйста. Это знают немногие. Ральф в одном романе описал нашу общую знакомую, причем так, что героиня и похожа на нее и не похожа: довел все ее черты до крайности, как бы до гиперболы, до бесстыдной откровенности — но самое главное: предначертал будущее этой нервной, больной, а иногда и полусумасшедшей женщины, по сути дела за руку довел ее до самоубийства. Пусть в воображении, но показал туда дорогу. Вы говорите — зато роман получился прекрасным? А я вам скажу: я никогда не был в восторге от того, что он кропал. Так, интеллигентская стряпня. Для меня литература — задушевный разговор, от души к душе. А тут — ни одного живого слова, одна литературщина. Но — даже если предположить, что роман удался, то неужели нельзя и поставить вопрос: какой ценой? Выжать человека как лимон, воспользоваться им, уничтожить и на его крови заработать славу? Причем, отметьте, это был не случай, а система. Приласкать, приблизить к себе человека, использовать его, а потом отбросить как пустой орех. А как быть с совестью, или для простых людей один закон, а для других — вообще законы не писаны? Нет, я уж вам скажу: как был Ральф барчуком, так барчуком и остался. А люди они такие: для них — кто смел, тот и съел. Принял самоуверенный вид, встал в глубокомысленную позу — все шепчут: талант, гений. А за душой что, позвольте спросить, у вашего гения — дырка от бублика? Вот так вот».

Недорого стоит простодушие и велеречивая неточность доброхота, но и неточность злопыхателя стоит не больше, хотя глаз охотника загорается ярче, только он видит перед собой цель, красноречивую, как сама судьба. Увы, увы, вам, г-н Альберт, мы не стали прерывать вас — но здесь вы не правы! Или — скорее всего, не правы. Кто знает о тех сомнениях, которые обуревают или нет душу писателя, когда он перелицовывает действительность, оставляя все мучения на потом, потом, трижды потом. За все — своя плата и свое возмездие. Но что касается г-жи Е (открывать ее имя нам до сих пор кажется некорректным, так как она действительно стала прообразом героини романа Р. Олсборна «Сражение на предметном стекле», названного профессором Стефанини «пожалуй, самой значительной, после Макса Куранса, попыткой создания полифонического полотна с использованием инструмента многоголосия и психологического анализа»), то, как указывает немецкий исследова-

тель из Мюнхенского университета, герр Люнсдвиг, опираясь на имеющиеся в его распоряжении письма и дневник г-жи Е: ее отношения с сэром Ральфом и после написания им этого романа носили — увы, увы, — самый дружеский характер. Более того, упомянутый роман с язычком зеленой закладки мы нашли у нее на столе, когда посетили ее, получив на то ее письменное разрешение.

Нужно признаться, что мы вообще долго сомневались, не зная, надо ли знакомить читателей со столь щекотливыми подробностями жизни сэра Ральфа, в случаях, когда не можем поручиться за достоверность и добросовестность этих сведений; но затем решили, что в нашу задачу и не входит поиск некой абстрактной объективной истины, а, напротив, лишь реставрация субъективного ее отпечатка в неточной памяти современников, которую мы все равно не в силах исправить. Что ж, очевидцы и свидетели имеют право на собственную аранжировку, и нам ничего не остается, как развивать нашу тему под их прихотливый аккомпанемент.

И все-таки, следуя нашему правилу, не оставлять ни одну версию без комментариев очевидцев, мы попросили Александра Сильву, известного своей щепетильностью, пролить свет по существу этого запутанного вопроса и, по крайней мере, расшатать камень преткновения. Приводим ответ Сильвы дословно: «Что имел в виду Альберт, называя Ральфа человеком «жестким и жестоким»? Пожалуй, именно он имел на это некоторые основания. Возьмем хотя бы то, как они расстались. Но сначала позволите о другом. Подобно многим, Ральф, сохраняя некий модус своего характера постоянным, несомненно менялся на протяжении своей жизни, и с течением времени разные детали его натуры становились (думаю, здесь будет уместно сравнение с берегом реки) более выпуклыми и заметными. Несомненно, что в первой молодости, чуя в себе тягостный запас нерастраченных сил и пока нереализованных возможностей (вероятно он, как любой человек, не мог до конца подавить сомнения — мало ли что могло случиться: какой-нибудь нелепый трамвай, рак локтя или желудка), короче, восстанавливая теперь его облик — знаете, я вижу его как живого, — я совершенно отчетливо понимаю, как он боялся именно не успеть раскрыть себя и не осуществить то, что было предназначено. Отсюда страх потерять мгновение, загнипнотизированность мгновением и пренебрежение ко всему, что могло ему помешать или задержать. Я уже, кажется, упоминал о его полной терпимости к любому пишущему или не пишущему, для него писательство было не более, чем приватным аспектом. Помню его слова (конечно, не буквально, но за смысл ручаюсь): дело не в том, какой у тебя талант или на сколько лучше другого ты что-то сделал, важно самому сделать все, что мог, высвободить все, что в тебе заложено. Именно поэтому он, как я теперь понимаю, был начисто лишен зависти к кому бы то ни было, какой бы внешний успех тому не сопутствовал, так как соревновался

только с собой. Но и не терпел ничего, что ему мешало. Так они и расстались с Альбертом. Слишком разный был шаг, разный напор. У Альберта литературные амбиции не выходили за пределы кружка, он как бы ориентировался именно на него, а Ральф ориентировался только на себя, на некий перспективный, постепенно простиупающий эскиз своего «я»; и в конце союз трех стал ему тесен. И когда он это понял, то действительно резко оборвал связи, ему мешающие, как поступал и ранее, и продолжал поступать впоследствии. Думаю, это было честно. По-человечески Альберт оставался ему приятен, и он испытывал к нему дружеские чувства, потом несколько раз пытался ему помочь, предлагал деньги, когда Альберт сошел с круга, но литературно Альберт стал ему неинтересен, а как член кружка, с обязательными еженедельными собраниями, стал мешать. Помню, как это произошло. Вместе мы отпраздновали Рождество, а в Новом году Альберт не получил ни одного приглашения на субботу; кружок распался, союз трех перестал существовать. Возможно, это было жестоко или даже жестоко, но, я думаю, вполне в духе Ральфа. Я знаю, ему всегда казалось, что он ценил дружбу и наивно сетовал на недостаток понимающих людей, считая, что это обедняет его жизнь; но, конечно, работал он лучше всего в рутинном одиночестве, да и был, по сути дела, всегда одинок. Потом многие из тех, кто с ним общался, вспоминали его мягким, терпимым и обходительным человеком, это не ошибка, он становился все более терпелив по мере того, как реализовывал себя. Так было в банальных китайских ситуациях, но если кто-то или что-то выказывало хищное или рассеянное намерение стать на горло его песне, даже если этот кто-то просто оступался, он тут же становился жестким или жестоким, в этом Альберт несомненно прав».

Делая доклад на ежегодных Герценовских чтениях, проводимых Венским университетом, профессор Стефанини еще раз указал, что, хотя из написанного будущим лауреатом за первые три года только несколько рассказов попали впоследствии в первый том его полного собрания сочинений (как раз к моменту окончательного распада союза трех из дописанного мрака стали появляться штриховые очертания романа, о котором речь впереди), он не берет на себя смелость замкнуть это время грубым и наивным контуром по имени «ученичество». Ибо, по его мнению, «любое вдохновенное полотно начинается с подмалевков», а самое главное, время союза трех навсегда осталось в душе сэра Ральфа светлым пульсирующим воспоминанием, точным залогом прекрасного будущего, которое тогда — и только тогда — казалось открытым, словно окно во время сиесты. А эти субботние вечера, когда после упоительного труда он, с еще влажными от душа волосами, ожидал своих друзей, приводя в порядок бумаги; и всегда неожиданно раздавался звонок, огромная черная и лохматая собака (даже в отношении ее клички мнения расходятся: Альберт называет ее Джиммой, а Сильва — Аретой) уже,

повизгивая, тыкалась носом в угол двери, а затем, когда дверь отпирали, норовила лизнуть своих любимцев в нос или положить толстые лапы на плечи. И, только когда все проходили в комнату, усаживались, когда звенели подаваемые стаканы и рюмки и двигались, скрипя, стулья и кресла, успокаивалась и, наконец, устроив свое большое тело в углу, напоследок тяжело вздыхала. А в комнату уже проникали тени русского серебряного века, звучали необычные имена и стихотворные строчки, на тыльной стороне двери лиловый мелок, крошась, спотыкался на середине фразы, и литература казалась теплой, шероховатой и родной, как обивка знакомого с детства стула. Да, удивляя своих научных оппонентов, воскликнул профессор Стефанини, прекрасное было время!

ТИПОГРАФСКИЕ БЕРЕГА

О, бокал одиночества

Е. Барат

В справочнике лорда Буксгевдена читаем: восьмая заповедь молодых романистов — «скажи, какой у тебя читатель, и я скажу, какой ты писатель».

Мюнхенский исследователь, герр Люндсдвиг, в прошлом феврале опубликовал перечень принадлежащих ему материалов, частично приобретенных на предпоследнем ежегодном римском аукционе в отеле «Плаза» (вряд ли ему хватило мизерного фонда возглавляемой им скромной кафедры славистики, очевидно, он щедро добавил из своего кармана удачливого издателя), после чего стало очевидно, что он владелец самого полного (из пока известных) архива, имеющего непосредственное или, по крайней мере, опосредованное отношение к нашей теме. Но при всем богатстве его коллекции настоящей жемчужиной является непонятный для непосвященных пункт 117, после цифрового обозначения которого читаем: «Три записные книжки карманного формата без обложки с вкладышами».

Это были именно те три записные книжки, которые все считали пропавшими после обыска у мистера Кальвино; пропавшими и похороненными в подвалах охранки Сан-Тьеры; и вот теперь неисповедимым поистине путем эти книжки попадают на римский аукцион в «Плазе», а затем оказываются в цепких пальцах уважаемого герра Люндсдвига, отвалившего за них кругленькую сумму в пятьдесят пять тысяч долларов.

После долгой переписки, переговоров и проволочек герр Лյондсдвиг решил предоставить в наше распоряжение фототипические копии первых двух с обязательным условием ссылаться на него при любой перепечатке (взамен пришлось поступиться весьма лакомой частью нашего архива); мы получили право на пересказ интересующих нас мест из записных книжек, за цитирование — по договору — мы обязаны были выплачивать дополнительно весьма ощутимую компенсацию по особому прейскуранту. Иначе говоря, полная публикация книжек стоила бы нам в четыре с половиной раза дороже, нежели покупка их на аукционе. Именно поэтому читателю должно быть понятно, почему в дальнейшем мы будем отдавать предпочтение косвенной речи перед прямой — прямая нам попросту не по карману.

Однако прочитав (а иногда и расшифровав неясные места — почерк Ральфа Олсборна оставял желать лучшего), стало ясно, что мы не прогадали: кабальный договор окупался сторицей полученными сведениями (и, кроме того, сохранял достаточно лазеек для ловкого комментатора). Итак, продолжаем. Еще профессор Стефанини в своей ранней статье «Концептуальное становление причин: как и почему» указывает на принципиально иной характер отношений сэра Ральфа с читателем, в сравнении, скажем, с Холлингом или Цартром: средний читатель никогда не отвергал его, хотя и редко проявлял решимость идти за ним до конца каждого лабиринта, с наслаждением погружаясь в стилистические заросли, где таятся шифры авторских силлогизмов и разгадки метафизических арабесок, и тем самым попадал в одну из расставленных автором ловушек. И все же биографии многих гениев говорят об их куда менее лучезарных отношениях с широким читателем, чем это было у будущего лауреата.

Долгое время погруженный во мрак колониальной безызвестности, сэр Ральф вел своеобразную читательскую таблицу, наподобие известного каталога скаковых лошадей Крафта, где расставлял своим читателям оценки по системе одно очко за каждый курьез, с системой призов и удвоений ставок в зависимости от парадоксальности высказываний или ремарок. Как утверждает профессор Стефанини (что косвенно подтверждается и первой из записных книжек), наименее расположенным к сэру Ральфу читателем (из тех, кого удалось зарегистрировать) был его батюшка, известный оригинал, игрок и бретер, которому — с некоторыми оговорками — каждое новое сочинение сына нравилось намного меньше предыдущего, читая, он как бы спускался по долгой лестнице, иногда только разрешая себе отдых от крутых маршей на пологих переходах. Напомним, что после потери двух своих компаньонов и интереса к беседам с профессором Нанном, Ральф Олсборн оказался на некоторое время без заинтересованного и квалифицированного читателя, исклю-

чая из списка нескольких обязательных знакомых, что в счет не идут — по таблице Крафта они никогда не поднимались выше середины.

Хрестоматийно известно отношение сэра Ральфа к массовому читателю: вслед за другими русскими писателями колонии он полагал, что «есть что-то несомненно подозрительное в том, чему поклоняется толпа, и, напротив, привлекательное в том, что она ненавидит»*. Не доверяя и никогда не ища простого читателя, Олсборн тем более не доверял и казенной колониальной литературе с ее духом дубоголового национального бодрячества. Как считает мэтр Стефанини, сэру Ральфу, очевидно, поэтому и приходит в голову мысль поискать читателя и понимающего собеседника среди тех столичных писателей, книги которых не вызывали у него зевка безусловной скуки. И разбавить этим своеобразный вакуум, возникший после распада союза трех.

Толчком мог послужить один случайный разговор — мы затрудняемся точно указать место, где это произошло: возможно, в столице, на рауте, устроенном вполне респектабельными родственниками сэра Ральфа; но не исключено, что и у него дома, ибо посетители, часто совершенно неожиданные, постоянно появлялись и исчезали на его горизонте. Итак, представим себе случайное отступление необязательного светского разговора, что могло начаться с описания известного всей богеме Сан-Тьеры пригородного отеля, хозяин которого с помощью искусственных посадок инспирировал вокруг своего двухэтажного здания типично русский пейзаж в виде пародийной четы берез, кордебалета стройных сосен, испещренных розовым шелушением коры, сизого тумана, йодистого запаха моря и тины, хруста сухого тростника на пляже под каблучками длинноногих столичных девиц, что каждый день навещают лысого, худого и желчного соседа, который (фраза наматывает еще один нудный виток) и оказывается редактором одного полулиберального журнала. А влюбленность в литературу делает этого субъекта подчас неосмотрительным: стоит ему увлечься каким-нибудь автором, как он дает себе зарок (используя русский жаргон) «разбиться в лепешку» (рус.), но автора — «выпотрошив из него все стоящее — опубликовать». Короче, обыкновенный интеллигентный человек из тех, кто в десять лет читают Мильтона и Данте, в двенадцать Боккаччо, а в пятнадцать Борхеса и Бёрджесса, чтобы в семнадцать разочароваться в русском серебряном веке, так как любовно переписанные и декламируемые им время

* Как ни странно, это не обмолвка какого-нибудь эксцентричного таланта, вроде автора «Раи», а почти дословная цитата, выловленная из записных книжек провинциального русского писателя Чехова (прим.изд.).

от времени стихи из самодельной тетрадоочки, наизусть знают дети одного соседа-профессора.

Надо ли пояснять читателям, никогда не жившим в колонии и недоумевающим, как может существовать писатель без надежды на скорую публикацию, что сэр Ральф, родившийся еще при хунте, а детство и юность проведший в правление старых генералов, по очереди меняющих друг друга, и не думал о вхождении в колониальную литературу. Не желая унижаться впустую, он твердо охранял девственность своего авторского достоинства, уверенный, что подобные унижения, как ржавчина, разъедают не только честь, но и авторскую силу, которую по сути можно сопоставить с мужской силой (и здесь каждый бережет себя, как умеет).

В колониальной России описываемого времени печатающийся писатель походил на панельную девку, уверяющую, что она весталка. И хотя никто не кидал в писателей-дураков камнями: несчастные, Богом обиженные люди, но рядовой читатель скептически оглядывал эту сомнительную фигуру, считая несерьезным делом ставить на колосса на глиняных ногах. Деньги? Их проще было зарабатывать другим, более пристойным образом, да и не такие большие деньги получал обыкновенный писатель, так как писательская кормушка настолько напоминала многоярусную китайскую пагоду, что легче было верблюду пролезть в игольное ушко, чем добраться до сладкого сена на верхней кровле.

Но для тех, кто не жалел уподобляться вышеуказанному верблюду, широкий читатель мог быть с успехом заменен задушевым собеседником. Поэтому, вероятно, сэр Ральф и решает познакомиться с неким уникальным типом, который ходит в должность, носит мундир и при этом не считает, что литература — это губная гармошка. Однако, непредвиденное затруднение. Первая записная книжка говорит об этом настолько отчетливо, что мы не имеем никакой возможности умолчать о нем, хотя и подозреваем, что это признание затруднит издание нашей книги на родине героя. Как утверждает профессор Стефанини, сэр Ральф не всегда умел преодолеть недоверие, которое испытывал к кастовой гордости первых переселенцев (особенно это касалось их избалованных отпрысков), а его будущий собеседник принадлежал именно к этому клану.

Порадуемся вместе с Ральфом Олсборном его ошибке — происхождение происхождением, но трава растет и на неприступных голых скалах. Знатный переселенец оказался демократом, не лишенным русских симпатий. Человек может остаться человеком, даже если имеет возможность относиться к другим с законным пренебрежением.

Но мы забежали несколько вперед, напомним, что сэр Ральф тем временем поднимается в редакцию по узкой лестнице дома в стиле «эпохи монархии» на одной из центральных улиц города. Лестница, коридор,

дорожка, дверь. Впоследствии это достопамятное место весьма рельефно будет описано Олсборном в романе «Путешествие в никуда». Перевернем картинку. Мгновение — и перед нами предстанет, как сказал бы романист XIX века, скромный молодой человек приятной наружности, который, за исключением того, что поставил, по забывчивости или небрежности, с ног на голову имя и фамилию редактора, небезызвестного г-на Лабье, произвел на последнего самое благоприятное и положительное впечатление.

Теперь вернем картинку на место, вращая ее вокруг оси на сто восемьдесят градусов, чтобы посмотреть на г-на Лабье глазами нашего героя. Лабье действительно был потомком первых переселенцев, бежавших от ужаса якобинской революции в колонии тогдашней России, чтобы в конце концов прибрать ее к своим рукам. Лабье был подчеркнuto демократичен, высок, худ, плешив и напоминал чуть сутулый восклицательный знак в коричневых вельветовых джинсах с молнией, не всегда доведенной до благопристойного верха. Первая беседа длилась не более трех минут. Приветствие, извинение за визит без рекомендации, легкий реверанс и шлепок, с которым папочка с рассказами опустила на лысое место заваленного бумагами письменного стола. Откланялся, вышел.

Следующая встреча, по существу и положившая начало их более тесному знакомству, произошла примерно через неделю. Пригласив в свой малюсенький кабинет в глубине узкого коридора, Лабье сухо сообщил о некоем «воображаемом конкурсе на арене своей мысли», в результате которого он затрудняется сравнить рассказы какого-либо современного автора с рассказами его собеседника, хотя именно поэтому опубликовать их будет не просто сложно, а вряд ли вообще возможно. И закончил свою стремительную рецензию сакраментальной фразой, к которой мы еще вернемся: *«Знаете, ваши рассказы слишком хороши для нашего слишком полулиберального журнала. Признаться, мне понравилось, что вы не ищите виноватых, без этого эмигрантского гражданского клекота и испуганных взмахов крыльями, но не слишком ли все это серьезно, скажу честно, я опасаюсь за судьбу автора»*. Естественный обмен любезностями. Сличение литературных пристрастий, сладостный перебор имен, «в каком году вы прочитали Бартона? Так, а Джойса? Я не сомневался, что Пруст был прочитан вами раньше Эббота».

Так или иначе знакомству было положено многообещающее начало. Здесь мы прервем хронологическую последовательность нашего рассказа, чтобы несколькими быстрыми штрихами дать читателю возможность увидеть облик г-на Лабье таким, каким он запечатлен на страницах записной книжки нашего писателя. «Детство под роялем, — читаем мы вначале всего лишь одного абзаца, посвященного целиком Лабье, на

странице 238. — Шнурки. Блоковский семинар. «Смотрите, Лабье, ваше легкомыслие не доведет вас до добра». Монах-аскет. «Толкование судьбы». «Идите вы на...». Подзаголовок, эпитафия, четверть. Меньше. Вкус, испорченный многоэтажной мурой. Знаки препинания».

Чтобы не оставить читателя в недоумении, мы попытаемся расшифровать некоторые из этих записей, так как обладаем дополнительными сведениями и свидетельствами очевидцев.

Говоря метафорически, можно утверждать, что детство маленький Лабье провел за чтением книжек под роялем своего отца, известного в эту пору генерала Педро филолога, чье беспокойство вызывало не столько пристрастие юного книголюбца и облюбванное им место, сколько то, что его сын слишком долго не мог научиться сам завязывать шнурки (*вторая запись*). Продолжая читать, Лабье незаметно переселился из-под рояля в университетские аудитории, где не переставал удивлять профессоров русского отделения и своих сокурсников как пространностью своих знаний, так и тем, что, невзирая на хрупкость телосложения и затруднения со шнурками, неотразимо привлекал к себе не только сокурсниц, но и профессорских жен, которые как-то слишком, до неправдоподобия быстро соглашались на все. А под конец (продолжая считаться одним из самых блестящих участников знаменитого Блоковского семинара профессора Печерина, последний, правда, говорил ему: «Смотрите, Лабье, ваше легкомыслие не доведет вас до добра» (*запись 3*)), увлек, а уместнее даже сказать, отбил невесту у небезызвестного редактора одного из лучших подпольных журналов Сан-Тьеры, человека, уязвленного какой-то мрачной и тяжелой красотой, сумрачной, впечатляющей и аристократичной внешностью напомилавшего средневекового монаха-аскета (*запись 4*). Однако черные смоляные кудри и угольная бородка были оставлены ради вполне демократичной стрижки с ранней плешью, и невеста сурового монаха стала женой искрометного и остроумного нечестивца.

От службы в национальной гвардии Лабье был освобожден из-за крайне слабого здоровья, но вместо гвардии ему пришлось пару лет оттрубить учителем сельской школы, что при его характере скорого на слово вольнолюбивого вольтерьянца оказалось оковами потяжелее прочих. Став в конце концов редактором только что возникшего проправительственного журнала, он для начала вознамерился опубликовать своих университетских знакомых, в большинстве своем выбравших путь оппозиции, но веселые годы шли на убыль, сумерки свободы превращались в ночь безвременья, и из этой затеи почти ничего не вышло. Среди прочего хлама ему иногда удавалось пробить более или менее приличный рассказ более или менее приличного автора, и только. Сам он, тоже со скрипом, раз-два в год публиковал какое-нибудь отмеченное точным образным словом, умом и изысканностью выражений изящное эссе о том

или ином поэте или художнике кватроченто. Друзья косились и уходили в сторону. Оставались новые приятели, от которых толку было не много, и знакомые по пригороду Рамос-Мехиа, где у него была небольшая вилла: историки, филологи и их жены. Книга «Толкование судьбы» (*запись 5*) так и не вышла; вместо нее появилась написанная простым слогом повесть о литературном критике прошлого века, оставшаяся по существу незамеченной. Жена, истерзанная его изменами (прекрасный пол оставался его мучительной и щекотливой слабостью), воспитывала двух детей в крошечной квартирке без ванны и горячей воды; по воскресениям он завел себе привычку ходить с утра пить пиво в соседний бар, было скучно; мать — худенькая, черноокая метиска — уверяла, что он определенно сопьется, но он мало пьянел даже от русской водки, хотя безумно мерз от любого сквозняка; скучал, томился и несколько раз подумывал о самоубийстве, но потом решил обойтись без хлопот и, набравшись терпения, досмотреть оставшийся кусок жизни до конца.

Однажды этот конец замаячил, когда один приятель, историк, сын дипломата, регулярно печатавший статьи и заметки в свободной эмигрантской прессе, попался на поддельных допусках в рукописный отдел Национальной библиотеки, и среди нескольких бланков оказалась пара из журнала Лабье с его подписью. На Лабье стали давить, чтобы он дал показания, угрожая увольнением, работой на маисовых плантациях или медных рудниках, что вряд ли подходило для его здоровья. Если бы с Лабье говорили в джентльменском тоне, он, возможно, и открыл бы то, что знал, так как действительно не хотел вернуться обратно в сельскую школу. Но думая, что он цепко держится за редакторское кресло, его стали пугать, и он разозлился, сработал инстинкт отхаркивания, и послал их к черту. (Точнее, уверенный, что они не понимают его родного языка, он послал их по-русски «на хуй» (*запись 6*)). Его не уволили, так как он тянул воз черной редакторской работы за четверых, а когда намекнули, чтобы уволился сам, намекнул в ответ, что уволится только через суд, — и его оставили в покое.

К тому моменту, когда с г-ном Лабье познакомился Ральф Олсборн, это был человек лет тридцати пяти, обладавший, несмотря на хрупкое, узкое и вытянутое телосложение, низким приятным голосом. При разговоре он как-то странно артикулировал речь, использовал каденции, даже кокетничал, но не лицом или манерами, а говоря, что называется, с выражением. Последнее обстоятельство, как подчеркивает профессор Стефанини, несколько смущало поначалу сэра Ральфа, но «когда он привык, то почти перестал обращать на это внимание». Сэр Ральф принадлежал уже к другому поколению, неписаным законом которого была выработанная еще в детстве сдержанность и невозмутимость: и эмоциональная, аффектированная, а тем более кокетливая окраска речи считалась дурным тоном. Лабье говорил одно-

временно возвышенно, парадоксально, иронично и оказался одним из самых умных и приятных собеседников, из всех тех, с кем Олсборну удалось столкнуться за свою жизнь. Лабье был не просто умен (умея говорить неожиданно изящные вещи при полном отсутствии банальностей), а был умным циником и скептиком, не верящим, как Кандид, ни во что совершенно, за исключением своего сада, ибо порядком устал от жизни, с которой не попадал в такт. А из-за необходимости ежедневно просматривать тонну макулатуры, постепенно терял вкус и интерес к изящной словесности.

На приглашение присутствовать на неофициальном чтении он мог ответить, что, кажется, уже разлюбил стихи, которые вообще всегда плохо воспринимал на слух, и с бесстрашием, вполне достойным русского философа Розанова, добавлял, что не может рисковать собой, ибо у него двое детей. Сталкиваясь с богоискательскими мотивами в творчестве Олсборна, он говорил, что это, конечно, интересно и мило, но ему кажется, что людей в церкви и на стадионе вдохновляет одно и то же. На замечание будущего лауреата, что ему (Лабье — *прим.пер.*), кажется, более нравятся традиционные формы, он отвечал, что это естественно, ибо любой читатель в конце концов останавливается в своем стремлении к новому, так как и женщины нам поначалу нравятся разные и хочется все новых и новых, но в конце концов мы ограничиваемся одной, которую сумели полюбить. И сохранение вкуса неизменным — это не столько косность, сколько верность.

Как утверждает в своих комментариях герр Люндсдвиг, будущий лауреат тесно общался с г-ном Лабье примерно два с половиной года (это был некий критический срок, в течение которого обычно новый знакомый интересовал будущего лауреата и по истечению которого как-то само собой получалось, что интерес оскудевал). Нас, конечно, заинтересовало, что именно говорил г-н Лабье, имея возможность первым познакомиться с творчеством сэра Ральфа этого периода. О первом романе «68 год» Лабье сказал, что роман будет, скорее всего, документом нашего времени и поколения, но посоветовал сменить название, убрать подзаголовок, эпиграф и сократить текст по крайней мере на четверть (*запись 7*). О втором романе*, названном профессором Стефанини «пожалуй, самым значительным психологическим романом послевоенной поры», сказал, что ему он понравился меньше предыдущего (*запись 8*). О третьем «Великолепный Иуда» — что он, возможно, испортил себе вкус чтением многоэтажной мур, но ему

* «Сражение на предметном стекле» (*прим.изд.*).

более по душе, когда точки и запятые стоят на своих местах, а язык не становится густым, как кисель (*запись 9*).

Как неопровержимо доказывает герр Люндсдвиг в результате текстологического анализа записных книжек и отдельного листка, что в описи архива стоит под номером 239, сэръ Ральф фиксировал читательские отзывы не только по таблице раритетов Крафта, но и другие, явно пришедшиеся ему по душе, записывая их на отдельной, отысканной пунктуальным немецким исследователем страничке, что вступает в некоторое противоречие с известным утверждением профессора Стефанини о полном безразличии Ральфа Олсборна к читательским оценкам, ибо тогда бы он не нанизывал их, словно бусы, что документально подтверждает уже цитированная выше копия под архивным номером 239. И одновременно эта простительная слабость говорила, по крайней мере косвенно, о том, как отнюдь не просто давалась Олсборну та фатальная и фантастическая уверенность в себе, что так поражала его современников.

По сведениям того же герра Люндсдвига, сэръ Ральф за эти два-три года, прошедшие после распада союза трех, общался не только с редактором Лабье. И, как указывает профессор Стефанини, «будущему лауреату каждый раз фантастически везло, ибо он умудрялся, за малым исключением, попадать на достаточно понимающих и интеллигентных людей» (что, по мнению профессора-итальянца, ещё раз говорит о тайной и молчаливом сопротивлении, что таилось в недрах будто бы спокойной и студенистой массы колонии).

А что касается сакраментальной фразы Лабье (дотошный читатель найдет ее сам), то, оспаривая мнение американского фольклориста Сержа Доватора, высказанное им в своих обличительных мемуарах, которые мэтр Стефанини переводит как «Книга, которой нет» или «Книга, которой не видно»: почти дословное текстологическое совпадение этой фразы с той, что приводит мистер Доватор, свидетельствует «не о хитроумной и лицемерной системе защиты, позволявшей поставленным в двусмысленное положение редакторам не портить отношения с подающими надежды авторами, а, скорее, о добросердечии, так как не следует забывать...» (но тут рукопись прерывается).

СТАТЬЯ

Понимая, что добросовестному читателю литературный фон описываемых событий интересен не менее наскоро набросанных бытовых декораций*, нам кажется уместным привести здесь несколько отрывков из найденной в бумагах будущего лауреата статьи, датированной как раз тем периодом, когда сэр Ральф наиболее тесно общался с Жаном Лабье. Нам не удалось идентифицировать автора статьи, — возможно, это сам Жан Лабье, а возможно, и неизвестный автор. Не удалось нам выяснить и кому принадлежат те, иногда меткие, но подчас и странные пометки, замечания на полях, следы правки или даже редактуры. Вероятность того, что некоторые из этих пометок принадлежат руке самого Ральфа Олсборна, и определила наш интерес.

Пытаясь наиболее точно определить место, занимаемое Ральфом Олсборном в современной литературе, неизвестный автор начинает с конца, то есть делит литературу (что кажется нам весьма спорным) на два отсека: вертикальный и горизонтальный. Однако понимая, что любое деление, проводимое по живому, условно, автор статьи пытается оправдать введение своей дискриминаторской биссектрисы с помощью двучленной метафоры. 1) Линия, по которой вода обнимает днище корабля, кажется прямой только в стоячей воде. 2) Когда море волнуется, линия пляшет.

И все-таки, настаивает автор статьи, горизонтальная литература пользуется уже имеющимися эстетическими приемами для изображения малоизвестных сторон жизни (или иначе — отвечает на вопрос: что?). («Ну и что из этого?» — странное замечание на полях). А вертикальная больше озабочена поиском нового стеклянного («сомнительный эпитет» вписано над строкой) ракурса взгляда и самооценной интонации (и не может ответить на вопрос что?, не зная как это сделать).

Так как литература, продолжает автор статьи, — искусство слова, горизонтальный литератор пользуется языком как рентой, полученной по наследству: его задача — поумнее ее использовать; вертикальный, напротив, ищет приращение в языке и смысле, все пробует на вкус, пытается найти новые созвучия блаженной речи и вернуть больше, чем получил. («А как быть с законом сохранения энергии?» — странный вопрос жирного карандаша). Тогда, посмотрев со стороны изнанки и

* Читатель, чуждый стихии литературного анализа, может без особого ущерба пропустить как эту главу, так и другие, помеченные знаком * (прим. изд.)

швов, можно сказать, что если горизонтальный литератор ставит целью отобразить мир реальный, то вертикальный создает свой мир, конституция (слово «конституция» дважды подчеркнуто, на полях вердикт — «слово не найдено») которого отнюдь не совпадает с миром действительным.

И, действительно, автор, понимая, что в вышесказанном слишком сквозист выходящее его с головой пристрастие, вероятно, чтобы подчеркнуть свою объективность, добросовестно добавляет, что хотя горизонтальная литература чаще связана с утилитарными представлениями об искусстве, совсем необязательно, чтобы писатель горизонтальный был менее талантлив, чем писатель вертикальный. Если искусство — здание, то кто-то пытается надстроить новый верхний этаж, кто-то пытается найти пустоту в фундаменте или середке и вставить туда свой кирпич. И работающие ближе к земле представители горизонтальной литературы срываются реже («и падение их менее мучительно, чем срывы опасно экспериментирующих на языковой и смысловой границе» — надпись на полях очень похожа на почерк будущего лауреата).

Так или иначе, продолжает неизвестный автор, любое новое произведение перекраивает контурную карту человеческих ценностей, по-своему переименовывая столицы, заново выстраивая моря и континенты, либо обводит жирным пером уже имеющийся пунктир. (N. В. на полях — «слишком много географии»). Даже если писатель не ставит цель выйти на очную ставку с истиной, проходя наисокос по белой странице, он бросает на нее косую тень. Очевидно, что горизонтальная литература, имеющая, подобно глазу, фасеточное строение (слово «фасеточное» трижды подчеркнуто, сбоку ремарка — «чушь!»), верит в накопление малых истин, ожидая, что количество перейдет в качество. Вертикальная знает, что разговаривает со слепым на языке глухонемых: истину можно ощутить на мгновение, как красоту, объяснить же ее нельзя иначе, как рассеяв очарование.

Далее автор статьи, все так же эксплуатируя перифрастический стиль, пытается обосновать спектральное многообразие литературных пристрастий и достаточно остроумно замечает, что сама категория вкуса в искусстве имеет чуть ли не генную персонификацию. И («это уже слишком» — надпись сверху) «что вкусов, возможно, не больше, чем рас». После чего, по кривой закругляя свою мысль и несколько противореча себе, утверждает (возвращаясь с метафизических облаков к колониальной тематике), что авторы, «прошедшие через горнило официальной печати», независимо от того, в колониальной ли периодике, в эмигрантских или подпольных изданиях появляются теперь их произведения, обрели раз и навсегда «хрустящей корочкой горизонтальности». («Почему?» — задает вопрос уже знакомый жирный карандаш). Автор, предчувствуя возможные возражения («все-таки гены или среда?» —

вопрос на полях), отвечает. Искусство, как бы очнувшись от обморока после падения диктатуры генерала Педро, стало горизонтальным по принципу своего существования: и, стремясь восстановить разорванную связь с прошлым, литература старалась понятным горизонтальным языком рассказать о том, чего читатель не знал о прошедших тридцати годах мрачного правления хунты, пытаясь прежде всего заполнить провалы читательской памяти и совести («а судьи кто?» — странный вопрос сверху строки). И молодые писатели, «шумной толпой въехавшие в литературу на гребне либеральной волны» («неплохо!» — ремарка с восклицательным знаком), кто по незнанию, кто по эстетическим пристрастиям («луна и солнце обвенчались через запятую» — почерк будущего лауреата), не обращали внимания на вертикальную литературу начала века и двадцатых годов, а обратили взор в век минувший или на отечественные переводы иностранных («в основном, горизонтальных» — надпись на полях) писателей.

Подозрительный пассивистический взгляд («спасательный круг пассивизма всегда первое, за что хватаются руки тех, кто выплывает из омута» — знакомый почерк, знакомые обороты) видел подобие взлета экспериментальной прозы и поэзии и очерка общественных тревожных в первое десятилетие новой власти. Да и цензура («как ни странно, хотя и не странно» — вписано над строкой) «куда более хищно отгрызлась на вертикальность», нежели на полулиберальность произведений. И только, когда либеральная волна, «бессильно шипя, откатилась назад» («неплохо, неплохо, право неплохо» — ремарка сбоку), на вновь очищенном месте открылись возможности для появления вертикально ориентированных писателей.

И здесь неизвестный автор переходит к анализу творчества Ральфа Олсборна, но мы дадим ему слово позднее.

СТОЛИЧНЫЕ ПАТРИАРХИ

Как неопровержимо доказывает профессор Стефанини, приведенный выше отрывок статьи неизвестного автора мог быть написан только после известной экспедиции Ральфа Олборна для знакомства со столичным литературным миром (описанию этой экспедиции и будет посвящена данная глава). Мы начали с конца, вспомнив совет Сэма Брюэля, который начинал каждую главку в своих знаменитых «Прогулках по Форуму» с краткой аннотации и пересказа не предыдущих, а последующих глав, чтобы, во-первых, добродетельный читатель мог не отвлекаться на поворотах сюжета от течения мысли, и во-вторых, чтобы дать заскучавшему читателю возможность сойти на любой остановке, если он устал.

Мексиканский критик и литературовед Сандро Цопани, первый переведший на диалекты маэ прозу сэра Ральфа, утверждал, что из находящихся в сложном (если сбить с этого желудка шляпку, то получится — ложном) положении колониальных писателей ему, сэру Ральфу, в указанный период более импонировало то, что делали в литературе культурный и начитанный Билл Бартон, чей «Дом посреди дома» еще не вышел и только готовился к публикации в «Кук и сыновья» (в чем до конца не был уверен ни он сам, ни официальная печать, решившаяся на публикацию отдельных глав романа); красочный и экзотический Фаз Кадер, на слова которого благозвучно сказалось знакомство с блаженным косноязычием г-на Сократова и по-родственному прочитанный Маркес; с любопытством будущий лауреат наблюдал за эволюцией мистического метода Бьюла Тиффони, очевидно, уже достигшего своего предела в ватерпольной войне ногами и не знающего, что доживает последние годы, если не месяцы. Были и другие.

Мексиканский критик-эмигрант подробно описывает отношения Ральфа Олборна с современными ему колониальными писателями в послесловии к первому изданию прозы сэра Ральфа на маэ, послесловии, по сути дела превратившемся в серьезную монографию, где автор анализирует отдельные высказывания будущего лауреата о том или другом колониальном писателе, характеризует тех, кто привлек его внимание, дает развернутый анализ их социального положения. И в конце концов приходит к выводу, что «этим писателям приходилось несладко».

С одной стороны, их общепризнанная известность и авторитет делали затруднительным для издательских церберов отказ от чего бы то ни было, вышедшего из-под пера этих мэтров (так как этот отказ неизбежно приводил к публикации той или иной работы в Европе). С другой, сами писатели привлекли к чреватой неприятными последствиями

инерции печатания, инерции приглушенной речи с обязательной оглядкой на неминуемую цензуру.

Правда узкие рамки, отведенные им хунтой, теснота коридора и низкие потолки приводили подчас к появлению интонации столь задушевной, что возникала достаточно трепетная и проникновенная ткань повествования, вполне понятного читателю, который чувствовал все намеки шестым или каким-то иным, особо развитым у него чувством.

Но когда тот или иной хороший колониальный писатель уставал, осатаневал от собственного шепота и пробовал говорить в полный голос, оказывалось, что этого громкого голоса у него нет; доверительная интонация исчезала и появлялась совершенно неинтересная, хотя граждански и более честная, но издающая мучительный скрежет натужная книга. Как человек, проведенный долгое время в полутемном помещении, чуть ли не слепнет на ярком свете, так и голос, вырвавшись из затхлого, но привычного помещения на свежий воздух, теряет интимную шероховатость и, фальшивя, режет слух.

Статья молодого мексиканского критика вполне, на наш взгляд, заслуживает того, чтобы быть прочитанной полностью, и мы отсылаем читателя к соответствующему изданию ("Десять лет среди теней", УМКА-PRESS, PARIZ, 1977), мы и так довольно отвлеклись.

Пусть читатель представит себе сэра Ральфа, который в погожий мартовский денек мчитя в загородной конке по направлению к столичному предместью Рамос-Мехиа, знаменитому прежде всего тем, что именно здесь долгое время жил и работал великий Боб Пастер, потрясший весь мир и особенно сердца равнодушных к природе читателей (тех, кому дорого все живое) пронзительной историей доктора и его верного друга, пса по кличке Жевака (его имя происходит от милой привычки этой верной собаки как бы прикусывать нижнюю губу, в результате чего создавалось впечатление, что она жует). Этот роман, как, впрочем, и цикл натурфилософских стихотворений, теперь всемирно известных, был написан именно на этой вилле, где хозяин, перемежая свои литературные труды не менее вдохновенным огородничеством, написал обличительно смелый и дорого обошедшийся ему роман о докторе-ветеринаре и его верном друге. Роман, несмотря на Пулитцеровскую премию, был весьма колюче встречен либеральной критикой, ибо, как оказалось, добродушный Жевака некогда служил сторожевой овчаркой в концентрационном лагере на острове Дасос. Избиваемый охранниками, особо

натренированный, он люто ненавидел несчастных жертв хунты, и только впоследствии, встретившись в том же лагере с добрейшим доктором, окунувшись в не имеющую dna доброту его сердца и постепенно стал тем, известным теперь каждому натуралисту, псом Жевакой*, что впервые явился писателю во сне именно на вилле Рамос-Мехиа.

Мы, однако, отвлеклись как раз в тот момент, когда сэр Ральф, сидя у окна мчащегося электропоезда, листал захваченное с собой в дорогу американское издание одного колониального поэта. Заинтригованный именно комментариями, ранее ему неизвестными, куда частично вошли мемуары жены поэта, пережившей его более, чем на сорок лет. Здесь, к счастью, мы имеем возможность процитировать чуть ли не подряд несколько страниц из его записных книжек, имеющих непосредственное отношение к упомянутому дню. Вот эти строки: «Сам не знаю почему, но я был уверен, что еду за своеобразным благословением. Я собирался увидеться с г-ном Тэстом, которого тогда читал запоем, открыв его позднее других, да и то случайно: услышал, как он читает свои стихи в фильме, посвященном открытию Сенсуанской плотины, достал его тексты, перечитал несколько раз и уверился в том, что Тэст лучший из пишущих сейчас на русском языке в колонии, хотя теперь, спустя годы, вряд ли открою когда его книжку, а если и открою, то увязну через две-три страницы.

Тогда же, со всем молодым, хотя и не вполне мне свойственным пылом, я считал Тэста чуть ли не пророком в поэзии, и вбил себе в голову, что должен получить у него своеобразное благословение, посвящение в ранг писателя. Мне мерещилась символическая передача лиры, в голове витали странные образы, вспоминались имена великого Стейтсмана и молодого Гана. В прозрачной полиэтиленовой папочке лежали тщательно отобранные и перепечатанные на машинке эссе, в очередной раз я просматривал их у пепельно-пыльного окна электроконки, пытаясь прочесть их глазами Тэста.

Теперь ни одного из этих эссе не осталось, они куда-то затерялись после того, как я потерял к ним интерес, разочаровавшись полностью. Я давно научился не хранить эти бесконечные варианты и черновики романов в тщеславной надежде, что какой-нибудь благодарный критик или издатель после твоей смерти будет копаться в этом архиве, выуживая из него лакомые сведения для примечаний. Или же, что я сам на

* Не лишена правдоподобия другая, правда более смелая и ироничная версия, что это имя происходит от известной русской поговорки «За зеваку в рот собаку!», и если жестче артикулировать звук «з», как «ж», то и получится то, что надо (*прим. ред.*).

старости лет буду ублажать себя перебиранием раритетов прошлого и пускать слюни, смакуя свои орфографические ошибки.

Но в тот день, едуци в электропоезде в Рамос-Мехиа, я подогревал себя мыслями о скором знакомстве с престарелым Тэстом и представлял себе различные варианты нашей литературной беседы, готовил быстрые и остроумные реплики, короче был настроен мечтательно. Душа была распарена этими мыслями, как тело после русской баньки, к тому же было душновато: март, за серыми подтеками стекла с географией пятен и материков — снег и солнце; выйдя на платформу, я снял с головы белую велюровую шляпу, потому что припекало. Не помню, как шел, как корректировал дорогу к артистическому предместью Рамос-Мехиа, где, кстати, несколько сезонов подряд, но летом, жила моя бабушка, мать отца, никакого отношения к литературе не имеющая; но дружившая с одной провинциальной писательницей, после войны, кажется, не написавшей ни слова, — она брала мою бабушку себе в компаньонки, чтобы жить в одной комнате. Предместье славилось приличной кухней и недорогой платой; постояльцы были люди интеллигентные и не очень шумели, а жить разрешалось хоть круглый год, только вноси плату за месяц вперед. Кажется, вдоль дороги тянулась бесконечная чугунная ограда. Глубокая, протоптанная в снегу тропинка, по ней я добрался до административного корпуса, где и узнал, как найти Тэста.

Когда я постучал и, услышав невнятный вялый возглас, вошел в дверь — Тэст лежал, укрытый одеялом до серебрястого подборodka, и тихо постанывал. Голова на подушке мало походила на портреты Тэста в его книжках, но была интуитивно узнаваема. Тэст был стар, сед, болезненно бледен и, очевидно, серьезно хворал, так как стонал сквозь зубы, пока я стоял у него над головой. Конечно, я не ожидал, что Тэст встретит меня в постели, комната напоминала не келью поэта, а скорее госпитальную палату, но вместе с естественным приступом жалости к старому больному человеку во мне опять вспух пузырь нелепого желания услышать формулу благословения, заполнить ее зудящую выемку. Тем более, что антураж не так-то этому и противоречил. Умирающий Тэст — великий Стейтсмен, я примеривал к себе образ Гана. Что-то настораживало. Что? У меняхватило ума ретироваться почти немедленно. Я пробормотал какие-то заранее приготовленные слова, уже ощущая их неуместность, и только по инерции опустил свои нелепые эссе на заставленный лекарствами стул, лишь на мгновение вынырнувший из воронки закручивающегося вокруг него беспорядка, и тут же вышел, провожаемый слабыми стонами.

Через минуту я уже стоял на дощатых ступенях крыльца административного корпуса — снег на ступенях был в полукруглых следах от каблучков и рифленных подошв — и с удовольствием после лазаретной атмосферы дышал свежим воздухом и раздумывал. Кажется, я попал впросак.

Раздражение на себя и свою неловкость вспухало во мне, как молоко, забытое на плите. Новая тема. За конторкой дежурного в холле я заметил ячейки для почты постояльцев с их фамилиями и номерами их коттеджей; и среди прочих разглядел фамилию писателя Билла Бартона, который, оказывается, жил сейчас здесь же, в соседнем домике. С Бартоном я собирался встретиться в городе, теперь со мной не было ни рекомендующей меня записки, ни того романа, который по совету Жана Лабье я собирался вручить Бартону для прочтения. Идти просто так, с пустыми руками, вроде неловко — в руках я держал завернутое в мятую газету американское издание поэта-щегла, кажется, четвертый, последний том. Однако я уже здесь, путь не близкий, когда я еще раз увижу Бартона. Стоял, вертел в руках свою шляпу и завернутую в газету книгу, не зная на что решиться.

Было тихо и пустынно. Угнетенные снегом ветви елей опускались вниз. Иногда с осторожным шорохом кусок снега соскальзывал, и ветка с облегчением выпрямлялась. Дверь оливкового домика, отделенного от меня узкой, по-дуэльному небрежно протоптанной в снегу тропинкой, открылась, и на тропинку ступил известный столичный поэт Висконти, знаменитый шейным цветным платком и манерой читать свои претенциозные вирши с невероятным завыванием, что произвело небывалый фурор во время его последней поездки в Штаты. Я не принадлежал к поклонникам его таланта. Теперь одетый пестро, как гид иностранных туристов, он выдохнул дым то ли от трубки, то ли от сигары широкоим, плоским соминым ртом и, прищурившись, медленно пошел ко мне навстречу, прикидывая, знакомы мы или нет. Я тоже спустился по ступенькам и, свернув, зашагал, не оборачиваясь, по боковой тропинке, уводящей в глубь территории. «Не пой, красавица, при мне ты песен Африки своей». Другой ряд, другой джентльменский набор.

Пихты и ели сторожили тишину. Домики с номерами на фасаде стояли в сугробах, по окна занесенные снегом, а снег между деревьев, если на него падала тень, казался фиолетовым, ноздреватым и несвежим. В одном месте я оступился и провалился ногой по колено в рыхлое месиво с запеченной корочкой сверху. Когда, чертыхаясь, я отряхнул брючину и поднял голову, то увидел, что стою как раз напротив того коттеджа, на втором этаже которого, как я теперь знал, проживал Билл Бартон. Еще раздумывая и сомневаясь, я поднялся по узкой лестнице, не зная на что решиться: на часах полдень, самое рабочее время, стоит ли мешать человеку во время его трудов. Откуда-то сверху доносился приглушенный, рокошущий голос; и только поднявшись на вторую площадку, я понял, что голос раздается как раз из-за нужной мне двери. Кто-то читал вслух. Потом затормозился, приседая на согласных, смех, опять бормочущее чтение. Очевидно, работает с диктофоном, либо читает приятелю написанное сегодня ночью. Свет сквозь маленькое оконце, сломавшись зиг-

загами о косяк, лежал на двери и стене. Слов было не разобрать. Затем опять засмеялись. Я вздохнул, громко постучал и, подождав немного, заскрипел открываемой дверью.

В огромной, залитой светом мансарде около небольшого столика с несколькими бутылками джина, сигаретами и еще чем-то расположилась целая компания, с молчаливым любопытством уставившаяся на меня; еще один чернявый мужчина в очках сидел с рукописью на коленях чуть поодаль. Когда я представился и сказал, кто мне нужен, он чуть привстал, давая понять, что он и есть нужный мне Билл Бартон. Фразы обычных приветствий, приглашение раздеться и присесть, взмах рукой, и он продолжил чтение, во время которого я смог осмотреться.

Первым, кого я заметил и узнал еще в дверях, но все же не сразу, а узнавая как бы быстрыми волнами, что приносят то одну, то другую необходимую для совпадения деталь, оказалась сидевшая несколько отдельно от остальных знаменитая поэтесса Алменэску. Она держала в руках наполовину пустой стакан с джином и курила сигаретку и, пока я усаживался, смотрела на меня расширенными, так как сидела лицом к свету, накрашенными глазами. Накинутая на плечи шубка не скрывала ее стройных ног, подчеркнутых узкими бриджами и высокими ботфортами в обтяжку. Теперь я узнал и Билла Бартона, хотя на фотографии малого формата в книге, что я видел, он был без очков, и я представлял его ниже ростом, более щуплым и без такого низкого рокошущего голоса. Желтый клин света падал от зеленой настольной лампы, на шпашке ее висел натальный крестик, зацепленный за шнурок, а читал Бартон что-то вроде нового путешествия Гулливера по колониальной России — сюжет несколько неожиданный для автора книги о Мальвинских островах. Я, конечно, не был вполне готов к восприятию прозы на слух, протиснувшись из одного пространства в другое, еще плавая, качаясь наподобие очертаний за запотевшим окном, что ежесекундно сдвигались, размывая линию, не находя себе места, да и повествование, кажется, двигалось к концу.

Пока он читал, я разглядывал помещение. Свет из нескольких окон как-то странно перемешивался посередине, создавая белое слепое пятно, что сдвигалось то влево, то вправо, висело белой Гренландией чуть выше столика с полупустой бутылкой водки (конечно, это была русская водка, а не джин, как мне показалось вначале) и другой, порожней, на полу. Предметы казались неестественно отчетливыми, будто подретушированными и обведенными жирным грифелем. Пуговица на узком в трещинах подоконнике, рядом с распотрошенной пачкой папирос, в рыхлый разрыв грубо толкались невидящие пальцы и мяли папиросу в ожидании точки или конца абзаца, а затем Бартон прикуривал.

С Алменэску я несколько раз встречался взглядом, читая в нем то же (только сейчас сфокусированное в точку), что рассеивалось ею по теле-

экрану в еженедельных программах «Женский час»: аффектированная вопросительность, экзальтированный надлом и обращенный равно ко всем призыв. Артистическая грация в каждом жесте. Как и в каждом ее четверостишии, где прозаизмы соединялись с высокими словами посредством дательного падежа и слово плавало в строке, наполненной пеной нервной женственности. Что-то в ней вызывало беспокойство. Хотя нужно признаться, что я вообще с опасливой осторожностью относился к женщинам, постоянно находящимся на границе тихой истерики и восторженно артистичным, даже если эта артистичность естественна для них как кожа.

Заговорили сразу, как только Бартон кончил чтение. Те двое или трое статистов, с дамой между ними, высказывались односложно, создавая ровный непритязательный фон. Зато Алменэску собирала всеобщее внимание, как вогнутая линза солнечные лучи, поворачивала его, ориентировала по-своему, будто грела различные участки тела поворотом рефлектора, и сразу натягивала узду, если чье-то внимание ослабевало. Речь шла о незнакомой румынской девочке, которая сидела в одном захолустном театральном зале позади Алменэску, и та, ряда на четыре ближе к сцене, постоянно чувствовала на себе пристальный взгляд девочки. В ее устной речи присутствовало твердое и осязаемое, как заноза, тире г-жи Морозовой, заменяющее жест и глагол, и это тире она обозначала плавным взмахом руки вверх, осыпая при этом пеплом узкие бриджи. «Обернуть — смотрит. Посажу еще немного, скошу взгляд вбок — опять глаза. Девочка, маленькая, черненькая, слишком серьезная, а глаза — блюдца. Руку поднесу, чтобы волосы поправить, провести по лицу, рука тяжелая, как не моя — не поднять. Обернусь — смотрит. Не мигая. Меня уже дрожь бьет — такие глаза. Мистика какая-то. Чувствую, что вся в ее власти. Ничего больше не вижу и не слышу, только оборачиваюсь — глаза — и не могу отвести взгляда». И так далее, варьируя эту тему словно заплетаемую косицу, пока не отвердело в восприятии не только тире, но и эти глаза. В промежутке ко мне: «А вы так и приехали — без шляпы и в пиджаке?» — осматривая мой черный пиджак с галстуком и белую сорочку. «А что у вас за книжка?» — шуршала разворачиваемая газета, — «Ого, вы ее, наверное в подарок принесли? — Алменэску — Нет? А я-то думала в подарок. Мне кажется, что я о вас где-то уже слышала, как вы сказали ваша фамилия?»

Я понимал, что Алменэску одновременно и кокетничает, и подсмеивается надо мной. Однако, возможно, любой мужчина на моем месте почувствовал бы то же самое: слишком отчетливо ощущались женские флюиды, излучаемые ею если не в силу привычки, то по закону природы. Мне было знакомо и понятно это желание нравиться во что бы то ни стало и кружить голову всем без исключения; но это желание хотя бы отчасти искупалось тем, что она была действительно мила. А ощущение,

ею вызываемое, запоминалось, как полет бабочки или стрекозы в театральном зале. На несколько мгновений я увлекся, не настолько, чтобы согласиться выпить действительно предлагаемого джина, ибо не имел привычки пить в час дня под сладкое и сигареты; но как нога, всунутая в горнолыжный сапог с парафином, облекается им по размеру, так и я ощутил, как через некоторое время растаяла моя естественная настороженность и подозрительность к пространству, будто я нашел рамку для души. Все было мило и непринужденно, я разговорился, и на какое-то мгновение у меня в голове мелькнуло: «А не переехать ли мне в столицу, поближе к этим ласковым людям?» — хотя и казнил впоследствии себя за то, что размяк.

День посерел, когда через пару часов вся компания высыпала вниз: пронизанный мелкой сеткой воздух вылавливал из потока парочку опереточно красивых елок, понурую осину, игрушечные коттеджи и заляпанную грязью по стеклу машину Билла Бартона, с которым мы уже договорились о новой встрече. Он был спокойно и ослепительно пьян, но не педалировал это состояние, избегал придаточных и строил фразу без лишней затейливости. Уговаривая меня ехать кататься с ним и Алменэску на машине, он остановился и сказал: «Все это от дьявола. Все это ерунда, вот у меня душа гибнет, это да». Алменэску несколько набекрень, по самые брови надела мохнатую шапку — копию кинематографической версии головного убора Печорина, нахлобучившего такую же папаху на свою трепетную пленницу в одной посредственной экранизации Лермонтова. Смотря ошалело, она говорила: «А мне вы разве ничего не привезли, я тоже люблю читать?» И опять интересовалась, где моя шляпа. Говоря одновременно со мной и дамой-приятельницей. Олицетворяя тот тип прелестной особы, которой все женщины завидуют, мечтают походить, а мужчины желают обладать. Если бы не две пустые бутылки, я имел все основания полагать, что кокетничает она чересчур. «Поехали, — уговаривал меня Бартон, думая, что я сомневаюсь, — смотрите, другого раза может и не быть». Очевидно, он полагал, что мне будет лестно находиться в компании столь знаменитых писателей, но я вообще пресыщался общением в течение нескольких часов, а популярность была в моих глазах, хоть и простительным, но недостатком. «Давайте мы подвезем вас хотя бы до станции,» — садясь в машину, бубнил Билл Бартон, а Алменэску смотрела через стекло не мигая. «Мы тут два дня назад потеряли ее шапку, искали, искали и нашли, представляете, на том же самом месте, на обочине». Я поднял руку на прощание; машина, вильнув, взяла с места сразу, нарисовав трапецию расходящимся в обе стороны грязным снегом.

(Здесь мы прервем цитируемые нами записки, чтобы указать на тот специфический привкус жизни колониальной богемы, который может вызвать недоумение у неосведомленного читателя. Писательские заба-

вы известны. Один пишет, опустив ноги в таз с горячей водой. Другой переодевается в женский наряд. Третий работает под звуки заунывной волюнки. А четвертый покуривает кальян, обмениваясь опытом с тенями прошлого. Кто много получает, тот много и тратит. Будь снисходителен, читатель, — если, конечно, сумеешь. Но продолжим цитату).

«Приехав через два дня, я нашел Бартона в бильярдной, где он гонял шары кием на пару с сумрачным субъектом в кожаном пиджаке, накрытый колпаком тускло лимонного света неоновых ламп. Бартон заторопился, кончая игру, и уже через пару дряблых минут со словами: «Вы меня вдохновили, и я выиграл», — натягивал свою куртку. Беседуя, мы спустились по лестнице. Обычный светский разговор, в котором собеседники по разным причинам не попадают в такт и не находят нужных слов. Бартон был не готов к роли мэтра, я к роли начинающего автора. «Ба, да я вас сейчас познакомялю еще с одним хорошим писателем», — несколько оживившись, воскликнул он.

Навстречу нам по гостиничному холлу двигался Тэст. Господи, я и не знал, что у него нет одной ноги. Мы кивнули друг другу, Тэст с ласковой оторопелостью; я готов был провалиться на месте. О моих эссе не было сказано ни слова. Пространство стало тесным, как лист бумаги. Ситуация напоминала клоунский трюк с яростным открыванием открытой двери. Мим трясет дверную ручку, упирается всем телом, а когда в отчаянии уходит, дверь, скрипнув, приоткрывается в другую сторону. Встреча, которую мы в уме отменили, нарушает тайную жажду завершенности, что таится в оркестровке любой мелочи.

(Встреча двух поколений напоминает, встречу двух цивилизаций: церемониала здесь куда больше, чем искренности. Однако теперь, спустя годы, я с удивлением нахожу, что Бартон по отношению ко мне выказал себя куда более терпимым и добросердечным, нежели я сам, когда мне сейчас приходится общаться с молодым, нахальным и говорливым виртуозом, коему дела нет до моего Приамова скворечника, впрочем, как и мне до его Гекубы»).

Руководствуясь нашим правилом диалогично воспроизводить облик своего героя, мы условились о встрече с Биллом Бартоном, который до сих пор является не только старейшиной цеха и одним из самых талантливых писателей колонии, но и одним из самых удачливых — кто еще может похвастаться, что имеет в своем письменном столе так мало неопубликованного и о ком одновременно может появиться хвалебная статья в официозном «Культура и мы», эмигрантском «Дебаркадере» и в парижском «Материке» — этой зарубежной копии «Нью пис» г-на Тваделло. Уметь нравиться столь разным и многим, поступаясь при этом столь малым, завидная удачливость. И попросили как всегда подтянутого (несмотря на преклонный возраст) Билла припомнить хоть что-нибудь о тех далеких встречах с Ральфом Олсборном, когда тот был еще, по

сути дела, никому неизвестным начинающим автором. Приводим дословно слова Бартона: «Знаете, трудно — слишком было давно и недолго. Да и прочел я тогда, кажется, только один его роман, но название не запомнил. Это всегда довольно странное ощущение, если появляется что-то тебе неизвестное и заслуживающее внимания, когда кажется, что круг уже очерчен и ничего, и никого нового не будет. Если сравнивать, то с тем, что у вас вдруг начинает расти шестой палец на руке или еще один зуб, а кажется, что достаточно тех, что уже есть. Роман я не помню, вернее, помню очень смутно, но он мне вроде бы понравился как вещь, написанная с серьезными намерениями, иначе не стоило о нем и говорить; но с одним недостатком: он был написан как шедевр, а шедевром не являлся. Только настоящая вещь, что тоже немало, так как в колониальной литературе не так-то много настоящих романов. Разоблачать надо самого себя, ибо только в себе, как в колодеце, не видно дна и нащупывать его можно только шестом совести. А каждый раз нацеливаться на шедевр — это, несомненно, чересчур, но у каждого своя лопата и своя траншея, может, это и неплохо».

В этой главе нам осталось привести еще два отрывка из второй записной книжки Ральфа Олсборна, в одном из которых мы как раз и находим описание сан-тпьерской квартиры Билла Бартона, точнее квартиры его первой жены, где Бартон останавливался, приезжая в Сан-Тпьеру.

«Мне импонировал его ум, его устная речь, которая походила на письменную. Бартон говорил точно так же, как и писал, а так как говорить он мог на любые темы, не думая о цензуре, то, возможно, говорил он даже лучше.

В его сан-тпьерской квартире присутствовало то необщее выражение, что выгодно отличало ее от жилищ богатых друзей отца, с чистотой и порядком по струнке и мучающимися от молчания вещами. Здесь говорило многое, одушевленное каким-то завихрением, взбаламученным состоянием: обилие ненужных, но что-то щебечущих милых вещиц, игровые плакаты, кабинет, устроенный на просторной кухне, вывезенная из России коллекция табличек типа «Не влезай, убьет!» и дорогая нефритовая безделушка на огромном, прошлого века письменном столе, столе с обилием ящиков-воспоминаний, внутренних перегородок, тайников, закладок и подставок, за которым, как объяснил Бартон, он никогда не работал, предпочитая тахту или другое укромное место. Мне нравилось рассматривать иллюстрации в книге, которую представляло из себя помещение, где прожито немало, хотя немногие из них запоминаются. Эта рамка настолько обязательна, что без нее картина висит на мольберте и не закончена. Помню квартирку-студию наперсницы г-жи Алтэ, на протяжении долгих лет выпускающей книги о литературе, исполненные, несмотря на ее возраст, молодой силы и ума, квартиру, сплошь состоявшую только из книжных полок, этажерок и книжных

шкафов и без какого-либо флакончика, полочки, вазочки, свидетельствующих о том, что здесь жила молодая, потом средних и так далее лет женщина со свойственными ее полу пристрастиями и привязанностями, хотя бы одна улика женственности или ниточка, отставшая от рукава поклонника (или, как шептали о ней — поклонницы), только уникальное море антиквариата и пережившая мертвых сухая корабельнаямышь-библиотекаряша.

Я задумался, сличая впечатления, и в этот момент в комнату вошла милая, рыжая, полноватая женщина, которая выглядела лет на десять-пятнадцать старше Бартона, всегда одетого достаточно щеголевато (но обязательно с каким-нибудь нравящимся мне изъяном, что лишало его облик пугающей лощености). Он представил меня дежурным комплиментом, в ответ мне захотелось сказать что-либо приятное и ему, и я с трудом удержался, чтобы не выразить радостного удивления тем, какая у него молодая мать (я уже знал о его столичной семье, и был уверен, что рыжая, приятная женщина — не жена, а мать Бартона). Он обернулся на вбежавшего в комнату карликового пуделя, и я, к счастью, проглотил то, что было на языке.

Когда она вышла, мы разговорились о том доме, который у каждого только один, куда тянет вернуться, а все остальное лишь сублимация. Возможно поэтому великий и несчастный Кобак (находившийся тогда в зените славы и не ведавший о том, что последняя изданная им книга оттолкнет от него почти всех читателей и издателей) жил только в отелях, годами не обзаводясь ничем своим. Я рассказал, как встретил однажды его в шикарных апартаментах слишком дорогой гостиницы, где он занимал чуть ли не целый этаж и где, однако, не было ни одного отпечатка живого или жилого, вроде маслянистого лунообразного пятна на обоях под лампой, оставленного прислонявшимся затылком. Как в целлофане. А потом в цепи неясных ассоциаций припомнил, как в тот день в Рамос-Мехиа, когда я, глядя на несколько понурый вид Бартона, спросил, где Алменэску, он ответил: «Нету, приехал муж, сказал, что плохо себя ведет, завязал в узелок и увез».

Мы встречались с ним в общей сложности раз пять-семь, пока эти беседы, слишком умные, длинные и серьезные (как прустовский период), чтобы иметь хоть отдаленный привкус приятельских отношений, не перестали меня занимать. После «Акрополя» Бартон был озабочен тем, что издательства разрывали ранее заключенные с ним договоры, выплачив аванс, но нагрев на какие-то там тысячи, а я к тому времени не заработал литературой ни песо, да и не хотел зарабатывать — слишком много было разным, и я уходил вбок и в сторону (что одно и то же), вспоминая все реже и реже, обретая новых знакомых и собеседников, брел по какой-то аллее, обсаженной деревьями с редкой кроной, с роением пятен света и тени на красноватом и сыром песке, потом заворачивал,

растительность менялась прямо на глазах, скромный скандинавский ландшафт заменялся экзотической флорой, а тени становились круглей и короче, пока однажды, переписывая все из старой записной книжки в новую, не оставил на вторую букву алфавита пустое место. И только впоследствии, заходя в соседнюю подворотню, у цветочной лавки, где жил новый колониальный обериут, иногда вспоминал, что анфилада проходных дворов с гулким и сырым эхом подворотен кончалась темной лестницей, кажется, на втором этаже переход на другую лестницу, и из-за двери уже лаяла и скребла коленкор собака, а ты..."

Что ж — как это ни грустно — попытаемся поверить: встреча поколений — встреча двух цивилизаций. Но вот последний отрывок из синей записной книжки.

«Я позвонил ей в один пустой столичный вечер, никуда не поехав и маясь от пустоты чужой квартиры, одурев от работы, чтения западных журналов и «Ювелирного озера» г-на Сократова в «Отклик», от которого стоял оловянный привкус во рту и шум керосинового прибора в раздраженных перепонках. Набирая номер, я разглядывал «Мисс-октябрь» — блондинистую нью-йоркскую блядушку в розовой пене, выглядывающую из изумрудного глянцевого омута обложки затрепанного «Плейбоя» на столике. Позвонил, ибо уже несколько лет не давали покоя (хотя покой, пожалуй, слишком, — так, небольшая заноза) валяющиеся где-то там у Алменэску те мои убогие тексты, все остальные экземпляры которых я хищно выследил и тут же уничтожил. Забрать и лишить жизни. Не очень удобно, но надо. Гудки, гудки, никого нет дома, мотается по каким-нибудь делам, ее недавно избрали почетным членом американской Академии наук, и она тотчас написала вдохновенные вирши в защиту уже колониального академика — раздался щелчок, и тоненько: «Алле! Алле! Слушаю!» Сдержанно напомнил о себе, высказал просьбу. Возможно, она меня не узнала (немудрено) и не поняла, кто и зачем звонит, или по другой причине на нее нашла волна тихой истерики, в результате чего на меня обрушился какой-то ласково-идиотический бред. Про какие-то ключи, которые она потеряла и теперь не знает, что делать. Переменяя тему ключей с восторгом ненужной благодарности явно не по тому адресу. Я слушал, слушал, затем невнятно извинился и, ощущая, как прогнулась душа от осевшей грусти, тихо повесил трубку».

Профессор Стефанини косвенно полемизирует с утверждением Сандро Цопани, высказанном в уже упоминавшемся очерке из сборника «Десять лет среди теней», где указывалось, что будущий лауреат в первом периоде своего творчества «хотя и не ориентировался на колониальную акустику», но писал, если так можно выразиться, «учитывая негласные мнения читателей, коими являлись лучше колониальные писатели». Славист из римского университета, оспаривая мнение уважаемого представителя мексиканской эмиграции, категорически под-

черкивал свое несогласие, уверяя, что «сэра Ральфа ни в коей мере не могли удовлетворить отношения с теми литераторами, которые, пусть и не всегда по своей воле, находились в шатком, двусмысленном и неопределенном положении, что бросало такую же шаткую и неопределенную тень (корявое, размытое чернильное пятно) на их репутацию». Лояльность, по определению Макколея, — «хорошая штука, если не приводит к привычке постоянно искать мелочь под ногами». Сэру Ральфу приходилось считаться с тем, что, «став волосом, выпавшим из пробора» (еще одна цитата), он одновременно как бы поднимал над головой картонный ореол непризнанного гения, на что он никогда не претендовал, стараясь, по возможности, всегда оставаться в тени и понимая, чем это чревато. Но, отвергая категорический императив долженствования, он являл тем самым закусившую удила претензию. А под ее подкладкой любой мнительный наблюдатель легко разглядит обращенный к нему узор упрека.

«Представьте себе, — сказал профессор Стефанини, делая доклад на ежегодных панамериканских чтениях, — положение талантливого писателя, для которого литература не инструмент для бичевания порока и исправления заблудших душ, не средство заработать деньги или известность и не приспособление для духовно-эстетического онанизма. А единственный и естественный способ, прошу меня правильно понять, своеобразного мистического существования, уникальный опыт которого может быть — в случае удачи — понятен и важен для идущих по следам читателей. Представьте положение этого писателя в жестоком и тоталитарном мире, причем я хочу обратить внимание не на социально-полицейскую сторону этой трагедии, а на ее метафизический план. То одиночество, которое ожидает такого писателя в мире, где литература всегда воспринималась как инструмент борьбы, вроде мачете или кувалды, а писатели, по меткому определению одного генерала, делятся на пишущих и руководящих. И такое отношение к искусству впитано с молоком першого печатного листа, хочешь-не хочешь, а мохнатым илом осело в крови по сути дела всех читателей, такое одиночество — завидно, на редкость, до искусанных от зависти губ. Как в тесноте поэтического ряда слово подчас поворачивается новой гранью, так и гнилые пни фосфоресцируют только в полной, чернильной темноте. Да и что скрывать: ил илом, а шило в кармане не утаишь, и скажу честно: только в фантастической обстановке колониальной России создались подлинные условия для расцвета настоящих талантов, а о таком благодарном читателе, какой имелся в колонии, можно было только мечтать в старые монархические времена, а вам, господа хорошие, срать-пердеть-колесо вертеть, и не снилось. И скажу вам с последней прямоотой: Ральф Олсборн — хоть и солнце колониальной поэзии, но...»

И несчастного профессора Стефанини, под улюлюканья собравшейся тут белоэмигрантской сволочи, что понятно каждому беспристрастному

человеку, вывели под белы ручки из зала, хотя фашиствующие молодчики из эмигрантского отребья пытались устроить над ним самосуд Линча и расправу. А на утро буржуазная пресса с лицемерным прискорбием сообщила о “некой якобы болезни всегда тайно сочувствовавшего марксистам известного слависта и русиста профессора Стефанини, перегипнотизированного большевиками и теперь поправляющего пошатнувшееся здоровье на даче герра Люндсдвига на Лазурном берегу”. Знаем мы эти дачи.

ИНТЕРМЕДИЯ

Нет, нет и нет. Невозможно. И этот *pider makedonsky* профессор Стефанини, и этот *her s gogu*, майн херц, Люндсдвиг, и, пуще всего, не знаю как его назвать, сэр Ральф — о, что за время, что за нравы! Как тут не вспомнить Катилину с его кателическим (не от Катона, старшего или младшего, образуя это слово, и не от католикоса, а от катализа) ядом, увлекшим слабое и порывистое юношество в катакомбы мысли и кататонию жизни. Как тут не выразить недоумение, не воскликнуть, не задаться вопросом: в чем каузальность этой нетерпимости, откуда эта жгучая каузальгия при соприкосновении с общественными вопросами — и не должен ли писатель, это общественное животное, утруждать себя благородной задачей положительного влияния на взрастившее его общество, исправляя — в ответной любви — немногие из доставшихся ему по наследству недостатков. Умея извлекать из великого омута врашающихся образов завидные исключения. Не изменяя возвышенного строя своей лиры, а снисходя к бедным, ничтожным своим собратьям. И узреть сквозь их несовершенную природу будущего прекрасного человека, и создать вдохновенные и величественные образы, под стать той жизни, из которой они поднялись.

Разве это не благородная задача? Всемирным великим поэтом нарекут такого писателя, парящим высоко над другими гениями мира. И, рукоплеща, побегут вслед за торжественной его колесницей. Прекрасен, завиден удел его!

И, напротив, разрешите предложить такую конъектуру: нет ли здесь обратной конъюнктуры, если писатель, погрязнув в страшной, потрясающей тине мелочей, субъективно запутавшись в глубине холодных, раздробленных, повседневных характеров, дерзает выставить на всеобщее обозрение лишь свое и чужое несовершенство, не согретое, как мы видим, общественными заботами. Такому горе-писателю не собрать народных рукоплесканий, не зреть признательных слов и единодушного восторга взволнованных им душ; к нему, поверьте, не полетит навстре-

чу шестнадцатилетняя девушка с закружившейся головой и геройским увлечением; ему не избежать, наконец, праведного суда, который назовет его ничтожным и низким и справедливо отведет ему презренный угол в ряду тех, кто оскорбляет человечество, и также справедливо отнимет у него и сердце, и душу, и божественное пламя таланта. Сурово его поприще, и горько почувствует он свое одиночество, но поздно. И не помогут ему те лицемерные защитники, спрятавшиеся под покровом международной общественности и юрисдикции, ведь и злопыхательствует он, скорее всего, ради разных стефаниний, люнсбергов и люндвигов, которые будут лить крокодиловы слезы, хотя именно им, гневно упрекнув, посоветовал наш колониальный Некрасов «вы все тужитесь наружу, а надо б тужиться вовнутрь». Недопустимо. Неправомерно. Бестактно, если хотите. И не литература это, а клевета на литературу, когеррентная неправде. И не художество, а жалкий балаган. Не согласен. Протестую. Читатель, недоумевающая, возмущен, искренне желая понять и осудить.

И потом, если говорить конкретно и, если так можно выразиться, документально, не отходя от текста ни на шаг или даже йоту, посмотрите. Сначала вы вели речь о некоем существе, которое ворочается в своей постели, когда за окном непогода, крутит и вертит, буря, мгла, ветер воет, проникая во все щели и даже сквозь ноздри электророзетки (что, надо сказать, малоубедительно), за окном наводнение, хотя мы не помним наводнений в сентябре, а если в сентябре, то почему домашние, как в стихах, в разброде, ибо им давно уже полагается перестать разбредаться и начать сбредаться, но это все детали и частности, Бог с ними, пусть он крутится и вертится, не находя себе места в родовых или преждевременных муках, или же ожидая и опасаясь неизвестно чего (теперь то понятно чего, да и не зря).

Но: вы его назвали неизвестным писателем и с этим, скрипя сердцем, как новым седлом, можно согласиться; затем незаметно соскользнули на понятие — наш писатель, что малоубедительно, если не сказать больше; а потом и вовсе стали величать его будущим лауреатом, что совсем уж ни в какие ворота, ибо сразу стало непонятно: в каком смысле вы употребляете слово будущий — в том, что он когда-то был неизвестный и про него никто достоверно не знал: будет он или не будет, а потом он взял да и стал — в каких целях, это нам понятно, знаем мы эти премии, нагляделись; или же наоборот: он был неизвестным, неизвестным и остается или оставался, а будет он или не будет, это еще как сказать, никому неизвестно, бабушка, как говорится, надвое сказала, и тогда я категорически не понимаю, выражаю свое решительное сомнение или даже, если хотите, возражение? А так получается, что ваши понятия шалят и прыгают, как стрелка у прибора, показывающего бурю?

И даже если вы хотите спрятаться за давным давно скомпрометированную позицию: мол, мы только изображаем, описываем, так сказать, беспристрастно, и ничуть не больше, только как чистый предмет, за него, как сын за отца или отец за сына, не отвечая, совсем не имея гордой мечты заделаться исправителем людских пороков (мол, нам это не по силам, и дай Бог слабой рукой набросать портретик, да еще, точно не одного как бы человека, а целого поколения, конечно, порочного) и в полном их развитии и становлении; то и тогда, если цель ваша мелка и такова, то надо как бы больше определенности, мыслей, полета, смело отделяя себя от, так сказать, предмета исследований, и, конечно, проясните, уважаемый, свое мировоззрение. А то, честное слово, непонятно, если не сказать подозрительно, сомнение, признаюсь, берет в самой авторской позиции или, как говорят, установке. Поэтому, если возможно, проясните. И пролейте, как водится, свет.

Да, возможно, читатель и прав, и ему непонятно, как и что произошло с неизвестным писателем, чтобы в результате он стал каким-то таким писателем, что и ни туда и ни сюда, ни вашим, ни нашим, как бы сидящим между двух стульев (это сравнение нравится нам именно в силу своей стертости). И эти ему писатели вроде по душе, и те, но как бы те и другие не слишком чтобы очень; хотя, если с другой точки посмотреть, то и эти ему писатели достаточно чужды, да и те, честно говоря, тоже. И читатель прав, когда недоумевает и требует прояснить позицию или даже мировоззрение, не убоясь этого высокого слова, ибо раз для него писатель неизвестный, значит, он его не знает, то есть ничего не читал и даже слухом не слышал, а потому ему непонятно (хотя он, как собака волка, нюхом чует его какую-то враждебность или, по меньшей мере, неродственность).

И прежде, чем мы начнем рассказывать о встречах нашего неизвестного писателя с писателями очень даже известными, если не сказать знаменитыми, но уже совсем с другой стороны, он бы желал узнать: как и почему, где и зачем. Чем отличается от тех и от других, что на самом деле совсем просто, если даже не очень сложно: ибо нам важно что? — не отличие в каких-то там деталях, а отличие, так сказать, по существу. Как косточки яблока отличаются от грушевых, а не, предположим, от вишневых, что очевидно и просто. А вот яблочные от грушевых совсем не просто, а трудно.

И, пожалуй, даже почти невозможно, если бы, совершенно случайно, не оказались у нас пожелтевшие, как газета, год пролежавшая на подоконнике дачной веранды, листочки. На них-то мы и надеемся. Так как что бы автор ни писал, везде он эта самая Бавария, то есть я хотел сказать — Бовари и есть. Особенно, если именно не о себе (здесь он, конечно, стесняется или, наоборот, слишком задается), а о других. Тут ему легче проговориться под сурдинку. А мы раз — и пойман, как гово-

рится, на месте преступления. Не в прямом, естественно, смысле — преступления, а в переносном, но все равно пойман — попался. Косвенно, говоря совсем о другом, раскрылся. И отличия — для читателя — проступили. Как масляные отпечатки пальцев на бумаге. Косвенная, но улика. Хотя о другом.

ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ

Последующие несколько разрозненные материалы (в основном, вырезки из газет, отрывки рецензий, в том числе и рукописные, и т. д.) были найдены в одной папке (in folio, зеленые тесемки) Зигмундом Ханселком при разборе доставшегося нам по случаю архива. По ознакомлении материалы показали любопытными. Ивор Северин высказал предположение, что они предназначались для описания ситуации, попадающей в окрестность затронутой нами темы, но по неизвестным причинам оказались невостребованными, и предложил опубликовать их в хронологическом порядке. Ханселк настаивал на переработке. Компромисс устроил всех: мы остановились на дословной перепечатке с комментариями и добавлениями, которые в каждом отдельном случае оговариваются.

Порядок следования страниц, в основном, сохраняется таким, каким задала его найденная папка.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД

Как утверждает всем известный и экстравагантный Генри Мейфлаур (с его «Пропедевтикой современной литературы» знаком каждый, кого не удовлетворили в свое время университетские учебники), положение колониальной литературы парадоксально, ибо она «отлучена от читателя». В качестве доказательства Генри Мейфлаур предлагает прием, которым пользуется неискушенный читатель, то есть посмотреть в замочную скважину (далее у Мейфлаурса идет развернутое сравнение этого процесса — на наш взгляд, не вполне оправданное, — с любовным актом), и уверяет, что «писать в последней четверти XX века на русском в колонии — это абсурд».

С этим утверждением, казалось бы, можно согласиться, особенно если вспомнить, что, по определению отца паралингвистики Зигфрида Фонда

(см. его книгу «Мистика языка», стр. 387), «писатель — существо общественное — и нуждается в акустике (в эхе) не по прихоти, а по условиям своей работы и существования».

Действительно, двадцать лет назад невозможно было предположить, что литература диаспоры, к тому же помещенная под колпак жестокой и нелюбопытной власти, привлечет к себе мировое внимание и воплотит, по словам Вилли Вулдворта, «мировой эстетический заказ». Сейчас трудно найти такую кафедру славистики — будь то университет Оклахомы, Лиона или Мюльхейма, — где среди самых посещаемых курсов не нашлось одного или двух, посвященных литературе диаспоры, с легкой руки того же Вилли Вулдворта называемой теперь «К-2». Целые университетские программы посвящены изучению К-2, ее связи с мировой литературой, ее влиянию на различные национальные литературы.

Газета «Нью-Йорк Таймс» четвертый год подряд ведет рубрику «К-2 сегодня». Журнал «Кензен литтерэр» в процессе изучения К-2 печатает материалы под шапкой «К-2 на грани веков»; «К-2 вчера, сегодня, завтра» — под таким заголовком появляются еженедельные публикации в известной своим тонким вкусом «Пари-матч». Как всегда опережающие европейцев азиаты уже давно обогнали европейские и американские университеты по масштабам и кропотливости своих культурологических программ. Тайваньский университет среди объявленных на будущий учебный год семинаров имеет три, относящихся к нашей теме: «К-2 и Джойс», «Влияние Ральфа Олсборна на литературу малых народов» и «Традиции К-2: слово и мировоззрение». И по сравнению с восточной дотошностью слабой тенью выглядит цикл лекций Кельнского профессора Л. Вертмюллера, прочитанный в течение двух семестров и посвященный влиянию К-2 на швабский литературный язык.

Трагическая ошибка Генри Мейфлаурса вряд ли, однако, заслуживает столь категорического порицания. Она доказывает лишь одно: взгляд постороннего наблюдателя далеко не всегда обладает большей прогностической точностью, нежели взгляд на процесс изнутри. И, как нам кажется, читателю тем более будет интересно познакомиться с нижеследующими материалами, демонстрирующими пристрастный и зыскательный взгляд двадцатилетней давности, когда до сегодняшнего триумфа К-2 было еще далеко.

Весьма вероятно, что собранные в папке с зелеными тесемками документы должны были послужить основой для статьи, которая, очевидно, так и осталась ненаписанной, ибо по сути дела все эти вырезки из газет, отрывки из рецензий, как, впрочем, и отрывочные записи, представляют из себя ряд последовательных определений, данных различными исследователями двадцать лет назад литературе диаспоры, названной впоследствии К-2.

Пожалуй, наиболее общее (но не обязательно точное) определение представляет собой вырезка из газеты «Дейли миррор», подписанная Гюнтером Хаасом. Несколько многословная и наукообразная, она начинается так: «Когда один человек, одурев от нечеткого воспоминания о том, что где-то и когда-то была свобода, пишет то, что душе угодно, или то, что Бог на душу положит, это еще понятно. Но волна — не брызги, и литература диаспоры есть сложное духовно-социальное образование, вроде пены, состоящее из пары сотен ячеек для авторов в каждой из колониальных столиц, а также одиночек, рассеянных по периферии, связанных единой корневой системой приятельских отношений и шапочного знакомства, кровеносной системой книгообмена и каналов получения сведений и сплетен, объединенных подчас одинаковым социальным статусом и опасным для тайной полиции тем, что могут спонтанно объединяться для не вполне предсказуемых акций».

Мнение эмигрантской «Русской мысли» весьма характерно: «К-2, так называемая К-2 — плесень, в опытным порядке выведенная под наблюдением органов безопасности, заинтересованных в существовании “русской партии”. К-2 — литература под колпаком Москвы, литература “пятой колонны”. Пускают мыльные пузыри полтора диссидента в Париже и Нью-Йорке, о чем-то машут руками на языке глухонемых перед прозрачным, звуконепроницаемым стеклом — не слышно». Заметка подписана: Кирилл Мамонтов. Ау, г-н Мамонтов, где вы теперь?

«Ватикан ревю»: «Возникновение К-2 непосредственно связано с религиозным патриотическим возрождением в среде бывших русских переселенцев, с религиозными исканиями, охватившими некоторую часть диаспоры, зашедшей в мировоззренческий тупик после того, как окончательно разочаровались в силе разума, прогресса и возможностях островной цивилизации». «К-2 (читаем мы дальше) — религиозное движение протестантского толка, лишь по необходимости принявшее образ литературного эксперимента.» «К-2 — это Божий замысел и Божественная непредсказуемость Его Явления».

«К-2 — не связана с постпредворским ренессансом, — продолжает дискуссию неизвестный автор, обозначенный в слепой машинописной копии архива инициалами Д. Б. — К-2 — это подпольное сознание и подпольная литература в условиях, когда подполье — единственный способ сохранить связь со своей духовной родиной».

«Алтэ, Пальм и Киззеватор, — читаем мы на обороте вышеприведенной странички, — почтенные писатели, широкоизвестные читательской публике еще с монархических времен. Их сложное отношение к военной хунте демпфировалось инерцией печатанья в течение многих десятилетий, причастностью к определенной культуре и нравственной традиции, пусть и отвергаемой новым порядком, но существующей. К-2 — маргинальное образование, плохо исполнившее заветы своих учителей.

К-2 — салонная литература кружков, которая никогда не выйдет за их (кружков) пределы. К-2 — поза, К-2 — секта».

Следующее определение, зафиксированное итальянской «Републикой», дается известным лингвистом Карлом Понти, который выводит факт существования островной литературы из сферы социологии в сферу историко-культурную и, переориентировав проблему, утверждает, что «развитие К-2 связано с появлением в колонии принципиально нового поэтического языка, состоящего из знакомых всем слов, но соединенных посредством едва ли не новой грамматики, возникшей в результате оставшейся незамеченной и неосознанной не только публикой, но и авторами революции в поэтическом языке. В основе ее лежит принцип свертки исторического опыта в личное слово. К-2, таким образом, чисто лингвистическое явление, имеющее к литературе лишь опосредованное отношение».

Следующее определение, которое Ивор Северин назвал «метаисторическим», дано Джорджем Клейтоном в рецензии, опубликованной журналом «Нью-Йоркер». Читаем: «К-2 была вызвана к жизни не столько усвоением русского Серебряного века и открытием в весьма подходящий момент ранее неизвестных и талантливых предшественников, которые явились в ореоле непризнанных и замалчиваемых гениев (отчего просто по инерции руки потянулись им навстречу), сколько продолжением традиций авангардно-фольклорной группы «Бэри». Литература метрополии для литературы диаспоры — не более, чем прекрасный, но умерший век культуры. К-2 принадлежит к новой каменной эре, к эре нового и молодого варварства, пришедшего на развалины Рима, чтобы из его обломков сварганить для себя новый и странный алтарь».

Странное мнение. Может быть, поэтому на полях данной вырезки неизвестной рукой и раздраженным почерком выведено: «А “новые левые”? А молодежные разрушительные движения в Европе? А ритм совпадений? Надо ли выдумывать велосипед? К-2 — органика, естественный психологический протест, а...»

«Ты знаешь, — читаем мы чье-то частное письмо, — сначала я был страшно поражен, а потом — даже не знаю, как тебе объяснить. Кажется, обыкновенная богемная среда с обычным спектральным составом: несколько талантов, больше способных, средних, второсортных, малоспособных, каждый из которых, однако, считает себя гением. Своя иерархия, свои герои, свои подонки и шуты — путь которых, кажется, определен. Кому спиться, кому сойти с круга, выйти из ума, соскочить с карусели, и, думаю, лишь немногим удастся добрести до конца. Но — прочел ли ты стихи, которые я посылаю тебе с прошлой почтой? — признаюсь, я плакал. Пусть погибнут десятки и сотни, но я никогда не поверю, что такое может быть напрасно. Пусть хоть двое-трое, пусть хоть один...»

Папка с зелеными тесемками еще полна, архив не исчерпан, но, кажется, читатель уже получил впечатление о том, как неоднозначно относились к литературе диаспоры двадцать лет назад. То, что кажется очевидным нам сейчас, было далеко не так очевидно тем, кто смотрел на это явление изнутри, когда К-2 состояла из нескольких сотен авторов, работавших в условиях подполья и имевших в своем распоряжении не более десятка (на всю-то колонию) полуофициальных журналов с мизерными тиражами и пару журналов эмигрантских с тиражами никак не большими. «К-2 — литература личных контактов», — написал впоследствии Вилли Вулдворт. Но как ей удалось выжить, как удалось просуществовать самый трудный и опасный период становления, как, наконец, попадали в К-2, из кого она состояла? Папка с зелеными тесемками не в состоянии ответить на эти и другие вопросы, но мы попытаемся удовлетворить любопытство читателей — так как имеем что сказать. И пусть читатель простит нас за иногда возвышенный и несдержанный тон. «Иных уж нет, а те далече», — как сказал, правда по другому поводу, знаменитый Генри Мейфлаурс.

ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ

Последующий странный материал под заголовком «рассказ одной дамы» был найден в той же зеленой папке, между страниц предыдущего материала, и, мы, после долгих сомнений, приводим его полностью, с сохранением пунктуации и орфографии, хотя и подозреваем, что он представляет лишь фольклорный и этнографический интерес, почти не пересекаясь с исследуемой нами темой (нам даже не удалось выяснить, основывается ли он на колониальных источниках или описывает ситуацию в метрополии, хотя последняя версия и кажется предпочтительней), демонстрируя, если можно так выразиться, взгляд (да еще и пристрастный) изнутри богемы, которая, вероятно, везде одинакова.

рассказ одной дамы

я спала с ними всеми считая что если залечу то от очередного гения и не потому что слаба на передок а просто так вышло и получилось само по крайней мере сначала что это были только те кто хотя бы сам считал себя гением и при этом был конечно хорошо несчастен сверху до подошв а мне нравилось в них именно это будто искра пробивала хотя все были разные или почти разные и то что сейчас я вспомнила первым именно коку ничего

не значит хотя он обожал выставлять свое хозяйство напоказ и лежал в чем мать родила на столе пока вокруг крутились со стаканами и рюмками или встречал посетителей пришедших смотреть картины выставленные в его салоне с расстегнутой мотней из которой обязательно что-то торчало но как мужчина он был хорош и знал это и никогда не стеснялся и не был ни скобарем ни жадиной хотя слишком потел но и не вонял при этом как другие и все у него получалось весело хотя я и не была в восторге от этих стихов пенис пенистый бокал с наслаждением лакал или уполномоченный упал намоченный на пол намоченный но кажется уже перестала к тому времени читать или слушать их стихи так как мне это было не надо нельзя разевать сразу два рта как делают только жены но второй из них все равно закрывается рано или поздно а женой я хотела быть только раз когда это было невозможно потому что он умирал на глазах мой роальдик который и пустил меня по рукам ибо с него все и началось когда я была восьмиклассницей с белыми коленками а он умирающий от чахотки и одиночества поэт с бархатым взглядом у меня только второй год началось все женское и я влюбилась в его стихи которые поняла позднее и в него рокового черноволосого красавца и однофамильца другого поэта к которому он был почти равнодушен хотя и знал мало я жила на той же площадке и он взял меня легко как все брал в тот год ибо знал что умирает и его не бросили только бабы что просто сатанели от одного его вида а он чах кашлял и становился все прозрачней и красивей и часто начинал кашлять перед тем как кончить и ни у кого не вытекало так мало как у него но даже пот его пах чудесно и когда я сказала что хочу быть женой он и пустил меня по рукам сказав — нет так как в упор не видел ни одной бабы как настоящий поэт но я стала его женой после его смерти хотя и трахалась тогда направо и налево но только с теми кто считал себя гениальным и был при этом хорошо несчастен хотя их стихи меня уже не колебали или не так как было вначале пока не поняла во что превратилась и хотя опять вспоминается кока но он был уже позднее и перед ним был иосиф эта мраморная статуя которая заставляла раздевать себя до носков и любить как женщину требуя обожания а сам был какой-то негнушщийся и неподвижный хотя даже его я была моложе а он был таким не то что до ссылки так как после он стал только хуже как все возвращающийся оттуда осторожнее и молчаливей но и до армии не вылезал из кокона великого поэта даже на горшке и в постели и даже в рот надо было брать у него как у великого поэта и ему было плевать какой он мужчина а он был какой-то величавый и местечковый одновременно и не потому что картавил и во рту было полно слюны а мылся только раз в неделю но он был гением из провинциальных низов и не разговаривал а вещал и никогда не терял своего негнущегося величия даже вдрызг пьяный или когда на бардаках у коки не доносил и выливал на простыню и всегда как бы осчастливливал но странно его действительно чувствовала себя счастливой этого у него не отнять хотя я так и не узнала какой он сам по себе в натуре и загорел-

ся только когда я стала спать с его дружкой длинным бобом с которым я ошиблась потому что он не только не был гением но и сам не считал себя таким а хотел только чтобы другие верили в него однако этого было мало но когда я пришла с ним в первый раз в это кафе на малой садовой уже началась другая эпоха все крутилось и бурлило у меня глаза днем светились как у кошек ночью и все было иное в тот год пустились новые трамваи вместо старых квадратно-красных гробов с незакрывающейся на задней площадке дверцей новые с круглыми боками и я каждый день сидела с трех до вечера на малой садовой куда иногда заходил посмотреть на восторженно глазающих на него поэтиков ленька с которым у меня закрутилось уже позднее да и не так чтобы слишком ибо он при всей своей ошалелости даже накурившись дури или сидя на игле все равно помнил о своей благоверной и был как-то чище и светлее иосифа но и как-то бедней и более однобокий хотя не делал вид как предыдущие оба что не знает где у меня клитор то есть думал не только о себе но иногда как бы застывал стеклянея впадая в пустую полосу в ней-то он конечно и застрелился хотя мы с ним не жили уже почти полтора года да я и вообще тогда больше сидела в сайгоне и за спиной шептали вот та блондинистая герлуха с длинным хаером муза абрамовна или как сказало это ничтожество маленький бонапартик чайник с которым я не захотела лечь и не потому что было противно или боялась что он вытащит из сумочки кошелек или стащит книжку если пригласить его в дом хотя этого клептомана все равно приглашали и он крал а потому что не верил в себя и только хотел чтобы верили другие такая же мразь как шир и я не спала ни с кем из них хотя он и сказал когда полез с руками а я дала ему куда следует жидовская мадонна ебись со своими евреями потому что я была еврейка с блондинистыми волосами и голубыми глазами и видела что меня хочет каждый кто только видел и если не умел держать себя в руках то и показывал да и зеркало мне говорило поседела я уже потом но это была ложь что я спала только с евреями хотя их и было больше но мне было плевать на малой садовой потом говорили вавилонская блудница или первая еврейская блядь и я не обижалась ибо была первой и красивее всех и всегда знала что нужно мужчине даже не слушая его стихов ибо все было понятно и без них и когда я пришла в сайгон с охапкой все опупели и решили что я ошиблась но он действительно верил в себя тогда хотя и казался таким же дураком и ходил тогда на вечера к дару который в попочку целовал всех своих длинноволосиков и вместо того чтобы хвалить их тексты делал им менет выражая высшую похвалу правда не все ему давали но тот кто не давал получал от ворот поворот и как-то незаметно кончились эти бешеные шестидесятые годы хотя казалось что так все и будет и никогда не изменится но все изменилось и начались семидесятые сначала почти такие же но никого уже не носили на руках как уехавшего иосифа или леньку пока он не застрелился в своих любимых горах и полях и не сразу стало понятно что все уже другое что-то кончилось и начался отлив и

стихи всем как-то не то что б надоели но стали тише и они стали меньше верить в себя но был еще кока пока и он не уехал и один из хеленуктов пока малая садовая не закрылась и тогда уже стало ясно что все кончилось и долгое время казалось что остался один вит которого держала про запас ибо у него было все но я немного боялась хотя все оказалось лучше и в постели оно оказалось такой же как другие только больше надо было делать самой но с ним мы уже были ровесники а ему хотелось моложе ибо я изнасилась но молодели только у меня потому как менялась и старела только я они приходили все примерно в одном возрасте начиная почти одинаково будто ничего не изменилось за эти годы ничего не зная о тех что были до них только чаще лил дождь и надо было сидеть дома и даже выйти в магазин на углу сиреневого бульвара была проблема и я поняла что начала сдавать не сразу ибо теперь самой приходилось строить глазки как делали все эти дуручки хотя я раньше над ними потешалась и брать на крючок так как эти новые молодые могли пройти мимо и не заметить так потрепанная давалка и все меньше находилось тех кто помнил то время садик на малой садовой скверик на пушкинской и как все вертелось и крутилось тогда и все были ошалелые и не как теперь и конечно вранье что от евреев пахло как-то иначе но я сама стала терять последнее время нюх и не бьет дрожь как раньше когда я вижу среди трех пришедших со своей бормотухой одного который знает что он настоящий и у меня только сжимает горло ибо он смотрит уже в сторону над головой и не возвращается за перчаткой или книгой забытой в прихожей на холодильнике и телефон может не звонить неделями и когда сижу на каком-нибудь чтении кто-нибудь толкает локтем соседа кто та сидя в углу шут ет знает и только лет семь назад серж суетливо положил маленькую потную ладошку на колено и тут же испуганно сдернул будто обжегся и ничего не вышло а с кем получается я уже не знаю наверняка есть в них что-нибудь или я уже выдохлась и никто не позавидует и не скажет тому кто спит с этой герлой место впереди забито и сама знаю что ошиблась несколько раз и они оказались только пижонами и верили в себя на людях а со мной опять сжимались в комок а мне все равно становилось их жаль а значит все кончилась муза абрамовна и пора идти воспитательницей в ясли как решила когда-то когда перестанет жечь между ног и пачкать белье если течь начинает где-нибудь в городе и первый признак болит низ живота и все чаще думаю о том как это было когда-то и раз во сне опять стала тринадцатилетней лолиточкой в белых гольфах у звонка вместо которого торчали два медных проводка их надо было соединить и тарахтело за дверью и все обмерло опустилось пока щелкал замок и дверь открыл опять тот который был лучше всех и не только потому что его я узнала сама и сразу как молодая гончая свежий след а потом становилось все труднее и труднее пока не кончилось однажды но пока было можно я спала с ними всеми не упустив никого

ОСТРОВИТАНЕ

*Хозяйка была диссидентка, как большинство
всего населения острова.*

П.В. Анненков.

По сведениям герра Люндсдвига, сэр Ральф достаточно долго не имел понятия о существовании в колонии альтернативной, оппозиционной культуры, в противовес культуре переселенцев, названной впоследствии К-2. То есть, если он слушал подчас передачи иностранного радио, то мог, конечно, узнать о каких-либо столичных или сан-тпьерских поэтах (в основном, русского происхождения), что время от времени публиковались в русских или эмигрантских изданиях, иногда у какого-нибудь поэта Олвертона или Элскина (фамилия терялась в звуковых волнах, шорохе и треске) устраивался охранкой обыск, в результате чего г-н Олвертон терял архив за последние пятнадцать лет, а г-н Элскин гневно давал отповедь этой акции в интервью западным корреспондентам. Иногда заштрихованное шумом читалось одно или несколько стихотворений синьора Кальвино, выпустившего книгу своих стихов в Париже, а недавно переехавшая в Москву г-жа Корбут, захлебываясь от возмущения и удовольствия, рассказывала о том, в каких невыносимых для творчества условиях ей приходилось работать на родном острове.

Все это (как и сообщение о временных затруднениях проживающего в обыкновенной столичной квартире издателя и главного редактора несколько лет подряд выходящего в Париже и Нью-Йорке иллюстрированного журнала художественного авангарда), должно быть, представлялось вполне фантастическим Ральфу Олсборну, который, зная о подпольной стороне действительности не больше остальных, никак не мог взять в толк: как это можно жить здесь, в колонии, а печататься там, за границей, да еще и открыто давать интервью, пусть и достаточно идиотические, представителям европейской прессы или Пен-клуба — и при этом спать в своей постели, а не на деревянной раскладушке*.

Полустертые глушением стихи производили в достаточной мере одиночное и гнетущее впечатление, позволяя считать авторов К-2 молочны-

* Из-за постоянной жары лагеря неблагонадежных, интернированных лиц носили временный, походный характер, и спали обитатели лагерей на раскладных кроватях (прим. пер.).

ми братьями колониальных диссидентов. А к колониальным диссидентам, как неопровержимо доказывает профессор Люндсдвиг, проанализировав пока неизвестную нам третью записную книжку (по крайней мере до чтения тонких и умных воспоминаний г-на Вокуба, кое-что изменивших в его мнении), сэр Ральф относился с липким и нескрываемым предубеждением. Судя по их высказываниям, это были достаточно дубоголовые люди. Более того, ничто не мешало их считать конъюнктурщиками-наоборот. То есть, приспичило кому-то перебраться в метрополию, а его не пускают, вот он и становится сторонником объединения территорий, талдычит всем о «единой и неделимой», мозолит глаза в сидячей или лежащей забастовке в приемной «Национального конгресса», щекоча соломинкой ноздри зверя в надежде, что, когда зверь чихнет, он по воздушной дуге перенесется на свою историческую родину. Сборник статей, выступлений и писем главы оппозиции г-на Цугерна производил грустное впечатление: возможно, из него вышел бы хороший политический деятель, будь у него развязаны руки, но со связанными руками он походил на стреноженную Валаамову ослицу, изрекающую благоглупости, враждебные языку и смыслу.

Понимая, насколько щекотлива и обоюдоостра затронутая нами тема, мы тем не менее не решились обойтись лишь мнениями заинтересованных специалистов и, следуя нашему правилу стереоскопического подхода к проблеме, нашли в уже составленном архиве высказывание бывшего приятеля сэра Ральфа — Альберта, некогда записанное как ответ на вопрос, попавший в окрестности затронутой темы.

Вот что сказал нам тогда г-н Альберт: «Да, Ральф, конечно, всегда был что называется махровым реакционером. Честно говоря, я был даже поражен, как человеку, открыто не скрывавшему симпатии к России, позволяют ... ну, вы меня понимаете. Будь я на месте этих сраных молодчиков из педровской охраны, я брал бы таких в первую очередь. Это бы уберегло колонию от того, что произошло в ней дальше. Убеждения? Не знаю, может быть — охлократ, а может, и «человек вселенной». Об этом никогда не было разговора. Но демократию, конечно, презирал. И демократию, и прогресс, и национальную независимость. «Профанированный мир» — до сих пор слышу его интонацию. Для Ральфа все настоящее — как бы от «брюха». Тяга жить человека лучше — «от брюха». Нежелание страдать — «от брюха». И при этом (они все тогда помешались на всем русском), дряхлое и унылое толстовство: мол, можно только то, что не перешагивает через кровь аборигенов, хотя этим варварам понятен только язык кнута. Но, давайте честно, разве русским когда-нибудь было дело до нашей родины — они думали только о своей. Вот и развалили страну — а какая могла быть жизнь!»

Другой знакомый сэра Ральфа, куда более близко (ибо общался с ним и дольше, и чаще) знавший последнего, Александр Сильва, к его воспо-

минаниям мы тоже уже прибегали, не выразил особого восторга, когда мы попросили его прокомментировать сказанное выше, но, будучи человеком ответственным, не отказался, и так как мы нашли его на кафедре, где он преподавал, то он провел нас мимо каких-то непонятных и громоздких конструкций и говорил, опираясь спиной на макет какого-то шлюза. Вот что он сказал нам по поводу мировоззрения будущего лауреата: «То, что Олсборн не питал особых симпатий к чехарде генералов и к тому, что страной уже более полувека правит хунта, вряд ли стоит связывать с его происхождением. Просто трезвый взгляд на вещи, хотя мы не так-то много говорили о политике. Не уверен, что Ральф подписался бы под моими словами, но, думаю, и особых возражений они бы не вызвали.

Да, революция, свергнувшая королевскую монархическую власть, чтобы установить затем власть генералов, была жестокой и непростительной для совершавших и санкционировавших все последующие ужасы штукой. Но она была, по всей вероятности, неизбежна, ибо была вызвана надеждами и чаяниями, пусть иллюзорными, не только первых переселенцев и эмигрантов из России, из которых теперь пытаются сделать козлов отпущения, но и аборигенов, хотя последних и в меньшей степени. Надежда устроить мир на разумных и равноправных началах была позвоночником всех эмигрантских идей последнего столетия, связанных с естественным чувством вины переселенца перед необразованной массой колонии. Отсюда желание начать все сначала, на пустом и ровном месте, веря, что внутри каждого — прикрытый жесткой корявой коркой лебяжий пух, ему бы только воздуха, свободы, тепла, знаний — и такое начнется. Нет, революция — как некий вселенский эксперимент, не могла не произойти.

А то, что именно колониальная Россия в качестве рокового опыта добровольно привила себе эту черную оспу, только подчеркивало, по мнению Олсборна, ее мессианскую роль. Да, эксперимент давно провалился, давно дезавуировал себя, чего стоит хотя бы многотысячный список уничтоженных писателей — не сопоставимый ни с чем, ни с одной тоталитарной системой, которая в припадке самоуничтожения стирает с лица земли наиболее талантливых и благородных. Такой горы трупов, по которым взобрался сегодняшний день, история еще не знает. Но, с другой стороны, и такой идеи, чтобы она настолько настойчиво пленила и прельстила многих и многих, тоже не было. Да, у одних орган совести покрыт грубой кожей и мозолями, как желтая пятка, а у других — кожа тонкая, нежная, как после ожога. И в последнем случае больно видеть нашего родного островитянина, которому нужно прикидываться то дураком, то ребенком, то глухим, то немым, а жизни нет.

Есть мнение, что человек привыкает к церемониалу унижения и он становится для него несущественным, вроде обертки из целлофана, оди-

наковой и неразличимой, в которую завернута привыкшая к прозрачному и что-то шелестящему плащу живая вещь. Может быть, можно жить под стеклянным колпаком, отдавая кесарю кесарево, быть при этом счастливым и любить свою жену, как Ромео Джульетту, не сходя с протертого стула? *Нетушки*, как говорят русские, большое настоящее чувство доступно только большому настоящему субъекту, а если он только комнатного формата и иногда складывается, точно бумажная гармошка, превращаясь в совсем маленького, с морщинистой от картонных сгибов шеей, то и чувство его такое же складное и маленькое, а значит, хана. Конечно, жаль складного человечка и обидно, а подчас и горько за него. Но только в пароксизме ярости можно посчитать ответственным за это именно хунту, и не увидеть, как видел это Ральф, что в сохранении статус-кво заинтересовано необозримое большинство».

(Это мнение бывшего лицейского и литературного приятеля протагониста нашей истории, мило рифмуется с мнением профессора Стефанини, который в одной из своих статей исследует выведенный сэром Ральфом «закон бездарностей», а в соответствии с ним — бездарный плебей, не особо обремененный грузом собственного таланта и совести, но имеющий в запасе джокер в виде билета партии «Национальный конгресс», либо другой жетон отличия, получает неоспоримое преимущество перед одаренным хотя бы воображением (и потому менее гибким) фантазером. Такое положение, очевидно, устраивает среднестатистическое большинство, каковое (правда, вместе с обделенным меньшинством) и называется народом).

«Ничего не поделаешь, посмотрите вокруг, — продолжал, постукивая ногой о стенку шлюза, Сильва, — самая злая на язык очередь за дефицитной пиццей из кошачьих ушей, которая, кажется, разнесет все вокруг — только дай развернуться — глотку перегрызет за родную хунту. И даже самые совестливые потомки первых переселенцев, возьмите хотя бы нашу кафедру, считают, да, пусть у нас все говно, но зато идея, основанная на вере в человека и его разум, что в состоянии устроить все тип-топ, идея очень даже хорошая, только ее извратили. И вот, если бы картавый дедушка Сантос не умер, а пожил бы еще и не пустил на престол Педро на высоких каблуках, то тогда такое бы было... А теперь едва ли не у каждого водителя-переселенца (да и аборигенов тоже) на переднем стекле висит фотография генерала Педро Кровавого, выражая тоску по сильной руке и порядку. И с этим тоже надо считаться. Вполне можно жертвовать собой, стараясь расширить щелочку света между занавесками, если от темноты душе, как фотопленке, невыносимо и не проявится, но серьезно произносить при этом высокопарный вздор и дятлом долбить штампы как-то неудобно — голова одеревенеет и отвалится».

Как утверждает герр Люндсдвиг, в подполье сэра Ральфа привел поиск настоящего читателя. Являясь к этому времени автором нескольких,

заслуживших признание немногих ценителей, романов и книги рассказов, Ральф Олсборн, вероятно, ощущал, что постепенно начинает задыхаться без читателя из России.

Так уж устроен любой писатель, пока его книга, «отчужденная шрифтом и картонным макинтошем» (Стив Маркузе), не материализуется в нечто постороннее от него, он не теряет с ней мучительную связь, лишаящую покоя и сил. А немногим, пусть и взыскательным читателям-эмигрантам не удавалось составить тот необходимый для писателя лабиринт, что вытягивал бы из творческого дымохода все опасные для здоровья остатки. И Ральф Олсборн решился наконец для успокоения души опубликовать свой последний роман в России.

Герр Люндсдвиг, после анализа первой четверти третьей записной книжки, утверждает, что впервые о поэте Кальвино Олсборн услышал от старейшего островного художника — г-на Готлиба (знакомая сэра Ральфа, преся о содействии, решила купить у Готлиба портрет в стиле Модильяни), и когда за чаем зашел разговор о том, кто что читает, в руках у нашего писателя возник потрепанный номер журнала «Акмэ», редактируемый Вико Кальвино и его женой, который он открыл на маловразумительном богословском диспуте одного редактора с другим. Тогда он и услышал впервые фамилию Кальвино, о ком г-н Готлиб сказал, что «кто-кто, а Кальвино — поэт настоящий».

От разговора у сэра Ральфа осталось невнятное, неотчетливое ощущение, в облаке которого плавал неизвестный поэт Кальвино, издающий собственный журнал для того, чтобы спорить в нем с собственной женой; даже фамилию синьора Кальвино он запомнил неточно, но при следующей встрече с Биллом Бартоном из предыдущей главы спросил, знает ли он что-нибудь о Кальвино, и тот ответил, что знает, хотя ни журнала, ни стихов его толком не читал, но люди, с чьим мнением он считается, относятся к стихам Кальвино серьезно. К удивлению сэра Ральфа, редактор Лабье тоже знал о Кальвино, даже когда-то учился с ним вместе в университете и участвовал в блоковском семинаре профессора Печерина. На вопрос, что он скажет о стихах Кальвино, Жан Лабье ответил, что двадцать лет назад стихи ему нравились, но с тех пор он их не читал. И прибавил что-то, вопросительно взглянув в глаза, о неумном честолюбии и самомнении, о строгой подпольной иерархии и максимализме.

Зная часть потайного шифра в виде одной фамилии, Ральф Олсборн стал с большей для себя отчетливостью открывать ларчик передач западного радио о местной литературе, и в течение недели убедился, что синьор Кальвино, наряду с мадам Виардо и Элен Игалте, — один из наиболее упоминаемых и популярных в этих передачах поэт (что только укрепило подозрения: популярность, да еще в такой сомнительной компании, весьма компрометировала). Но для посредничества сэру Ральфу

он подходил вполне. Дубоголовый, прямолинейный поэт, который пишет очевидные или, наоборот, невнятные вирши, пользующиеся успехом у отмеченных плохим вкусом комментаторов колониальной службы радио и телекомпании. Это было то, что нужно.

Сэр Ральф позвонил Кальвино из вестибюля Филармонического общества в антракте концерта, было шумно и плохо слышно, телефон висел на стене в вестибюле, поэтому разговор получился коротким: наш писатель представился, сказал, что у него с Кальвино есть несколько общих знакомых, от которых он слышал о последнем много хорошего, и спросил, нельзя ли им увидеться, на что вялый, но низкий голос Кальвино, синкопированный паузами и удивлением, быстро ответил приглашением на конкретный день и конкретный час и продиктовал адрес. Поднимаясь в назначенное время по лестнице в старом доме некогда модного, а ныне заброшенного квартала Сан-Тьеры, попадая на площадках в плотное облако аммиачных испарений, сэр Ральф почему-то представлял себе Кальвино худым и желчным субъектом с воспаленными глазами и небритой щетиной, который, ища поддержки взглядом, как и следует упорному неудачнику, будет ругать всех и вся, только в этом и находя успокоение.

Здесь мы опять имеем возможность процитировать несколько страниц подряд из записной книжки сэра Ральфа, составивших нечто вроде главы, посвященной пресловутому синьору Кальвино. Вот это место.

«Честно говоря, я не рассчитывал на долгий разговор и тем более на продолжение знакомства, ибо не любил заувывных неудачников и хотел разыграть стремительный блиц, не осложняя речь придаточными, сразу выйти на прямую и узнать: сможет ли Кальвино переправить мой роман в Россию, чтобы он попал в какое-нибудь издательство, или нет. Какое именно, мне было безразлично, здесь я был подобен юнцу, впервые попавшему в дом терпимости.

Таблички на двери не было, но звонок я угадал, выбрав самый затрапезный, и не ошибся, как в одном детективном романе сыщик идет по следу неведомого ему преступника, зорко читая оставляемые знаки вроде мятой пачки сигарет или упавшей расчески с чересполосицей длинных пауз и редких зубов.

Звонка не было слышно, я нажал еще пару раз, думая уже сыграть на клавиатуре других звонков, когда за стеной что-то стало грохотать, будто снимали железные запоры, а затем дверь отворилась и из нее высунулось, опираясь одной подрагивающей рукой на дверную ручку, а второй держась за косяк, черное дохматое, странно приплясывающее существо с огромной бородой и дикими горящими глазами, которое и оказалось нужным мне синьором Кальвино; и уже через несколько мгновений я с ужасом, плоско спрессованным в груди, шел за ним, не понимая, что у него с ногами, ибо Кальвино при каждом шаге дергался всем телом,

немыслимым образом скрепя ноги, балансировал руками и бросал себя вперед, одолевая при невообразимом числе толчков и рывков расстояние, равное четверти обыкновенного шага; я был уверен, что он сейчас рухнет, увлекая за собой баррикаду мебели справа, или собьет что-нибудь на своем пути, но он как-то доплелся до двери в конце коридора и еще через несколько секунд плюхнулся напротив меня в кресло-качалку рядом с конторкой красного дерева и старинным письменным столом, заваленным всевозможными вещицами и бумагами, которые, казалось, только что вытряхнули из огромного чемодана вместе с разрозненными томами Брокгауза и Эфрона, что составляли неровную кладку черно-золотого фона; и такой же вывернутой наизнанку казалась вся комната с провисшим потолком и вогнутыми внутрь стенами, сплошь увешанными цветными гравюрами, бумажными иконами и ликами святых, фотографиями, всевозможными картами, на белой макушке самой большой из них за словами «Северная Америка» через запятую фломастером было выведено: «куда я ехать не хочу», все уменьшающимися буквами. Еще один русский патриот.

Я, оказывается, уже что-то говорил, сидя на расположенном у противоположной стены диване, участвуя в беседе, которую вел мерно раскачивающийся Кальвино, с сидящими слева и справа людьми: какая-то кореянка с плоским лицом и прямыми волосами, худой блондин в куртке из парашютного шелка и толстяк со слабым подбородком, контур которого просвечивал сквозь редкий пушок белесой бородки. Хотя, нет, блондин в парашютной куртке (он, как оказалась, через месяц уплывал в Англию пассажиром-эмигрантом на торговом судне и тут же предложил стать моим издателем, опубликовав все, что у меня имеется, с хорошим гонораром — но что мне туманный Альбион: я думал о родине) проявляется из негатива второй или даже третьей встречи с синьором Кальвино, ибо он уже листал мой роман в картонной обложке, сетуя на отсутствие переплета, а в первый приход у меня на руке болталась коричневая сумочка-педерастка и никакого романа, конечно, с собой не было, а, значит, не было и блондина в белой куртке, так как его зыбкие очертания возникли из движения воздуха, создаваемого быстро листаемыми страницами романа, как вздыбленная сквозняком занавеска обнажает сквозной проем окна с облупленным фасадом дома напротив.

Да, была лишь кореянка, отец которой — видный корейский коммунист-эмигрант, повесится еще только через месяца полтора, и что-то вяло шелчуший толстяк, но дверь не закрывалась даже в первый раз, и появлялись и исчезали статисты, чтобы принести с собой две-три черты для прихотливого узора, что проявлялся постепенно, раз за разом, как проявляется полусвеченная фотография, закручиваясь концами, то темнея, то светлея фоном: а мне надо было постоянно возвращаться, чтобы стирать или исправлять ранее внесенную черту, ибо она была уже

опровергнута, заменялось новой, а мои представления рушились и менялись на более свежие, как меняют влажную от пота сорочку».

Такой импрессионистской прелюдией начинает Ральф Олсборн главу о своем новом знакомом, и мы могли бы процитировать весь кусок подряд, если бы подобная щедрость не кусалась, вылившись в весьма кругленькую сумму, которая нам не по карману, что и заставляет нас выбрать менее топкое и дорогостоящее место. Сначала мы решили продолжить с абзаца, что начинается с многообещающих слов: «До сих пор не знаю человека...», или даже с еще более очевидного: «Однако, как уже сказано выше», хотя, пожалуй, наш карман выдержал бы и более тыловое цитирование; но затем, как ни тяжело в этом признаваться, вообще решили избрать несколько иной способ подачи материала.

Дело в том, что свои услуги нам предложил известный деятель первой волны эмиграции профессор Зильберштейн, известный своими уникальными способностями воспроизводить стиль любого автора, инсценируя подлинность с головокружительной точностью. Находясь на мели, престарелый профессор согласился на наши условия; мы дали ему возможность ознакомиться с записными книжками Ральфа Олсборна и попросили не просто обработать их, а составить на их основе связанное повествование от первого лица, полностью сохраняя все стилистические особенности авторской речи, хотя и понимали что «я» будущего лауреата это не совсем «я» профессора Зильберштейна.

То, что преподнес нам через полгода профессор, нас и обрадовало, и разочаровало. Обрадовало — ибо он, как нам кажется, достаточно точно воспроизвел детали и дух авторского стиля; и расстроило — так как Зильберштейн, плохо знакомый с реалиями колониальной жизни, допустил множество непростительных неточностей, реставрируя, а точнее, имитируя действительность на основе своих собственных представлений. Возможно, другой на нашем месте, попытался бы выдать текст профессора Зильберштейна за подлинный текст записок Ральфа Олсборна, но даже если забыть о научной добросовестности, как бы мы тогда объяснили те бросающиеся в глаза анахронизмы, вкравшиеся в повествование натяжки и ошибки, не говоря уже о подчас немотивированных переходах от первого лица к третьему, что, вероятно, делалось просто от старческой забывчивости.

Оправдываясь, профессор Зильберштейн уверял, что допустил и инспирировал все эти промахи нарочно, для придания тексту достоверности «не подготовленного к печати дневника» (и одновременно только развивая свойственные автору особенности и приемы), так как, вчитавшись в переданные ему записные книжки, ощутил себя, по его словам, alter ego нашего писателя.

Так или иначе, мы решили, не исправляя в труде профессора Зильберштейна ни строчки, познакомить читателя с плодом его усилий, ко-

торый он, весьма, конечно, условно озаглавил «Синьор Кальвино». Надеюсь, что достаточно подготовили читателя к несколько нудной и педантичной манере письма профессора Зильберштейна, с его подчас излишним увлечением несущественными подробностями, к длительным остановкам на несостоящих чертах и пристрастию к красивым выражениям (опять же объясняемым им как всего лишь точное воспроизведение стиля сэра Ральфа), мы даем ему слово.

«Думая, как и все, наперед, я некоторым образом оказался не готов к встрече с такой эксцентричной натурой, как синьор Кальвино, так как еще до нашего знакомства слишком тесно заставил комнату своих смутных представлений и теперь на ходу приходилось перетаскивать вещи с места на место, выкидывая негодное, как при уборке в ящиках письменного стола, когда какие-то записочки, квитанции, рецепты и бумажки, оставленные на всякий случай и еще недавно, наверное, хранившие теплые и скользкие следы прикосновений, кажутся уже забытыми и чужими; но наваливалось что-то еще, ибо никому — ни до, ни после, — не удавалось столько наказывать мое самомнение — подрывая доверие к ранее выработанным формулам поведения, как это вышло при моем общении с синьором Кальвино.

Эта натура более, чем какая-то ни было другая, напоминала лабиринт, ибо только вам казалось, что вы наконец разгадали его и дошли до конца, как конец опять оказывался очередным ложным ходом, и все надо было начинать сначала.

Многие на него обижались, считая, что с Кальвино невозможно иметь никакого дела. С ним нельзя было договариваться о чем-либо наедине, чтобы уже через час он не рассказывал это первому попавшемуся собеседнику, а если новость была стоящей, мог сообщить ее в разговоре с Парижем или Новгородом, где уже год жила его вторая жена. Один наш общий знакомый и приятель Кальвино по пресловутому Обезьяньему обществу (что в течение ряда лет раз в месяц устраивало *шимпозумы*, где можно было делать доклады только о событиях, оставшихся незамеченными, но оказавших влияние на дальнейший ход истории), — подробнее об обществе я еще расскажу — брат Кинг-Конг сказал мне, поджимая под себя ноги в дырявых носках: «Согласитесь, чтобы понять любой его поступок, надо помнить, что он прежде всего — инвалид, который закомплексован и инфантилен». И поведал, как много лет назад катал Вико Кальвино ночью на конке, впрягшись в нее вместо лошади, и тот радовался, как ребенок. Я не сразу понял, что это не так, но меня кольнуло, будто я ковырял во рту зубочисткой и попал не куда надо, а в десну. Да, что-то детское, я бы даже сказал, мило детское, в нем несомненно ощущалось: Кальвино был старше меня лет на семь, но я все годы нашего общения относился к нему с непонятной снисходительностью, как к гениальному и остроумному ребенку, вундеркинду, не знаю-

щему, однако, некоторых простых вещей, доступных каждому взрослому. Выступая с коротким предисловием в первом отделении авторского вечера Кальвино в только что открывшемся русском литературном клубе «Алеф», его подруга юности (правда, сумасбродка и сама поэтесса) мадам Виардо сравнила роль Кальвино в Сан-Тпьере с ролью Гефеста — добродушного и лукавого, умного и коварного, хромого и веселого. И сказала, что среди пишущих на русском языке в колонии он «несомненно, лучше всех играет в коробок и является незаменимым партнером в «скреббл» (игра в слова, придуманная чуть ли не самим г-ном Кобаком), хотя и ворует, проигрывая фишки». Мадам Виардо намекала на то, что еще в студенческое время синьор Кальвино зарабатывал себе на кофе и пиво игрой в «баккара» и коробок на подоконниках университета, диплом об окончании коего он получил за день до того, как из столицы пришла бумага об его отчислении с волчьим билетом. В припадке патриотизма, помноженного на иногда характерное для него позерство, Кальвино принял решение выйти из обязательной для студентов университета молодежной организации «Юнита», но, сжалившись над впавшей в отчаяние матерью, забрал свое заявление обратно.

Синьор Кальвино был непоследователен, и это знали все. В зависимости от того, с кем он говорил в данный момент, реальный факт отклонялся в нужную ему сторону, балансируя на грани правды и иногда, не удержавшись, рушился в пропасть самой очевидной фантазии. Его воображению было настолько тесно в рамках реальности, что Кальвино постоянно раздвигал их, на самом деле одинаково уютно чувствуя себя как по ту, так и по сю сторону. Стоило только высказать легкое недоверие его словам, как Кальвино с детской поспешностью начинал нагромождать такое количество вполне правдоподобных подробностей, что это количество постепенно приобретало качество легкого правдоподобия, а затем и новой реальности. Он был увлекательный и замечательный рассказчик, имея наготове несметное множество самых фантастических историй и анекдотов; и иногда самые фантастические из них оказывались правдой.

Все его четыре жены пытались хоть как-то ограничить поток людей, проходивших через его жизнь днем и ночью, — этот поток то рос, то уменьшался, но в среднем не оскудевал. В синьоре Кальвино привлекали мягкость, пластичность, простота манер, он получал удовольствие от общения с самыми разнообразными типами, которых более щепетильный и подозрительный человек не пустил бы на порог: стукачи, гомосеки, эпикурействующие монахи, обкрадывающие его клептоманы, фотографы, тайные агенты, несметное число представителей пишущей братии (среди них лакомые для понимающих в этом толк графоманы), миссионеры всех мастей со всех сторон света, коим он умудрялся дать подробную картину религиозной жизни города и познакомиться с продук-

цией очередного художника-авангардиста, чьи работы проплывали сквозь его коммунальные апартаменты, как «тучки по лазоревому небу» в известном стихотворении Майкла Мармона. Лучше попытаться назвать тех, кто его не посещал, что тоже непросто: агенты охраны — сколько угодно, бродячие музыканты, филателисты-антиквары, практикующие маги и гипнозисты — были; брат-генерал знакомил его с представителями офицерского корпуса и столичной гвардии; иногда у него появлялись хипы, клошары, члены партии «Национальный конгресс», дипломаты, рокеры, кришнаиты, панки, русские фашисты и славянофилы, бывшие каторжники и болельщики сан-тпьерской футбольной команды, которые свой знак оставили, кажется, во всех клозетах города от бывшего дворянского собрания до внутренней тюрьмы на Сан-Себастьяно 4. Казалось, Кальвино знал так много, коллекционируя самую разношерстную информацию, что ему можно было бы заказывать статистические справочники, если бы не опасение, что вместо справочника Кальвино напишет фантастический роман. Он умел увлекаться, а его заразительное жизнелюбие и постоянная готовность к общению на фоне куда-то летящей обстановки его комнаты создавали своеобразную область пониженного давления, что засасывала все, попадающее в ее окрестность. Привлекало многое. Но прежде всего то, о чем почему-то забыли упомянуть и мадам Виардо, и брат Кинг-Конг — самая всесторонняя одаренность и умение создать вокруг себя совершенно особую ауру: вроде кислородной подушки, которую цепко удерживает густая крона дерева. Уникальная и фантастическая натура. Даже его недостатки, видимые через призму излучаемого им обаяния, производили впечатление милых странностей. И прощались, как мы прощаем ребенку, которого любим. До Кальвино я не встречал человека, более противоположного моему характеру, темпераменту и вкусам, и все годы нашего общения любил его, как любят экзотический пейзаж, олицетворяющий для памяти самые сильные воспоминания. Влекущий, отталкивающий и родной одновременно.

Он понравился мне при первой же встрече, хотя я пришел настроенным предубежденно, и отнюдь не сразу ему удалось это предубеждение рассеять. Помню, что шла свободная, светская беседа, где меня неприятно поражало обилие имен и названий книг, о которых я не имел ни малейшего представления: синьор Кальвино раскачивался в качалке с отличающим его удивлением во взгляде (что поначалу показалось мне признаком слабости, присущим неволевой натуре, но он почти с таким же добродушно-удивленным выражением мог говорить и ужасно неприятные собеседнику вещи) и втыкал в густую бороду красную женскую расческу. Оказываются, какие-то люди вокруг писали стихи и романы, частично изданные в России, частично ходящие в «списках», и одним синьор Кальвино, устраивая смотр, выдавал награды и призы в виде

небрежных поощрений (правда, это значило немного, так как назавтра, в зависимости от контекста разговора, поощрение делало длинную рокировку с худой), а я все не мог ощутить почву под ногами, плывал вокруг неизвестных названий, скользил по краям, все не умея выбраться на поверхность, повторяя движение сапога по наполненной жижей колее (ибо никак не мог понять — в какой мере то, что говорит Кальвино, заслуживает внимания). И ждал, когда он, наконец, выберется из трясины на твердую почву, где стоять мог и я.

Так же скептически я был настроен и по отношению к его стихам, которые он в конце концов вызвался прочесть. Я был не настроен слушать стихи и согласился из вежливости, как из вежливости соглашался и впоследствии, ибо всегда казалось, что поэтическая антология уже собрана, хватит того, что есть, и если при чтении глазами можно было лишь слегка касаться текста, цензурируя и пропуская целые неудобоваримые куски, то агрессивность чтения вслух всегда заставляла врасплох и привлекала внимание поневоле. Он прочитал цикл своих стихов, и я не упал в обморок и не встал на колени, не забился в истерике сопереживания, но стихи мне понравились. Они понравились мне всерьез, и с этим ничего нельзя было поделать, так как я отнюдь не хотел, чтобы они пришлись мне по душе. И тут же все разбросанное и растрепанное, словно волосы, стало как бы кристаллизироваться вокруг этого впечатления, будто по вихрам прошла расческа, которую Кальвино при чтении втыкал себе в бороду, а затем пытался пригладить густую шевелюру. Потом он читал при мне много раз, и почти всегда инстинктивно выставляемая преграда таяла ледяной хрупкой свежестью, и катилась теплая волна, смывая плотину недоверия и нежелания слушать именно сейчас какие-то рифмованные строки — с чего это вдруг именно сейчас предаваться поэтическим медитациям — и щепки, мусор смывались, оставляя — чаще всего — спокойную гладкую поверхность ослепительной ясности. Я знавал многих и неглупых людей, которых стихи Кальвино оставляли равнодушными, немало знал и его хулителей. Но принимать или не принимать стихи — частное и интимное дело. Для меня Кальвино почти сразу стал носителем настолько обязательного (для ощущения полноты) поэтического голоса, вроде скрипки в квартете, без которой нечего и играть, вернее, в игре будет зияющая дыра. Конечно, не все, что им писалось, нравилось мне одинаково, писал он много, а имея в виду удовлетворение моей потребности в его стихах, возможно, и чересчур много. Помню, как удивил он меня своим весьма претенциозным предисловием к только что написанному циклу стихов «Контурное море», когда он совершенно серьезно заметил, что предполагал издать эти тексты, проступающими на фоне географических карт бывших русских колоний, но его «типографские возможности ограничены», хотя это «не его вина». И сразу же начал с непонятной для меня жадностью

выспрашивать и выживать впечатления у простодушной дурочки-корянки, у вялого толстяка с мутными глазами и у меня, которого совсем не знал. Для меня это был дурной тон. Я был убежден, что если пишущий постоянно оглядывается по сторонам и по-собачьи ищет одобрительного взгляда, это признак слабости не только натуры, но и творческого дара. Синьор Кальвино делал то, что я считал недопустимым, но его стихи мне нравились. Он делал многое из того, что мною отвергалось, как дурной тон: читал стихи на улице, в автобусе, однажды под дождем у водосточной трубы на углу Сан-Ирэ и Сан-Эпифанио, любил прихвостнуть и быть в центре внимания, помещая себя в середину с точностью острой ножки циркуля, и делал то, что я считал совершенно невозможным: если я медлил выразить свою почти всегда одобрительную, но сдержанную реакцию, сам начинал выспрашивать: «ну, как вам понравилось, мне кажется, это лучшее из того, что я написал, у меня сейчас замечательное состояние». То есть пытался оказать на меня откровенное и наивное давление. А иногда распоясавшись, вернее, теряя контроль над самим собой, где-нибудь в разговоре давал понять или серьезно заявлял, что считает себя первым колониальным поэтом. Мол, такой-то, скажем, Кизеваттор, не понимал, как нужна эта прозаическая шероховатость; такой-то, скажем, Карлински, слишком рассудочен и примитивен, почти без околичностей намекая, что считает себя лучше. И абстрактно это являлось опасным свидетельством непростительной несдержанности, если не слабоумия. Но в отношении меня Кальвино повезло, и скоро я действительно стал почитать его равным самым лучшим современным поэтам, хотя мы и смотрели с разных сторон, и мне были интересны не только его стихи, но и другие (всего пять-шесть имен), и к каждому имелись свои претензии, и ни один голос не мог заменить другого; но скоро получилось так, что мой оркестр был уже набран, свободных вакансий нет, и пробиться даже свежему и интересному без протекции душевного движения (личной человеческой симпатии) было отнюдь не просто. Мне было совершенно безразлично, в какой мере мое мнение объективно, ибо на аукционе ума, который я был волен для себя устраивать, ничто не могло назвать цену моей субъективности, настолько она меня устраивала, и я с удовольствием любил то, что любил, не интересуясь тем, что меня не интересовало. Конечно, я не выдавал патенты на литературное бессмертие, но оно меня нисколько не занимало, то, что я любил, становилось содержимым моего Ковчега. Конечно, литература — земное и шероховатое занятие, но при этом она еще и Млечный путь. Здесь каждый спасается в одиночку, выбирая себе товарищей по несчастью, и любая ошибка стоила слишком дорого, чтобы вербовать себе сторонников, гребущих в обратную сторону. Я слишком хорошо знал, что мне надо в этой жизни, и мой спасательный жилет должен был быть в пору именно мне, а не кому-то еще.

Я набросал что-то вроде рецензии (более похожей на авторские ремарки) еще несколько лет назад, после чтения первой большой книги стихотворений, собранных синьором Кальвино под одной крышей, и перечтя сейчас, понял, как мало изменений претерпело мое мнение за эти годы.

Почти сразу я обратил внимание на ту необычайную плотность слова в поэтической строке, что импонировало мне всегда, а в случае Кальвино позволяла выращивать в этой блаженной для стихов тесноте ветвистые словесные узоры, вроде тех, что, как говорят русские, выращивает мороз на оконном стекле. Длинная образная тень (иногда образы состояли из пяти, шести, семи слов) не рассеивала внимания, а городила частокол с щелями настолько узкими, что в них не поместилось бы бритвенное лезвие.

Возникновение поэзии в стихе всегда напоминало мне ту библейскую ситуацию, в которой Иаков в кромешной темноте боролся всю ночь с кем-то, кто оказался впоследствии Богом, и выстоял, но с тех пор стал хромать. Вот эта борьба мистической непостижимой поэзии с рациональным ее осознанием, борьба музыки с умом, где победа одной стороны означает поражение обеих, и напомнила мне поэтические тексты синьора Кальвино. Некоторые считали его подражателем Кизеваттора и Пальма, другие указывали на влияние Барта и Дилана Эмерсона, кто-то говорил о благотворном продолжении традиций Карлейля. Самовитое, саморазвивающееся слово, как бы самостоятельно строящее каркас стиха. Что-то вроде той хрупкой вязи огня, что возникает между двумя параллельными и раздвигаемыми поленьями. Словесные соборы, горящий куст, мост через пропасть. И, конечно, страсть к провокациям.

Возьмем хотя бы способ оформления текстов: без заглавных букв и знаков препинания, что должно служить сигналом потокосознательного метода или автоматического письма, а на самом деле просто предупреждает читателя, что он столкнется с модернистской традицией и пусть поэтому не надеется понять все или многое и будет благодарен своему уму, если поймет хоть что-нибудь. Читатель с недоверием взирал на отсутствие привычных знаков препинания, уверенный, что столкнется с раздробленной в мясорубке бессмыслицей, подозрительно читает — и с приятным удивлением (и даже легкостью) восстанавливает эти запятые, точки и заглавные буквы. А потом и весь грамматически правильный текст. Этот провокативно-ложный ход — небольшая приманка для читателя. Читатель доволен своими успехами и, заинтригованный, начинает вчитываться дальше. А вчитавшись, понимает, что имеет перед собой текст классической поэзии, вполне доступный самому традиционному восприятию, — имея в виду продолжение колониальных традиций с небольшими русскими присадками, что всегда к лицу всякой национальной поэзии.

Если попытаться сравнить стихи Кальвино с каким-нибудь классическим образцом, то это, конечно, не ищущий и постоянно меняющийся

Ган, а скорее, мировоззренчески неподвижный Сутгоф. Но если для последнего характерна и неподвижность раз найденной поэтики (ибо его стихи — веером расходящиеся лепестки, что тяготеют к одному центру), то Кальвино как бы делает вид, что постоянно меняется. В своих стихах он имитирует движение, оставаясь при этом на месте: меняются формальные приемы, техническое оснащение и оперение — но для пристального читателя это все равно бег на месте, мимическая имитация движения. Поэзии это часто идет на пользу, ибо чтобы имитировать отсутствие покоя достоверно, нужно постоянно обогащать кровь кислородом пограничных состояний. Поэзия Кальвино как бы балансирует на границе языка, осваивая новую словесную территорию, но при этом остается мировоззренчески неподвижной, будто сидит на насесте и боится полететь.

Почти сразу я обнаружил, что в каждом цикле стихов есть одно или несколько русско-патриотических стихотворений, напоминавших мне присягу на верность, присутствие которой если не в конце, то в середине цикла обязательно. Почти всегда это был текст с облегченной лексикой, с упрощенным внутренним убранством и обычно самый слабый в цикле. Прикасаясь к патриотической тематике, Кальвино как бы запрещал себе быть поэтически изошренным, как проповедник, попавший вместо придворной церкви к деревенской пастве, старается говорить проще и примитивнее, чтобы стать понятнее незатейливым прихожанам.

Ничто так не вредит поэзии, как острая направленность, ибо острое часто прорывает хрупкую оболочку стихотворения, и божественное дыхание со вздохом улетучивается, а упругая поверхность морщится, точно сдутый резиновый шарик. Для Кальвино (впрочем, не только для него) наиболее скользкой и неочевидной для освоения оказалась патриотическая тематика, может быть, именно потому, что поэзия — дело очень мирское и земное, и надо оставить Богу Богово, и не садиться, как говорят в метрополии, *не в свои сани*, считая, что Промысел нуждается в строительной паутине поэтических лесов. Поэзия, имеющая свободный доступ куда бы то ни было, даже пытаясь рассмотреть доску звездного неба в духовный телескоп, все равно открывает дверь в другую сторону, как рыболов, который ловит рыбу в воде, а сам стоит на суше и не возмущает движением чуткую, но чуждую территорию водной стихии. Этот висячий мост протяженности и есть сквозная поэтическая грация речи.

Меня всегда занимала та непонятная иерархия голосов, что вместе составляют для души хоровую многоголосицу одного живущего сейчас Поэта. Но почему одному поэту душа доверяет вести сольную партию, а другому лишь очерчивать басами жирный контур? Понятно, не потому, что один поэт лучше другого (скорее, духовно вкуснее — но у этого эпитета неопределенность контурной карты). И все же именно Кальви-

но стал первым, и только потом появились другие и начался головокружительный подъем, пока ступени не кончились и нога не зависла над бездной... но для нас подъем еще впереди, поэтому, как говаривал Пальм, — продолжим.

Куда меньше стихов синьора Кальвино (или брата Оранга, как его называли в Обезьяньем обществе) понравились мне его многочисленные статьи. На фоне убогого ландшафта оппозиционной литературной критики они выглядели еще неплохо: вполне профессиональные, информативные и острые. За исключением статей уехавшего в Москву брата Ханумана (под таким именем в обществе был известен господин Георги) и еще нескольких, в жалкой колониальной пустыне имелось необычайно мало оазисов, что, в общем-то, понятно: критика — жанр в достаточной степени утилитарный или, по крайней мере, опосредованный, а литература диаспоры пополнялась за счет неистовых эгоцентриков, погруженных в себя, словно утопленное во мраке колодца ведро с водой.

Как собеседник он имел один отчетливый изъян. Как говорят русские: «хлебом не корми» — обожал удивлять. Он мог говорить только о совершенно необычном, уникальном, парадоксальном и постоянно перескакивал с темы на тему. Синьор Кальвино обожал сообщать сногшибательные новости, обо всем узнавать первым, быть в центре происходящего и, если события не удовлетворяли мерке необычайного, сам дорисовывал им крылья и усы. А от будничной и стертой окраски просто увядал, как добрый конь, которого вместо овса кормят соломой. Страсть к гигантомании и эпохальным или экзотическим событиям можно объяснить психологически: каждый ищет то, чего ему не хватает. Кальвино нуждался в эмоциональных реакциях собеседников, для чего и играл только на верхних тонах клавиатуры, включая самый высокий регистр. Это вполне привлекательная черта: он умел радоваться открыто, что теперь редкость, и постоянно устраивал праздник для ума и души, откликаясь на все выходящее за пределы обыденного, если это что-то выходило за пределы с брызгами переклеста. Без романтических или сентиментальных иллюзий, а просто в силу остро резонирующей натуры. Физическая ущербность сковывала его подвижность (хотя Кальвино двигался куда больше многих здоровых, но ленивых и нелюбопытных людей), но, очевидно, натура жаждала большего, и неудовлетворенная потребность делала его чутким к восприятию всего сильного, быстрого, огромного и экзотического.

Мне не удалось узнать много о его детстве. Родился Кальвино в предпоследний год войны с французами в глубокой провинции, в семье профессионального военного, за несколько лет до войны попавшего в немилость, разжалованного и уволенного из армии. Он являлся адъютантом командующего войсками южных провинций, репрессированного и расстрелянного по приказу генерала Педро. Но отцу синьора Кальвино

удалось как-то вывернуться, хотя карьера сошла с верной колеи уже навсегда. Семья была русско-польская или русско-итальянская, если судить по фамилии, но я, с осторожной брезгливостью относящийся к таким смесям, не находил в его поступках и проявлениях натуры следов воздействия именно этой пружины (если не считать потребности выдавать малое за большое, что всегда казалось мне свойством именно русского ума). Во время войны отцу Кальвино опять удалось дослужиться до звания майора, но после изгнания французов он окончательно выходит в отставку. Впоследствии, объясняя, почему его не трогает охранка (а многие годы Кальвино, по мнению сведущих людей, жил на грани ареста), он связывал это не с тем, что все-таки неловко сажать, пусть и остро на язык, но все же поэта (который болтлив, непостоянен и недоловит, привлекает к себе множество сомнительных для властей людей, а за ними удобнее наблюдать именно в одном месте. То есть является своеобразной энтомологической простыней, которую натягивают экраном, включают прожектор — и вся насекомая нечисть летит и прилепляется к ней крыльями). И не с тем, что поэт — инвалид, передвигающийся, как паук с поломанными лапами, имеет авторитет не только в грозной Москве; и можно только подозревать, какую бурю вызвало бы известие об его аресте. Сам синьор Кальвино объяснял это тем, что его отец некогда вместе с племянником генерала Педро учился в одной военной академии, и показывал мутную, с темным фоном фотографию, где был снят в группе военных человек, отчасти похожий на этого генерала, и человек, отчасти похожий на его отца.

Не знаю, в каком году семья синьора Кальвино вернулась в Сан-Тьеру — вернулась, ибо на юг они уехали сразу после снятия с города осады французского экспедиционного корпуса. Они поселились в огромной коммунальной квартире, все их соседи как на подбор были итальянцами. Уже на моей памяти они с трогательной заботой относились к самому синьору Кальвино, когда он, после смерти родителей, стал жить в этой квартире один. И это несмотря на то, что жены его менялись через каждые два-три года, несметные табуны гостей затапывали пол, гудели до ночи, курили в коридоре, на кухне, блевали в ванной и туалете, телефон почти не унимался, а в те разы, когда в квартире устраивался охранкой обыск, воцарялась уж совсем фантастическая обстановка. И, думаю, любили своего неудобного соседа не потому, что о нем можно было услышать по русскому радио, увеличивающему количество часов вещания для зарубежья, или за его почти детскую беспомощность, а потому, что он действительно был невероятно привлекательным и уникальным человеком, пусть неудобным, но приятным, если не сказать обаятельным, в общечитии и общении. И был широкий и щедрый, если оказывался при деньгах, которые спускал с изумительной легкостью.

Не раз синьор Кальвино уверял меня, что весь этот этаж в доме (или чуть ли не целый дом, запамätывал, ибо в разных версиях варьировались дом и этаж) принадлежал его деду или прадеду, получившему еще при монархии право жить в столицах и наследственное дворянство. Это был дед или прадед со стороны отца. Мать также, кажется, происходила из русского шляхетского рода, но с примесью еврейской крови от виленских либо краковских богачей.

Как сказал бы Эмерсон, «в школе и в университете Кальвино учился весьма неровно, отличаясь не усидчивостью, а памятью и умом». Его память действительно не раз ставила меня в тупик. Когда Кальвино слушал, иногда поглядывая своими косящими глазами, часто казалось, будто он думает совсем о другом, пропуская многое мимо ушей, и действительно нередко сразу перескакивал через несколько ступенек, открывая слой другой темы, но при этом в нужный и неожиданный момент оказывалось, что он, обладая еще в дополнение поразительной зоркостью, запоминал такие мелочи и детали, которые бы потерял и более внимательный собеседник, поставивший себе целью запомнить все от доски до доски. О его памяти литературной я уже не говорю, она общеизвестна. Я слышал восторженные отзывы о его преподавательской практике от его многочисленных учеников, которых Кальвино готовил для поступления в столичный университет. И, очевидно, в нормальных условиях, он бы стал блестящим профессором-филологом, любимцем студентов и просвещенной публики. Однако его будущим биографам, очевидно, будет любопытно узнать, что сам Кальвино начинал учиться настолько слабо, что его чуть было не отдали в школу для умственно отсталых. Читать Кальвино научился легко, а вот с письмом дело на лад не пошло, вместо букв у него получались какие-то звездочки, крестики и пауки, и молодая учительница, которую и так в трепет приводила жуткая походка и уродство ее неблагополучного ученика, посоветовала матери не плыть против течения и отдать его в интернат для слабоумных. Насколько известно, она сказала матери нашего героя, что вовсе не обязательно всем писать книги, надо кому-то и шить брюки. На что гордая мать, ощутив прилив итало-русской крови, резонно ответила, что можно шить и брюки, но почему бы при этом не научиться писать? И научила своего сына писать за три дня. Это была упорная, волевая, по некоторым отзывам неприятная женщина, которая поставила себе целью вывести сына в люди, несмотря на то, что Бог с ее помощью сделал его калеккой, и добилась своего. Она использовала жестокие, волевые способы воспитания, и без ее помощи, несомненно, он никогда бы не закончил ни школу, ни университет. Чтобы заставить своего Вико заниматься, она отбирала у него одежду и ботинки, и он проводил весь день, завернувшись в одеяло. Так с грехом пополам Кальвино окончил школу и поступил в иезуитский колледж. Здесь мать, очевидно, ослаби-

ла хватку, и Кальвино был отчислен за неуспеваемость в первый же семестр. Однако она не упала духом, и в результате невероятного напряжения ее сил он поступил на следующий год, но уже в университет. Жажда движения, эта закрученная пружина, никак не могла распрямиться до конца и делала его в некотором роде рабом своих порывов. Возникающее желание должно было быть исполнено во что бы то ни стало, и он стремительно отклонялся в сторону любого движения души. Кальвино постоянно куда-то спешил, и тот, кто исчезал с его горизонта, выходил из поля зрения, как бы на некоторое время переставал существовать — он легко забывал людей, если они только не маячили у него перед глазами. Его мать умирала от рака, когда он уже жил отдельно, вместе с первой женой. Мать, как написал бы Тургенев, мужественно переносила страдания, уверяя, что жива до сих пор только потому, что еще нужна своему младшему сыну. Всю последнюю неделю он не звонил домой и узнал о ее кончине от чужих людей. Это была вовсе не жестокость сердца, а своеобразная беспечность и глухота его, он был заинтригован настоящим, а будущее и прошлое иногда пропускались, как неинтересная или забытая страница старой книги.

Я с одинаковым интересом вслушивался как в хвалебные отзывы о синьоре Кальвино, так и в ниспровергающие его. На протяжении многих лет я пристально вглядывался в открытый для меня лестничный проем, будто предчувствовал, что мне предстоит спуститься по крутой винтовой лестнице этого характера. Щекотливая полоса между детством и юностью, когда, по всей вероятности, и простили первые очертания этой оригинальной натуры, почти полностью стерта для меня. Ни разу не удалось мне разговаривать синьора Кальвино на тему его детства, но можно представить, как непросто было ему, физически немощному после перенесенного полиомиелита, в жестоком мальчишеском мире. А он еще ездил в бойскаутские лагеря, ходил в походы, отправлялся с помощью хай-джейкинга с рюкзаком и палаткой путешествовать по колонии и вообще не хотел отставать ни в чем. Вопреки утверждению брата Кинг-Конга, Кальвино, несмотря на его физические недостатки, принадлежал к редкому типу людей, лишенных каких-либо комплексов, или виртуозно их компенсирующих. К осененной нежным неясным светом юности относится та развилка, после которой Кальвино и стал не жалким и вызывающим брезгливое сочувствие калекой, а мужественным и уверенным в себе человеком, способным вызывать и уважение, и не менее сильную неприязнь. Еще до того, как я разочаровался в колониальной культуре, меня поразило, как мало в этой среде именно настоящих, сильных и уверенных в себе мужчин, ибо здешние поэты представляли из себя тип малахольного и закомплексованного субъекта с неизгладимым отпечатком долгого подпольного существования, отчего затхлостью веяло не только от облика, но и от натуры. А Кальвино был вполне

цельным человеком, достоинства и недостатки которого казались присутствующими только ему и никому другому.

Слухи и легенды, даже не вполне достоверные, не менее характеризуют экзотический тип, нежели реальные факты. Я слышал о нескольких дуэлях, на которые Кальвино вызывал своих противников: он вызвал профессора Нанна за то, что тот сказал ему: «Вы невозможный, неразумительный и высокопарный поэт, в котором от русского нет ни капли», и послал через знакомого картель одному хеленукту, когда тот отозвался о нем, по слухам, неуважительно. Существует легенда о метком ударе палкой в печень, что отправил некоего г-на Кока на несколько месяцев в больницу: но я сверял даты, в тот момент сеньор Кальвино ходил не со своей резной и тяжелой тростью, а с костылями. Вышесказанное говорит лишь о том, что Кальвино понимал, что, несмотря на физическую немощь, должен быть готов защитить свое достоинство, чего бы это ему не стоило; и именно поэтому мог позволить себе мягкость общения. Многие со мной не согласятся, но я почитал Кальвино светским и обходительным человеком, по крайней мере, он мог быть таким, когда хотел.

Тонкость воспитанного человека проявляется прежде всего в неудобных для него положениях, в том, как он просил оказать ему какую-нибудь мелкую услугу, в открытой на «Апраксинский переулок» (так пародийно в божественной среде называлась одна улочка Ла-Хоры) двери просил взять у него сумку или помочь ему подняться по ступенькам: здесь важны оттенки и полутона — и ему всегда удавалось сказать так, чтобы нисколько не унижить себя и не сбиться при этом с тона, то есть без тени нахальства.

Я не слышал от Кальвино жалоб, очевидно, он запретил себе жаловаться на том же смутном полустанке, хотя у него не было, кажется, ни одного здорового места: помимо постоянных обострений и болей в позвоночнике, что давали о себе знать, возможно, постоянно, но для меня это становилось понятно лишь иногда, скажем, на середине мостовой Кальвино пронзала пущенная по позвоночнику молния боли, он на секунду застывал на трамвайных путях, подрагивая опирающейся рукой, и просил обождать, а затем мы двигались дальше, и он, не меняя голоса, все убеждал и убеждал меня в чем-то, а я думал, что ему, очевидно, сейчас каждый шаг причиняет боль. Или постоянный насморк, больные зубы и уши. Или слабый желудок и склонность к поносам, отчего он не мог пить виноградное вино, а только крепкие напитки, хотя любил хорошо поесть и попить, но это приводило к разным осложнениям, вроде того, что случилось однажды на проводах возвращающегося на землю отцов приятеля, когда после острых русских закусок ему стало плохо уже на лестнице, но он был с дамой, постеснялся, как сделал бы другбй, менее щепетильный человек, сказать: прошу меня простить, живот схватило, а только чуть не со слезами на глазах попросил приятеля вызвать второе такси, ибо теперь уже просто не мог ехать со всеми вместе.

Хотя приведенная ситуация щекотлива и двусмысленна, но мне важно, что даже тут, как утверждают очевидцы, Кальвино удалось сохранить достоинство и естественность, что нетрудно, когда вы на высоте, а не ковыляете, пардон, с полными штанами.

Не везло ему фантастически или, по крайней мере, достаточно, чтобы вызвать бессильное и самое опасное бешенство, или чтоб опустились руки, или чтобы озлобиться и стать брюзгой даже более крепкому человеку, но тот, у кого душа, казалось, еле держится в теле, умудрялся сохранять неистребимое жизнелюбие, не впадая в панику в самых поразительных обстоятельствах. Не моя вина, что образ синьора Кальвино так и просится встать в позу героя авантюрно-плутовского романа, но это истинная правда, что ради него охранка остановила ночной поезд за одну остановку до Тьеполо, чтобы под фальшивым предлогом (якобы у кого-то в вагоне пропал фотоаппарат) высадить его ночью на пустом перроне вместе с приятелем, помогавшим выпустить патриотический журнал. Цель — просмотреть и отнять все крамольные материалы. Среди последних была и рукопись его романа. По словам приятеля, Кальвино, улучив момент, когда производивший изъятие следователь отвернулся, успел засунуть рукопись за пазуху.

Кальвино опаздывал на поезда, потому что ломался автобус или сходил с рельсов трамвай, а мост закрывался перед самым носом, так как должны были пропустить негабаритную самоходную баржу, что случается раз в десять лет. Если в поезде проверяли билеты, то контролер подходил именно к нему, будто догадывался, что Кальвино в спешке не успел взять билет. А если на каком-нибудь переезде полиция решала проверить документы у всех, едущих в такси, то опять начинали с него, ибо именно сегодня он, постоянно таскавший с собой паспорт, забыл его дома. Раз, возвращаясь с вечеринки, Кальвино оставил в машине сумку с бумажником, инвалидской книжкой, документами, дипломом, одолженными накануне деньгами, подаренным ему русским дипломатом магнитофоном «Астра» и авторучкой, куда были вмонтированы электронные часы, всегда показывающие московское время; сумка, конечно, не нашлась. Особенно было жалко часов и магнитофона. А чего стоили его отношения с дамами, которые рожали ему детей в самый неподходящий момент, а он был вынужден жить в комнате рядом со своими и чужими детьми, с нянькой-корейкой (подругой третьей жены), которая кричала на него и разве что не била, а он продолжал с горящими глазами рассказывать лакомые фантастические истории, умудрялся оставаться самим собой, и не то что не скулить, а с неослабевающим и лукавым интересом вглядываться в завтрашний день. Ни разу не слышал от него слов: вот, не повезло, а на вопрос, как поживаете, отвечал: отлично, у меня, знаете, замечательное состояние, вы не торопитесь? могу прочесть вам последний цикл стихов, я сейчас в очень хорошей

форме. Или просто рассказывал несусветные вещи, которые, как я уже знал по опыту, вполне могли оказаться правдой на три четверти. И никогда не отвечал: все плохо, надоело, не знаю, как жить, — так как знал, стоит начать хандрить, как все, кто летел к нему, как бабочки на свет, отвернутся и уйдут во мрак. А кроме того, действительно научился жить так, что ему нравилось почти все, что происходило с ним в жизни, ибо судьба оберегала его от банального покоя и заполненных скукой будней. У Кальвино был невыносимый даже для человека с железным здоровьем режим дня: спал он часа четыре, не больше, возвращаясь из гостей или провожая их глубокой ночью, а на ежедневные встречи ехал сразу после службы в своем издательстве, куда являлся с опозданием не менее, чем на час, обедал вместо сорока минут часа два-три, принимал в рабочее время посетителей, писал и читал, играл в шахматы, слушал музыку через наушники, и был неуязвим для упреков и замечаний начальства, ибо при этом умудрялся делать свою немудреную редакторскую работу в срок. Упреки проходили сквозь него, как острая игла сквозь шерстяную ткань, не задевая нервов, благодаря какому-то особому иммунитету. Несколько раз тонтон-макуты устраивали ему допросы в директорском кабинете: вот познакомьтесь, — говорили они, указывая на него директору, — перед вами известный враг нашей страны и лично президента, сторонник объединения с Россией, политический диссидент, так называемый брат Оранг, который... Но синьор Кальвино, нимало не смущаясь, тут же вступал в спор и что-то доказывал, утверждая, что у него за спиной два века колониальной литературы и четыре — русской, настолько убежденно вешая лапшу на уши следователю с филологическим образованием, что у них обнаруживался общий приятель детства, с которым один долго сидел за одной партией, а другой знал уйму забавных анекдотов. Синьор Кальвино, так получалось, знал всех без исключения, а кого он не знал — тех просто не существовало; и в результате директор, убедившись, что этого никто не видит, жал ему руку.

Мне импонировала та легкость, с какой синьор Кальвино воспринимал разговор с бывшей любовницей, в котором она, пропавшая полгода назад, сообщила ему о рождении очередного сына: и Кальвино не хватался за голову, не рвал на себе волосы, а тут же, набрав столичный номер, передавал пикантную новость своей жене — оба супруга шутили над непредвиденным казусом и советовались, как выйти из щекотливого положения. Вокруг люди делали трагедию из суших пустяков, а он лишал трагедийного грима обстоятельства, грозившие немалыми осложнениями, и отнюдь не потому, что всегда выходил сухим из воды, а потому что для трагедии в новом времени не оставалось места.

Мы редко говорили на философские или политические темы, возраст брал свое, когда-то очерченная береговая линия оставалась за бортом, и, честно признаюсь, куда меньше его стихов и прозы мне нравились рас-

суждения синьора Кальвино, так как он не давал себе труда быть точным, обожая поражать и ставить собеседника в тупик. Более всего этот недостаток проявлялся в его статьях и рецензиях, страдающих чрезмерной патриотичностью, культуртрегерской завкаской, а также всегда как бы недописанных. Он попадал в ловушку, расставленную его собственным умом, ибо чересчур полагался на свою способность импровизировать и обдумывал только начало, вход в проблему, начиная с нескольких парадоксальных утверждений, которые он впоследствии развивал, не особо утруждая себя поиском доказательств, а в середине, очевидно, терял интерес к затронутой теме и заканчивал наскоро, прихватывая где придется на живую нитку. Казалось, статьи написаны другим человеком, каким-то наукообразным языком, были рассудочны, вероятно, отсасывая рассудочное, рационалистическое начало из стихов, которые казались прозрачными и рассудочного начала лишены начисто. А здесь слепил глаза неожиданный, чуть ли не просветительский пафос. Почти постоянными были разговоры о кризисе поэзии или прозы, о том, что сейчас — время не для писания (когда ему не писалось), а для воспитания читателей, уверяя, что писатель появляется после того, как появится читатель (что верно), и мы должны растить вокруг себя понимающих читателей (как будто читатель создается чем-то отличным от литературы), чтобы потом в России... и прочее, что я воспринимал, как бред.

Кальвино делал многое из того, что я считал несообразным: мог начать день, выпив стакан джина с тоником перед службой (что было следствием богемной жизни), превратил свою жизнь в проходной двор, бежал от любезного и необходимого одиночества, не оставаясь наедине с собой ни днем ни ночью, что делало непонятным, когда он успевает писать свои стихотворения и читать, ибо он при этом умудрялся прочитывать уйму книг. Как психологический тип, научившийся жить почти безболезненно, синьор Кальвино был уникален, как парадоксальная натура — интересен, как увлекательный (и увлекающийся) собеседник — незаменим; его стихи мне очень нравились, но жить с ним бок о бок было труднейшим делом.

Я не знаю, о чем думали те женщины, что решались на брак с ним. Конечно, привлекала свойственная синьору Кальвино мягкость и пластичность, его популярность среди пишущей братии и блестящий интеллект, на что падок слабый пол, хищно бросающийся на все яркое и заметное. Я знал всех его жен, это были женщины вполне симпатичные (однако, как на подбор, с плохими зубами) и неглупые, хотя и все, как говорят по-русски, *не от мира сего*. Насколько я понимаю, ему нужна была мать-жена, которая помогла бы ему жить, не пытаясь эту жизнь переделатка и изменить по-своему, подминая его под себя. Жена-мать-служанка-советчица-друг-читатель, как почти каждому художнику, а тем более такому, как синьор Кальвино. Возможно, их вводила в соблазн

его мягкость, и они надеялись вить из него веревки для его же (и своего) блага, и все начинали с того, что пытались выставлять барьеры для гостей, идущих косяком: загородки, рвы, преграды, волчьи ямы, не отвечали на приветствия, вели себя вызывающе, уходили с книгой на кухню, — но синьор Кальвино был не просто мягкий, но и гибкий, как стебель, он вроде бы поддавался, увлекаемый трепователней нежной рукой, но мгновенная оплошность — и он опять восставал в полный рост, без следа наклона или сгиба. Его пытались завязать узлом, а он выпрямлялся как ни в чем не бывало, только давление ослабевало. А то и просто вырывался из нежно-железных рук, предъявляя неожиданный запас прочности и силы.

К тому времени, когда мы познакомились, он имел внушительную импозантную внешность, вполне соответствующую его необыкновенному имиджу, читая стихи или в пылу спора, он становился почти красив, как сказал бы автор «Мцыри», чудовищно красив, и многие женщины уверяли, что как мужчина, он вполне мог производить, несмотря ни на что, сильное, а в некоторых случаях и неотразимое впечатление. Но это были уже женщины, понимающие что к чему, и я не сомневаюсь, что у него были серьезные трудности с девушками и женщинами в юности, когда непросто перешагнуть через порог первого внешнего впечатления. Будет интересно, когда какой-нибудь психоаналитик, специалист по сексопатологии, выведет торжественный и высокий строй поэтики синьора Кальвино из его первых сексуальных затруднений и докажет происхождение и сходство его пристрастий к экзотическим и скандальным историям со своеобразной интеллектуальной приманкой, вроде брачных кликов лебедей. Но пусть это делают другие.

Из его жен мне больше понравились вторая и четвертая, хотя я ничего не имел против первой, разве что я меньше ее знал, да и к тому же она была несколько жеманная переселенка из *хорошей, породистой* семьи, а этот женский тип мне противопоказан. Она хотела увлечь Вико уютной добропорядочной жизнью, свить гибкий и прочный кокон для них двоих — и больше никого. Однако за короткий срок Кальвино умудрился нанести столько стремительных ударов по семейному гнезду, что оно распалось уже через два года и чуть ли не по обходной инициативе. Он не соглашался позировать для скульптурного памятника, который она хотела заказать, чтобы увековечить своего супруга; не соглашался не пускать на порог хотя бы самых затрапезных, пьяных и непрезентабельных приятелей; проиграл всего за одну ночь в поезде все деньги, взятые для отдыха на побережье, попав в лапы русских шулеров; и хотя понял это сразу, проиграв первую сотню, не смог оторваться, пока не спустил все до последнего песа. Они вылезли на следующей станции и сели в обратный поезд. А в довершение всего, однажды осенью, когда они поднимались по лестнице в свою квартиру, сверху, стуча каблуками и стря-

хивая мокрый зонтик, глядя себе под ноги, быстро пробежала стройная женщина в черном узком пальто, в которой изумляло соединение тонких черт молодого лица и почти наполовину седых волос. И оба супруга тут же с прогнущейся от предчувствия душой узнали ее: это была первая душевная привязанность синьора Кальвино, с которой он прожил несколько мучительных лет и которую бросил от усталости и потому, что появилась француженка Элен. Или сначала была француженка, а потом уже та, что в ночь после его ухода внезапно поседела, и изменение цвета переполнило чашу тут же потерявших равновесие весов, жгучий контур вины распрявился в душе, и через час он уже находился в объятиях той, что, кажется, и была невольной виновницей всех его расторгнутых браков, то исчезая, то появляясь на горизонте Кальвино и пользуясь какими-то романтическими чарами, уводящими нашего Орфея за пределы, свойственные его натуре. Женская стержовная душа, которая с легкостью артикулирует как смирение, так и ненависть, опаснее для мужчины, а тем более поэта, чем что бы то ни было.

Со второй женой я познакомился уже в эпоху третьей, на вечер исчезнувшей со сцены (хотя бывшие жены, любовницы и поклонницы свободно сновали по его жизни, то появляясь, то исчезая — ни одна жена не осмеливалась препятствовать отделению теней от мрака прошлого). Мне было кое-что известно о ней, как о феминистке, издававшей женский журнал, в самом скором времени получивший поразительную известность и переведенный на несколько десятков языков. Ее статьи и переводы Гумилева, небрежно мною перелистанные, оставили весьма рассеянное впечатление. Я что-то слышал о ее переписке с этим мэтром современной философии, вернее, о посланном ему письме, на которое пришел ответ, написанный его секретарем, но подписанный собственноручно Львом Николаевичем, где содержалась положительная оценка работ той, кого за глаза называли Машкой (а иногда — Хильдой) из-за пристрастия к русской и немецкой философии и феноменологии, страстной поклонницей коих она слыла, и из-за до конца не понятой мной легенды о ее вроде полурусском-полунемецком происхождении, а также потому, что русским, как уверяли злые языки, она владела лучше, чем родным языком. Я слышал о ее (здесь пойдет оборот, введенный в литературный свет русскими символистами) неукротимом темпераменте и о том письме, которым ее удостоил сам московский Патриарх. Все эти слухи создавали для меня не внушающий доверия образ, но стоило сблизиться с ней теснее — как я воздал ей должное.

Кресла стояли тогда в коридоре, отделенные чем-то вроде ширмы, я листал какой-то журнал, когда белая дверь отворилась, обозначая серый, просеянный жемчужной пылью столб неясного света, и сквозь него прошла высокая белокурая женщина, ощущением силы, здоровья и чертами лица вызвавшая на секунду в памяти тип боярыни Кустодиева.

Взаимная приязнь возникает безотчетно, я наклонился, чтобы поцеловать белую приятную руку с очень коротко подстриженными ногтями и сверкнуть озерцом лысины, а Кальвино уже знакомил нас, говоря что-то о ее успехах в философии, а потом представил меня.

В тот вечер они (как бывшие муж и жена) давали интервью какому-то французскому корреспонденту, который задавал вопросы о журнале, некогда издаваемом ими вместе, а теперь каждый из них издавал свой журнал, но восприятие запаздывало, не разрывая фотографию семейного образа пополам; на черта пригласили меня, я так и не понял, и уж, наверное, не для того, чтобы среди разговора по-английски изредка ловить какой-то мило извиняющийся взгляд женщины, которая как бы просила прощения за то, что была женой человека, теперь казавшегося ей несуразным: взгляд был мягкий, но настойчивый, и я отвечал на него понимающим взглядом, за что мне в свою очередь становилось неловко, ибо я симпатизировал синьору Кальвино, хотя и не мог не видеть несоответствия между этой здоровой и сильной женщиной и физически ущербным поэтом, чей облик и ей некогда казался милым и привлекательным. Я видел фотографию их венчания в маленькой кладбищенской церкви, где обвешенный пунктирным контуром свечей стоял, заваливаясь несколько вперед, чернобородатый Кальвино в черном фраке и белая, выше его на голову, молодая женщина, в полунаклоне поддерживая своего суженого. Я угадывал скрытых во тьме старушек, шепчущих: бедная-несчастливая, какой камень себе на шею повесила, так как он только что проковылял перед ними по стертым гранитным плитам. Но я-то знал, что сошлись они по любви, и в постели были, что называется, не промах, хотя он и познакомился с ней как раз в тот момент, когда вот здесь стояли ему все эти постельные дела и бабы, ибо в очередной раз разошелся с наполовину седой балериной из итальянской труппы, уже написавшей книгу по истории балета, но в ночь, после которой судьба обильно мазнула по волосам серебряной кистью, что-то в ней надломилось, и она начала постепенно опускаться, сначала окруженная кордебалетом мужского внимания, а затем все режеющей толпой поклонников, не думая отвечать верностью раз обидевшему ее мужчине. И это все крутилось несколько лет, пока не осточертело окончательно. В этот момент ему и встретилась Хильда, совершенно открытая, без какого-либо надлома, со светом, излучаемым душой настолько отчетливо, что это было заметно любому непредубежденному человеку, а предубежденные говорили: ну и что, попробуйте столько часов проводить в православной церкви, и сами засветитесь, как головешки. Но даже через много лет после того, как она была выслана из страны в день открытия Олимпийских игр, синьор Кальвино сказал в разговоре со мной: «Что вы, Хильда была замечательная женщина». Многие доброжелатели Кальвино сетовали на оказанное ею влияние на него: при ней он крестился в русскую

веру, пытаюсь освободиться от мешавшей ему плотской зависимости, став с тех пор, как он это называл, церковным человеком, хотя я помню, как в один из первых наших откровенных разговоров на вопрос, является ли он верующим именно церковно, ортодоксально, последовал уклончивый ответ: «Это сложный вопрос». Думаю, что у них был вполне гармоничный брак, хотя если в семье два эгоцентрически-творческих человека, это слишком, но все разрушилось почти мгновенно, когда в очередной раз появилась седая, опускающаяся, но неизменно влекущая балерина в черном пальто с капюшоном, позвонив предварительно из автомата внизу. Теперь я видел только одно: морщась от неуклюжего английского, на котором запинаясь Кальвино, та, кого звали Машей, фрау Хильдой или сестрой Марикиной, резко прерывала его, тут же извиняющимся взглядом посматривая на меня, будто выравнивала весы, и отвечала французу прежде, чем бывший муж кончал лихорадочный поиск нужного ему слова. А мне было неловко, я как бы предавал его, отвечая бывшей жене Кальвино понимающим кивком, будто дергал веревочку, на которой был привязан. Уже потом, когда она была выслана, он поспорил со мной, что Хильда, вот увидите, кончит тем, что примкнет к крайне левым, вроде «красных бригад», и будет с автоматом в руках брать банки и потрошить респектабельный западный мир, либо станет первой в истории церкви женщиной-священником, перелицовывая и так эфемерно-фантастические слухи о ее чуть ли не приятельских отношениях с московским патриархом, о странном браке с пишущими стихи болгарским террористом, о подаренной ей г-ном Силиттоу типографии; ведь и на философский факультет она поступила по путевке молодежной организации Юнита, будучи, как говорят русские, *страшно идейной*, и во всем, что ни делала, доходила до конца. И дойдя до тупика, сделав крутой вираж, повернула назад.

Нам оказалось по пути, помню, одета она была как-то нелепо, в потертую шубку со слишком короткими рукавами, которую, как она объяснила, поймав мой взгляд, ей прислали в подарок из фонда обносков, собранных русскими феминистками для братьев и сестер в рассеянии, но даже в нелепом наряде в ней было что-то милое и влекущее, ибо она, выйдя из квартиры бывшего мужа, оставила за закрывшейся дверью и резкость обращенного к нему тона. И вела себя так, как ведет себя умная женщина, желая понравиться мужчине: больше спрашивала, чем говорила сама, пока мы ждали трамвай под моргающим ночным фонарем возле газетного киоска, иногда выходя из-под конуса желтого света в чернильную сосущую темень, чтобы посмотреть, не выглянул ли он из-за угла. Я хвалил прозу Кальвино, пока трамвай катил по дуге моста, и обмылки огоньков таяли в черной воде, она, отмахиваясь, ругала ее, трамвай, позванивая, делал поворот, и расспрашивала о том, что написано у меня, я коротко пояснил, и она, как-то целомудренно посмотрев в

глаза, сказала, что уверена, моя проза ей понравится; но когда в пустом вагоне последнего поезда подземки она кинула мне на колени журнал со своей статьей и назначила свидание на следующий день в русской церкви, я, честно говоря, испугался. Дело даже не в том, что к женам приятелей меня привлекал не столько мужской интерес, сколько писательское любопытство. И не потому, что мне было бы неловко перед синьором Кальвино, узнай он, что я сплю с его бывшей женой (а я не умел сблизиться с женщиной, не уложив ее предварительно в постель). Мне была симпатична эта женщина, возможно, симпатичен ей был и я, хотя и не сомневался, что ей нужна не простая интрижка, а нечто большее, на что я был не способен, да и не хотелось осложнять себе жизнь. Этот хрустальный вопрос всегда встает между мужчиной и женщиной, если они друг другу нравятся, и он может растаять со временем, изойдя в ничто и не получив разрешения, нужно только первое время не оставаться долго наедине. Я знал это и ушел в сторону. Возможно, я и преувеличивал опасность, но уложить женщину в постель почти всегда легче, чем не сделать того, что запало ей в голову, и при этом не обидеть. Я вернул журнал через третьи руки и пропал на пару месяцев, уехав дописывать начатый роман в тихий мексиканский городок, а когда вернулся, то первой встретившей меня новостью было известие, что сестру Марикину вместе с редколлегией женского журнала высылают на специальном самолете через неделю в Москву. И я тут же получил переданное через Кальвино приглашение («куда же вы пропали, Хильда прочитала такую-то вашу работу, в восторге и хочет с вами поговорить») ехать сегодня ночью на проводы, которые устраивались у мадам Виардо.

(Продолжение следует)

Валерий ХОЛОДЕНКО

КНИГА МОИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

ПОСВЯЩАЕТСЯ ДУХУ З.Н.

Не все преступления мои. Не все преступления раскрыты, но все эти преступления — суть мысли — могли быть совершены мною...

В.Х.

«Вы, преступники, приведенные в суд...»

... Кто же я, что назову вас бесстыднее меня самого??

Уолт Уитмен

ЛОВЕЦ

Когда приходит суббота — это время мыться в ванной — банное время —, а у родителей моей жены на моем новом месте жительства была такая привычка — мыться, тем более что посреди квартиры бесплатно цвел в отведенном для него месте эмалированный оазис, в который каждую субботу...

... Так вот, когда приходит время мыться (лучше бы оно совсем не приходило, как на будильнике, умершем на одиннадцати и вечно показывающем Адмиралтейский час), я вытаскиваю из ящика древнего комода, на котором и стоит будильник рядом с фарфоровой нимфой в лыжном костюме, вытаскиваю чистое белье, медленно брею щеки и подбородок. Все это я проделываю, поглядывая на Адмиралтейский час, надеясь на что-то, может быть, готовлюсь к поездке к тебе, мой друг, или еще к какому-нибудь славному предприятию... Одним словом, я оттягиваю встречу с потной белизной ванной комнаты, встречу с водой. За письменным столом стоит початая бутылка вина, и я о, адмиралтейский час! — выпиваю из горлышка за свой день рождения почти все, потому как мысленно пью за тебя, мой друг, и за тебя, худышка-свояченица.

Сегодня я согласен утонуть в ванной только потому, что вы вчера вечером бултыхались в ней. А пока что я иду в кухню и курю с тещей и

говорю с ней о запущенности реставрационных работ на объекте №... Теща, полная и властная — почти императрица — хлопая себя одной пухлой ладошкой по великодержавной груди, а другой — по не менее великорусским своим ягодицам, взвизгивает, что она сейчас первая будет бултыхаться в ванной. Что-то вроде ревности колет меня в пах, но я без труда выговариваю себе право на первенство, хотя сам процесс мытья у меня вызывает нервную дрожь...

... В баню я пробовал ходить, но и она, баня, со своими мочалками, шайками, с бесстыжими красотами, на которые и смотреть боишься, быстро отвалила от себя такого незадачливого купальщика, как я...

Раньше я вместе с родителями уезжал на согретое годами место, в город Днепропетровск, обжитый нами, вернее, папиными родственниками, kloчок Екатеринославской земли, и все мои страсти-мордасти в семь лет сводились к тому, что я вместе со своими друзьями — они жили в ближайшей балке — и одной пацанкой, которую я называл ЭЙ, носился как угорелый за бабочками, размахивая голубым сачком цвета моих трусиков, в которых я оставался в силу своей неокончательной определенности как пола; на трусиках, там где живот, красовался карман; в него я по тогдашнему обыкновению складывал всякие интересные вещицы: фантики, спички россыпью, чиркалку, оторванную от коробка, и маленький сигаретный окурочок.

Не было такой недели, чтобы я не убежал с ребятами на Днепр смотреть на его зацветшую воду, чтобы потом с криком броситься в нее и купаться до посинения, после чего, пупырчатые, мы выбирались на жгучий песок, прижимаясь к нему, впитывая дымчато-желтое тепло, которое входило в наши продрогшие тела и превращало их в маленькие солнца.

Там же, в Днепропетровске, я впервые заболел. Обыкновенная пневмония, которая привязывает человека всего на какую-нибудь неделю-другую к постели, у меня затянулась на месяц.

Я быстро смирился с тем, что мне больше нельзя купаться и загорать; это не вышло слишком большой утратой: полусидя на огромной кровати я листал книжки с иллюстрациями Доре и нетронутые календари со Сталиным. Когда я просыпался после короткого сна и открывал глаза, по потолку уже бродили прозрачно-зеленые тени от виноградника за окном. Я любовался их волнениями на потолке, и это волнение передавалось и мне, и, лежа на жарком пляже болезни, я уплывал куда-то и лежал на воде, сладко цепenea. Моя рука трогала мое податливое тело и я пускался во все догадки, свойственные людям, которым когда-либо приходилось подолгу находится в постели.

Постель воспитывает в человеке всевозможные привычки, приводящие его в конце концов к развилке разных тропинок, но на постель за это незачем обижаться.

Мои родители понимали это, и, конечно же, им ничего не стоила такого рода мудрость: они целовались — даже стыдно было смотреть на

них; в далеком северном городе, моей Родине, отец, войдя в комнату, целовал маму в лоб, при этом приподнимая черную прядку чуть вверх и снова целуя, а мама обхватывала склоненную над ней голову отца и целовала его в губы, нос и глаза. Это меня пугало: мне казалось, что мама любит меня не так, как мне этого хотелось; я почти понимал, но пока предчувствовал, что именно у них спрятан ключ к разгадке самой таинственной тайны. Не потому ли они никогда не запрещали мне моего паломничества к собственному телу, не обрывали легкого, но твердого движения руки, узнающей начала другого существования.

Если бы они запретили мне это, как делают многие родители, то мое близкое и сладко-безалаберное знакомство с собственным естеством не протянулось бы до семнадцатилетнего возраста. А родительское понимание простиело из счастливого их союза как мужчины и женщины: если бы не их счастье, быть мне уличенным и пристыженным, быть бы мне психом, и никогда бы не стало для меня общение с собственным естеством радостью, какую способен ощутить не каждый, потому как почти каждый в свое время был уличен и пристыжен, напуган и отважен (слияние значений двух понятий: отважный в своем упорстве и отваженный): руки на одеяло... не сметь!

И только единственный тогдашний запрет был для меня законом, это запрет купания, который не причинял боли, и запрет курения — его я обходил даже после того, как окурок, лежащий в кармане моих трусиков, был выброшен вместе со спичками. Так что теперь, после многих лет, послушание и висящие надо мной запреты зачеркнулись сами собой и зарисовались более осознанной фигурой — моим собственным нежеланием прикасаться к воде и привычкой курить.

... Ванная — частное самобальзамирование. Я взглядываю на будильник. Он похож на Адмиралтейство без шпиля. Стрелки показывают адмиралтейский час — время лезть в воду. Накинув на голое тело халат, я направился туда, где с клекотом бурлила вода, а ражая, как слюна из большого зуба, теща, напевая, надраивала мне ванну. Я вошел в белое, сверкающее чистилище с изразцами на стенах и сказал теще, что готов. Подмигнув мне, теща выплыла в коридор, а я сел на краешек ванны и закурил. Вода за спиной утробно гудела и всхрюкивала струей веселого шика.

Монолит воды и чайкообразность моего тела. Я выключил воду, и тишина зависла надо мной, попискивая в ушах.

... Вчера вечером вы не выключали воду, дружок мой и моя маленькая свояченица. Что же вы здесь делали, негодяи? Сейчас я буду сантиметр за сантиметром опускаться в тяжелую воду, я буду мешать вам или не мешать, или плавать вместе с вами. Я бултыхнул ногой — вас нет. Зажмурив глаза и слезно жалея свою конечность, счастливо сухую, я опускаюсь в горячую воду, постепенно обретая новую свою форму — слепок, подходящий на оригинал, который вдруг радуется своим сходством

с удобным креслом, где твоё нижнее и верхнее — вертикально, и тут телу, погруженному в воду, ничего не остается, как признать себя побежденным и даже счастливым.

Сегодня исполнится ровно тридцать три года, как я сижу на эмалированном краю ванны и мочалкой повторяю формы своего тела и события того дня.

В тот день, день моего радостного преступления, я, доживший до бальзаковского возраста мужчина, чувствовал себя до омерзения превосходно. Так чувствуешь себя после припадка откровения, когда еще находишься в нем, откровении, но уже понимаешь нелепость своего положения. В этом есть изуверство (мазохизм как приправа); радость и отчаяние одновременно. Ты ощущаешь судороги собственного сердца, тебе больно и угарно, но ты все радостнее уходишь в свои признания, ты растворяешься в них.

Так, или примерно так, я чувствовал себя в тот день. Я видел свое собственное падение, как на экране, но оно было сладостным.

С каким-то невероятным птичьим клекотом, похожим одновременно на мурлыканье недовольного желудка, во мне всхлипывали, закатывая истерику, ожидание и надежда.

... Два существа — он и она, Дафнис и Хлоя, Пенелопа и Одиссей. Ни посмотреть, ни увидеть... не удастся.

Когда же это было? На пляже в детстве или в бане взрослой, когда я сам еще только-только утверждался как мужчина? Нет, ты был в футболке с коротким рукавом и черных застиранных тренировочных брюках. Ты пил пиво из горлышка на станции Репино. Ты где-то и когда-то учился со мной? Или я учился у тебя выпускать сигаретный дым кольцами? Вместе работали? Нет! Значит, мы всегда были знакомы, но ни ты ни я этого не знали, поэтому мы еще раз познакомились и заказали еще по бутылке пива к холодной водке и закуске. Я был женат и рассказал тебе о своей свояченице, маленькой худышке. Да, конечно, я познакомлю. И познакомил.

Ты, не долго думая напечатал ей на ушко свое заклинание, и не прошло больше того, что происходит вокруг, как вы поженились.

А ее я увидел в досвадебное свое воскресенье. Я пришел знакомиться с родителями своей будущей жены.

Она появилась, вернее, явилась передо мной почти такой, как я ее себе представлял со слов моей будущей жены: «Да, красивая, да, смешливая». Но чтобы сводить с ума... Нет. Тогда я еще не думал, что это возможно. Дурачок с ленинградской улицы!..

А ты говорил громким шепотом в ресторане, что она намного лучше, чем я тебе рассказывал о ней.

Познакомившись, вы о чем-то заговорили. Или стали быстро, чтобы успеть, признаваться друг другу. Я, прогуливаясь по аллее Михайловского замка, то и дело вслушивал правый глаз и видел, как вы сгибаете

руки в локтях, как вы похожи на кузнечиков. Неожиданно вы оба впрыгнули в мой огород. Ваше стрекотанье перенасытило сад, даже птицы смолкли в недоумении. Потом вы стали прыгать в моей груди, царапая острыми ножками мои глаза изнутри — прямо по живой и неприкосновенной поверхности глаза чиркали своими заусенками на лапках. Я приклеился к месту, как пойманная и тут же приколотая к спичечному коробку бабочка. Крылышки трепетали, но не обдували лицо и тело, они лишь только прибавляли жар. Никакого внимания ко мне. А целовать ты ее не решался при всех — слава Богу: отвратительно, когда с тайны сдирают исподнее.

Луч солнца, изгибаясь по плечу и продолжаясь на твоём колене, мой друг, отъединял вас. Но луч переместился и уже резал скамейку где-то поблизости. И тут я увидел, что вы — единая, лишь по прихоти времени разорванная картинка, половинки которой порхали, несомые ветром, но неожиданно соединились.

Я грустно покачал головой и со страхом подумал, что грусть — лишь потухший вулкан гнева одинокого человека. И я стал любить вас еще непонятной, но уже ноющей любовью эгоиста творца, каким, по моему мнению, был и есть господь Бог. Толком я не понимал, кого я люблю, тебя, мой друг, в ней или ее в тебе. Я не стал выяснять, я задремал с этой мыслью, надеясь на ее собственное творческое начало, которое рано или поздно даст плоды...

... Но ты очень быстро и ловко построил свое изящнохитрое здание. А мне оставалось лишь удивляться, как оно похоже на то здание, которое я, безумный, хотел построить до тебя и лучше тебя.

В ту пору, когда я ловил бабочек, я ловил не самих бабочек, а их красоту. Из этих же побуждений я срывал цветы... Это очень естественно — ловить, срывать красивое, даже красть.

В досадное воскресенье, когда я уже познакомился с родителями моей жены, вошла моя стройная будущая свояченица. Ирка — вспомнил имя. Ее лицо светилось, и маленькие веснушки — тоже. Созревшие после сна груди почти не отгесняли ночную рубашку; любопытная, она не успела накинуть халатик. Теща возмущалась. Тесть улыбался. А она, нисколько не смутившись, хитренько улыбнулась и сказала — «Здрате», коротко, как остроумное слово. Потом она убежала и тут же, как чертик, явилась в халатике (стриптиз наоборот). Но халатик так и не превратил ее в женщину. И все же я очень тщательно боролся с собой. Зачем? Я тогда не знал.

Моя жена, такая же стройная, но пахнущая женщиной, целовала свою сестру и нервно смеялась.

— Дай поговорить с человеком, — хихикнула Ирка, выпроваживая жену из кухни, ибо согласие на свадьбу было получено. Что же еще нужно? — Посиди в комнате, — Ирка состряпала из множества мелькающих пальцев жест учителя. — Вон! — и успокой родителей...

Когда за женой закрылась дверь и мы остались с Иркочкой под колпаком кухни, я стал внимательно, но пунктиром рассматривать ее... Худышка с длинными ногами и узкими мальчишескими бедрами; лишь каплевидность бедер — когда она повернулась за чашкой — выдавала принадлежность к соединительному союзу «И». Я увидел, но не придал значения ее стройной солнцевости и схожести со зверьком, на которого стоило поднять ловитву. О! Она вчера впервые попробовала водку. — Дрян! Как вы ее пьете? Сашечка Виноградов стал приставать, но я его погладила по плечу и сказала, что до Нового года еще далеко. Толику и Витьке я нравлюсь, а они мне — ни в какую.

— Что это «ни в какую»?

— А не знаю.

Ничего не желая и не предвидя, я обозвал ее кузнечиком.

... Странно, что в выходные дни я вставал, как на работу. И чтобы никого не будить, сидел в кухне и курил, глядя, как за окном оттаивает город людей, ушедших вчера на свои производства. Сначала я размышлял о законе подлости, но потом словил себя на мысли, что вставать рано это неспроста; я ждал, когда появятся они. Но первой выскакивала Ирка, будто бы зная, что я сижу в кухне и жду. Она потягивалась, и ее ночная рубашка в веселую горошину приподнималась, обнажая колени.

— Здравствуй, — морщила она свой заспанный носик, говоря «здрассе». Потом садилась на табурет и смотрела мне прямо в глаза.

— Ну што? А? — подтрунивала она. Маринка еще спит? «Глупенький, зачем ты пропустил своего друга вперед себя», — читалось в ее крыжовниковых глазах. Она тут же вставала и опять потягивалась — «Какая я счастливая...»

А я жадно вдыхал запах ее подмышек, которые еще пахли ночью и совершенством молодости.

Потом появлялся ты, мой дружок, родственничек, по пояс голый. Она пристально разглядывала твою голую живизну и целовала в закрытые губы. Обернувшись, смотрела на меня, как бы говоря: «Вот так-то». А ты целовал ее в ладошку, когда она давала тебе сигарету. Я не чувствовал ревности, я весь растворялся в вашем пребывании друг подле друга и ощущал, как через тебя, мой друг, мне передается любовь к ней и через нее — к вам, кузнечики моего поля.

В дождливую погоду вы запирались в своей комнате, из-под двери которой распространялся по всей квартире голос Челентано. Я ненавидел Челентано, потому что сам был не хуже... Или возможно? Или ближе?... А в солнечную погоду вас уносил ветер свободы, и как только дверь закрывалась за вами, я весь растворялся и сникал. Словно брошенный на произвол квартирной скуки кастрированный кот, я укладывался на диван и тихонько в себе затаивался. И так лежал, может, час, пока

жена не просила меня помочь в посудо-хозяйственном деле. Я огрызался, но шел, потому что знал: она даст мне три рубля, и вместе со своими двумя рублями я чудесно напьюсь у прозаика Пуленкова. Хороший прозаик Пуленков.

Мой диван, мое ложе терпения, моя поляна, но не та, которая приносит тебе запаканные впечатления от травы и солнца в пустыне звенящего от мошкеры неба, а та, что напоминает бесконечные больницы и койку, на которой ты валяешься в летнюю пору: поляна как замкнутое пространство, и тебе не выбраться из него. И ты без всякого тормоза летишь к своему и только своему несчастью.

Я ворочался на диване, перемахивал со спины на живот, будто положение на животе может облегчить участь незадачливого охотника.

Я ждал. А ждать — это играть с самим собой в ненормальные пятнашки.

И над всем этим звонок. Он вонзается по разу-два — в мозг, и я трепыхаюсь, словно пойманная рыбешка. Это они так звонят, когда, возвращаясь, возвещают о своем прибытии. Звонки напоминают глотки воды, и ты, не напившись, срываешься с места... Открываю дверь — водопроводчик. Я отсылаю его к бабушке, что живет этажом ниже, закрываю дверь и укладываюсь на свое ложе. Книжка, прихваченная с полки, не кажется интересной, но бедняга автор просто не набрал скорости, какую набрала залетевшая в окно муха. Твои глаза уже не следят за повествованием, они движутся за жужжанием, нарушая свою функцию зрительную и виденья. Хочется прибить муху, изничтожить жужжание. Но муха вылетает в окно, и в полнейшей тишине ты осознаешь, что, не ранив муху, ты смертельно ранил этот день: автор книги — Томас Манн погиб ни за что...

... Так, читая книгу в одном своем состоянии, мы не думаем о том, что это состояние может перемениться завтра; мы дурно судим о книге, не перечитываем ее, и остается у нас предвзятое мнение. Через год мы говорим себе: «Что же это? Чем я читал? Это чудо!»

Ни о чем не догадываясь и не представляя, что творится во мне (я и сам толком не мог бы сказать, что во мне творилось), вы приглашали меня в гости: «Пойдем». И я с радостью шел за вами на солнечные улицы, умолял — только не в гости — заглядывал вам в лица и улыбался, как идиот, — я чувствовал, что улыбаюсь, как идиот, но мы уже тряслись на поворотах в трамвае среди стриженных малышей, которые визжа и щипаясь, ехали на какую-то экскурсию. Может потому, что среди малышей были начитанные стриженные акселераты, я так и не смог отыскать таких юных лиц, как ваши. Лица детей были взрослыми, опрокинутыми в то, что ожидает их в будущем. Они не видели будущего, но и не признавали собственной молодости: они перескакивали через молодость с легкостью сановитых спортсменов... Скоренько они будут папами и мамами. Дикость!

Проходили цветущие для вас дни. Ты рассказывал мне, как радостно и охотно теперь живешь. Я почему-то вспомнил, как отговаривал тебя от женитьбы, приводил немислимые примеры из опыта своих друзей, но потом, вопрошая самого себя, я морщился и замолкал. Но не надолго. Что только не плел мой размурованный из полости рта язычище? Стыдно вспоминать. А ты, мой друг, смотрел вниз и улыбался. И чем настойчивее я отговаривал, тем больше ты дразнил меня: рассказывал о ней, произносил ее имя, словно целовал его. Любовь на языке влюбленных будто прививается к тебе. Ты тоже начинаешь любить. И я, не скрою, ревновал, ведь чем больше рассказывают другие о твоём любимом существе, тем легче раздвигается пространство, тем жарче ветер, летящий издалека; на языке других имя любимого человека становится более неколебимым символом, нежели произносимое только тобой...

И тогда я призвал свое сердце в свидетели, что я сделал все, что мог. Мне осталось лишь разыгрывать согладастая, потому как боготворить ее вечно я додумался после женитьбы. Поздно.

Солнце, трава и кузнечик — все это она. Ты — ее муж — тоже трава и кузнечик. Я пытаюсь поймать вас, кузнечиков. Но вы хитрее меня, особенно она, мой друг, твоя Ирка. Она отталкивается своими стройными длинными ногами, и вот она уже под скакалкой, которую крутим мы с тобой, мой дружок. Она стрекочет на все травянолиственное царство, и в солнце, траве и кузнечиках — я. Я — щелк, щелк — я — так щелкает скакалка об асфальт двора...

Сегоднярожденный я сижу на эмалированном краю ванны. Щелк — стук, стук — щелк. — «Тебе спину потереть?». Это жена из магазинов. — «Ты долго?» — «Спину не надо, я отмокаю долго».

— Я тебя поздравляю.

— И я тебя — с самим собой.

Пожалуй, я впервые обратил на тебя внимание, когда поднимался по лестнице в реставрационные мастерские. Со мной будто бы здоровались, но я смотрел на тебя, смотрел с пренебрежением и в то же время с интересом. Ты легко взлетал над лестничными перилами и вдруг оказывался на ступеньках противоположного пролета. Я поначалу подумал: «Какой-нибудь подсобный рабочий развлекается от нечего делать».

Я даже не мог предположить, что можно реставрировать живопись и рисунок, создавая ощущение пространства при помощи прекрасного тела, хотя и не брезгуя данными художника-реставратора.

Я о чем-то спросил тебя. Ты ответил, чуть улыбнувшись. И твоя улыбка все так устроила, что мы впоследствии стали друзьями. Ты — мой подчиненный. Но начальствовать над тобой как-то боязно, да и

несправедливо. И я предоставляю тебе полную свободу, тем более что ты делаешь свою работу намного лучше других (себя я пока боюсь ставить рядом с другими); иногда я даже восхищаюсь тобой: скальпель в твоей руке пластичен, а кисть послушна. Но, слава Богу, ты не безупречен: ты иногда бросаешь работу и уходишь курить в коридор.

И теперь мы ежедневно спускаемся по лестнице и выходим на улицу. А дома я восхищаюсь твоей чистоплотностью. Если бы я так же любил воду, как ты... Бр-р-р!

... И мы расходимся каждый в свою комнату. А ведь только недавно на улице ты удивлялся, откуда столько народу взялось, а я кивал головой: «Да, есть только мы и наши семьи. Правда, без детей пока...»

... Но когда я на работе смотрю на твой барашковый затылок, меня немедленно сдувает с моего места. Я подхожу к тебе и кладу руку на плечо — оно у тебя упрямое, ты вздрагиваешь им. И я понимаю тебя, но еще я понимаю, что только таким образом я могу прикоснуться к ладошке маленькой Ирки и таким образом назвать вас своими детьми.

... Но это уже горькое лукавство ловца с его невозможностью, впянной в окончание стрелы, — невозможностью подстрелить прекраснотелого зверя.

А ты, мой друг, носишь этого зверя в себе, как носят двойняшки отпечатки друг друга. Но мне вознаграждение — твой обернувшийся голубец, до которого ты уже докопался, сняв поздний пожелтевший слой. И твои губы: «Начальнику что-нибудь нужно?» Мой язык говорит: «Да, нужно», а рука незаметно погружается в ее волосы, соскальзывает по ее шее и падает к собственному бедру и уходит, уже сжатая в кулак, вместе со мной в другой конец «зала воскресителей».

Или в другой конец времени и места...

Это место — углы, образованные дверью, выходящей в кухню и двумя стенками коридорчика, глядящими друг на друга раскрытыми от любопытства нарисованными цветами. Меж ними я очутился как-то утром, когда мое тело проделывало путь сомнамбулы из уборной к раковине... Я даже не предполагал, что ее сонное тело тоже хочет, и именно сейчас, добраться до уборной. Мы столкнулись нос к носу и оба смутились. Дверь уборной открывалась наружу, так что Ирка была заперта, как птичка.

В моей голове закрутился шальной текст ненаписанного сценария.

Ее прическа походила на шляпку желудя — я обрадовался этому и вспомнил, как в лесу я безнаказанно мог собирать точно такие же шляпки-чашечки и бросать их себе под рубашку, где лежали голые тельца желудей.

— Куда это ты направился, кузнечик? — Я чувствовал запах ее дыхания, запах молока, подогретого на солнце. — Куда же? — Никуда, — хихикнула она, словно знала, что живет и существует для того, чтобы в конце концов доканать меня. — Дай, я поцелую твою ладошку. — Нельзя, — прострекотала она и, закрыв дверь в уборную, юркнула в кухню. На кухне я падал на колени и лепетал, что ее душистые чашеч-

ки несравнимо лучше пахнут, нежели какие-то там розы, мимозы и апельсиновые морозы.

Я вздрогнул всем своим корпусом: слава Богу, это только текст сценария. А она ушла, махнув всем своим стройным телом вправо (так травинка на ветру изгибается).

Вы скоро должны появиться. Как же я раз мечтался и забыл, что вы больше не живете с нами, что вы снимаете комнату в квартире, где нет ванной. Но вы сами по себе и вы счастливы, тем более что тесть оплачивает ваше местопребывание.

Когда вы уезжали, вы хохотали и улюлюкали над нами. А мы с женой, как старые мухи, остались жить и жужжать в доме родителей.

... Моя мама умерла еще до моей женитьбы, а кроме нее у меня никого нет, так что ничего неестественного нет в том, что родители моей жены стали и моими родителями.

Скоро вы прискачете на мой день рождения, и я, распаренный и распаливший сам себя соглядатай, выйду к вам, чтобы воистину насытиться запахом, исходящим из ваших молодых ноздрей, — запах чуть подогретого молока.

Или вы появитесь сию минуту, когда дверь вам откроет жена и затащит Ирку в нашу комнату, чтобы поплакаться ей, какая она несчастная, самая несчастная из всех жен, которых не любят мужа. — «Он все еще в ванной... Даже не впустил меня, не дал спину потереть.»

А раньше она была счастливой, пока была доженой, и, как все дожены, наводила на мысль о вечности. Она тогда работала на заводе, в отделе НОТ, а я вкалывал простым оформителем, сначала в РСУ, а затем в мединституте, где мыл кисти только чистым спиртом. Женщины, даже не подходя близко ко мне, утверждали, что я плохо кончу, если не перестану мыть кисти спиртом. Из института я кое-как ушел сам. Все осточертело, а потому дивно свободные выходные дни уходили у меня на безделье: оно было многогранным, и я предавался ему со всей душой; катался бесплатно на автобусах и трамваях и долго блуждал у черта на куличиках, потом стрелял в тире по нарисованному зверью и пил пиво, если не хватало на вино. Или же никуда не ехал, а сидел в Катькином садике и наблюдал за дефилирующими и крашеными мужчинами. Когда кто-либо из них приближался ко мне, я тихо, но внятно шипел: — «Кыш, чертова птица!».

Мне не нужны были ни сверстники, ни шлюхи; я мечтал о молоденькой и женственной особе, с которой мне будет без суеты хорошо.

В лени человека моего склада повсюду и постоянно может отыскаться время для созерцания: лень вообще по своей природе величественнее суеты. Да и есть ли величие в суете? Блуждая по улицам своего города, я рассматривал искусно выполненную лепнину фронтонов, кружева тянущихся вдоль окоемов крыш решеток (все они разные), вглядывался в

шевельюру дорического ордера и в монетки ионики. Но отмечать все это в себе я стал позже, и то, что по-настоящему не любимо мной, то, что я не смог вырастить в прихотливой оранжерее сердца, ускользало прочь... Пока трамвай не забренчит до тошноты знакомым школьным колокольчиком, пока горло не проглотит подошедшее восхищение от густого и твердого, почти съедобного стука лошадиных копыт по мостовой, я не пойму и не полюблю даже освещенную солнцем земляничную поляну.

Вот женщина за прилавком, усыпанным книгами, смотрит на меня, и я не отвожу глаз от ее взгляда. Вот она раскручивает призмовидное местилище для лотерейных билетов, и я покупаю билет, и, обезвредив его, как мину, обрадованно вытягиваю уже не бумажку, а выигранные пять рублей... Женщина смотрит на меня, по-птичьи склонив голову набок, улыбается и, повернувшись ко мне спиной, начинает взбираться к верхней полке вертикального стеллажа по ступенькам неверной стремяночки. И я вздрагиваю — какой искусный стеклодув выдул эти две стеклянные чаши (не кантовать) и, чтобы ни одна сволочь не могла их разбить, зашил в черное облегающее их сукно. И то, что мне было преподнесено удивительно гибкой рукой с серебряным браслетом у запястья, превзошло все ожидания: уцененный первый том малой энциклопедии Брокгауза и Ефрона 1899-го года издания.

Домой я тащил этот том под мышкой. Наверное, я весь светился, потому что прохожие взглядывали на меня, как на идиота, выпущенного раньше времени из клиники. Дома, облегченно вздохнув, раскрыл свою покупку и тут же напал на химические Амины и на др. евр. Аминь, затем пошли Бонифации с Бонифакциями, и дальше Гайморовой полости я не побрел: ЛИКБЕЗ надоел (надоела) — и я протянул талмуд подошедшей лукавой жене. Нет, я не так спасался от ЛИКБЕЗа, как от вопроса жены, вынес ли помойное ведро.

... И от вопроса ли я спасался? Скорее всего, я понял, что в словаре наверняка нет одного-единственного слова, значение которого я и сам плохо понимал, только знал точно, что оно, это слово, всегда жило во мне, помогая или предостерегая от неведомой опасности. Слово звучало у меня в ушах, как давно забытая, но любимая мелодия, как едва уловимый запах: он летит вдоль по улице, а ты ощущаешь его пряность и идешь вслед за ним, как двадцать лет назад.

Теряя свое слово, я метался, как застигнутый врасплох воришка, потерявший то, что украл, и оказывался у дверей квартиры девчонки, которую любил уже как мужчина; правда, любил в своих снах, но ее родители, видимо, догадываясь о чем-то, говорили, что ее нет дома, и закрывали дверь перед моим носом.

И я бежал, растерянный и с промокшим от слез лицом, к своему другу. Он не понимал меня, но было достаточно и того, что мы забирались в глубь темного открытого сарая (замок давно кем-то сорван) и

выкуривали подряд две папиросы, после чего, одуревшие, мы долго не могли выбраться на свет дня: нас тошнило.

С моим произнесенным, но ощутимым словом я, как с флагом на ветру, с которого срывались все мои торжества и надежды, шагал, шел и стоял — стоял, например, около витрины, прижимаясь к холодному, громоздкому стеклу, будто я — лист осени и мне совсем не хочется умирать.

Двадцать лет я бреду по улице.

И вот они, мои, влюбленные мои одноклассницы и одноклассники. Они смеются о чем-то своем, приподнимая сигаретки к самому небу. Они не замечают моей растерянности. Но еще шаг по знакомой улице, и я оттаиваю в своей дали, переступая минуты лестницы своей парадной.

На этаже я затаихаю: как и многие слова, которые приходят людям на лестнице, есть, существуют и вовеки пребудут лестничные люди; это они розовыми мелками разрисовывают черно-зеленые лестницы. А квартирные люди выскакивают со своими готовыми к употреблению словами, изгоняя лестничных людей, как несовершеннолетних, ибо совершенство во плоти — это совершенство... А что совершенство? Неуязвимость, ибо она — всенародность! Этим людям слова приходят незамедлительно. Но я не завидую им: у меня есть возможность украсить мое слово; долгий, очень долгий и трудный путь прodelьывает оно.

Но как долго я должен стоять у колен моей памяти, ожидая рождения моего слова?

Виновность и чувство вины — боги совести и совестливости: когда нам совестно, мы в первую очередь виним себя. У кого нет изначальной потребности винить себя, тот винит другого. Искаженное отражение человека и собственной свободы.

... ни Танечки, ни Саши — у Маринки родился мертвый ребенок. Я уже был готов любить его: я тискал его маленькое тело в трусливых руках (не уронить бы), укладывал в маленькую кроватку и пел ему разные еврейско-русско-цыганские песни.

Но его не было, и я до ворожбы напивался.

Я намазываю свое тело — тело дряхлеющего сибарита. Мочалкой мне не изменить то, что сделали сидячие забастовки в реставрационных мастерских.

Я пробую вызывать чистейший образ моего преклонения, но тщетно — я неумолимо приближаюсь к дивану, где покоится моя хитрая, будто бы спящая жена.

И я ложусь, а впереди ночь. И механическая работа. Жена горячая, как перегретый утюг, гладит меня и дышит почему-то горячим дыханием мне под лопатки. Я боюсь, что она может меня простудить, и переворачиваюсь на живот.

Но вот и вы. Вы прилетаете на своем беспримерном корабле, нагие и красивые, и я беру вас с собой в Эльдorado. Я в вашей горячей траве; и пусть никто нас не слышит; ни жена (несчастливая, которой пришлось в голову выйти за меня замуж), ни теща, сервирующая праздничный стол, и конечно же, гремящая посудой, будто бы своей императорской ладошкой похлопывая по своему великодержавному тазу. Славная баба! Бедная моя жена.

Запотевшее, будто бы покрытое тонкой молочной роговицей зеркало я вытер сухой майкой цвета моих трусиков детства — в них я остаюсь в силу неопределенности как пола...

Перед этим зеркалом я не раз совершал свой великолепный жест — свое сладкое соединение с приснившимся божеством. Жест мой размножился, и в зеркало летело упругое тело травы, по которой скакали вы, кузнечики моего поля.

Тело мое шарахнулось, но я удержал его, чтобы поговорить с тобой, мой друг. Я, похоже, жалуюсь тебе, похоже — письмо тебе пишу: почти все так делают, потому что всем есть о чем пожаловаться; письма рождаются, как и необязательные встречи, из верной или неверной оценки своего одиночества. Но ничего плохого в этом нет, тем более что хорошего нет и в устном сотрудничестве людей, которым нечего сказать друг другу.

Мои пальцы на розовом полотенце показались мне неживыми по сравнению с мерцающей живизной материи.

Губы, радостно приоткрытые с белками жадных глаз, устремленных в первородство розового цвета, влажный оскал зубов, я захлебываюсь, даже еще не прикоснувшись к ним языком, и тут же сахарно-мраморные скулы, и самое страшное... Опять же сочно-белые яблоки ее глаз, гладкость и влажность которых может сравниться лишь с преступной неприкосновенностью дрожащего, как бутон, мужского члена...

Ее глаза — суть моего взгляда, его осязаемое предсердие: сердце же мое — она вся, которую не охватить взглядом.

Стукнула входная дверь. Здесь, в ванной, этот стук, как гром за окном, или — страшнее — маленький взрыв в квартире. Может, это жена вышла, чтобы вынести помойное ведро?

Нет, это я вошел.

Это был воистину дивный день моего преступления. Я специально ушел с работы пораньше, зная, что у тебя, Серега, отгул, а она, твоя жена, заморочила мне с утра голову своей выпавшей зубной пломбой, и она идет к врачу, и что врач хороший, и что он делает все как надо. Я сразу догадался, кто этот врач и как он будет лечить.

Нажав на длинный ригельный ключ, который одновременно проделывал движение в глубь Иркиного влажного входа, я открыл входную дверь.

Мои сандалии тут же договорились с вашими и стали добрыми соседями. Даже цвет их совпал: между до и после — умопомрачение... но такой цвет.

Я прижался спиной к стенке и застыл. Потом я переместился и занял своей спиной стенку, принадлежащую вашей двери, за которой слышались ваши приглушенные голоса... Я сглатываю, пытаюсь утихомирить собственное сердце и свое шумное дыхание: там, за дверью, словно в музее хранится весомый эталон человеческого нетерпения; он лежит там почти бесшумно. А посмотреть на этот эталон можно лишь через отвратительную замочную скважину.

Хитро изготовленный второй план! В него войти нельзя... В полдневной тишине что-то выпало из меня и гроыхнуло. Взглянул: на паркете билась рыбина, стуча хвостом и открывая жаждущий рот. Это смеялось надо мной мое собственное сердце. Я нагнулся, поднял рыбину и прижал к груди. Но благодарная больно ударила меня поперек живота, и я осел... Я хочу увидеть. Так посмотри, не бойся.

Дрожащей рукой я стал скользить по двери. Пот змеился по лицу, увлажняя белоснежный хитон; счастье древней Эллады — спокойно созерцай и ты не будешь уязвим; болезнь подглядывания минует тебя. Пальцы левой руки коснулись металлической оправы дверной скважины. Но не открыть же я хотел эту проклятую дверь..., а только заглянуть, заглянуть только.

Но какой бес не дает мне согнуться? В тридцать три года пора бы научиться владеть собственным телом. Плохи мои дела, если я до сих пор не научился сгибаться пополам; ведь на это способен каждый второй.

На улице, смирившись с мыслью, что ты подменяешь меня, я видел, как ты подпер голову рукой, согнутой в локте. Голый и жаждущий, ты смотрел в ту сторону, где стояла она. Мы смотрели и видели вместе. Ты был настолько голым, что я ощущал тяжесть твоей головы на моей руке, а бедрами чувствовал жесткий ворс дивана. Худенькая ее фигурка была изогнута изящно плавной линией — маленький официант с воображаемым подносом. Ее ноги в коричневых чулочках с резиночками-браслетами замерли. Я это точно видел: малышом я носил такие же чулочки с резиночками. А ты всегда ходил голым, не правда ли?

Я торчал среди обоевых цветов, как нечто, тоже неживое, а нарисованное. Цветы пахли ничем, но я все-таки зажужжал, как жужжит пойманный и заключенный в спичечный коробок шмель. Царапая доньшко коробка, я только так и мог дать знать, что я живой. Но поймав-

шие меня лишь весело посмеивались. А я цепенел от предвкушения свободы и тут же — от созерцания своих мучителей...

...Сейчас, вот непременно сейчас вы должны соединить свои чудесные тела, но не для того, чтобы сделать подарок этому свету, а так — для умницы природы — без жертвоприношения. Но что мне до этой идиотки природы, которая своевольно порождает как добродетель, так и зло: они, эти две фикции, — все одно — скрещиваются и порождают сумятицу... Хотя бы — преодоление невидимостей... Это грех. Но грех этот сильнее природы, Бога и тебя самого.

...Увидеть присоединение одного тела к другому: сначала трепетное полусмежение бедер, и тут же (так колесо покрывает рельс) — проникновение... И тогда одна пара глаз, смутившись, уходит от другой или, наоборот, — возвращается, чтобы приблизить некую бесконечность ошалелых зрачков...

...Видеть страсть любимого существа — почти участвовать в его умном, но скоротечном помешательстве. Видеть гримасу мучительного припоминания самого себя... вот сейчас вспомнится... вот сейчас... И уже видишь неосознанное шевеление пальцев, глупое и чуть брезгливое выражение лица... но не брезгливое, потому что дорогое тебе... запахнутость век, размеренность умных движений и — ах! — все вспомнилось: лицо искажается гримасой страдания, будто бы от удара... И река... и сад.

Ясно я чувствовал неодолимое приближение сада, хотя и топтал узкие тротуары Литейного: не было ни причин, ни знамения, но только в душе, мимо всего проходящего вокруг, высвечивался и постепенно материлизовался сад; сад-стихия, сад-бедствие...

...И я заглянул в замочную скважину и осознал, что такое сад-бедствие: деревце персика с его мохнатыми спелыми плодами, которое я осторожно ощупывал руками, но не желая сорвать их — они не для этого —росло в извилину солнечной вишни. Я тогда, помнится, попытался высвободить ствол персика, влажный от истекающей соком вишни, но из этого ничего путного не вышло: я грохнулся с подставленной лестницы на грядку пахучей клубники. Сначала я не заплакал, а когда заплакал, то уже бежал, весь в кроваво-клубничных пятнах, к собаке, милой моему сердцу. Я уткнулся в ее морду заплаканным лицом, и она, умница, слизывала мои слезы, побивая хвостиком по пыльной тверди земли.

Теперь в ванной я спокоен: я понимаю, что у каждого предмета есть второй план... Даже равнодушный взгляд из окна троллейбуса может проникнуть через твердь стекла в движение на трамвайной остановке, где передвигаются, как в маленьком театрике, люди. Затем, остановившись, взгляд обрывает подробности: окна соседствующего трамвайного вагона: равнодушные лица, вот наплечная сумка, какой мне так не хватает, вот красивая женская рука в белоснежной перчатке и многое малоинтересное остальное. Но сквозь стекла соседствующего трамвая видна еще и некая улочка со своим движением и со своими причудами в

виде вывесок на отлете, редкой «Победы» у телефонной будки и рискованно перебегающей дороге кошки.

Из окна, смотрящего во двор, wpłyваешь в мир сквера, где детки в рост Исаакиевского собора пьют поминальный вермут советского производства по своему неотмеченному ничем детству: глазами без мига — вверх: в окне напротив удается разглядеть обстановку чужой комнаты: диван, около дивана стол и зеркало в упор, в котором уместились: полудиван, полустол и половинка спины человека, который целиком стоит у тонкого стекла бельведера и смотрит на тебя. И ты отворачиваешь взгляд.

Бог ты мой! Чего только не создано на этом свете без твоего ведома?! И, казалось бы, жив человек, все ему доступно; ему бы только просуществовать (прожить), но ступил, бедняга, во второй план и — ой! (это человек ударился, и стон — ему больно...).

Только необыкновенные люди выдумывают второй план: это им удается. Но они никогда... Вру: они и только они могут постигнуть суть второго плана. Но только как театра...

А нам нужно восхищаться издалика.

Да, то был день! Я чувствовал себя большим и сильным, восхищенным и нетерпеливым: я видел себя с затылка до носков, в которых я остался (это почти босиком по древней памяти), как только вошел в квартиру.

Мой язык обругал меня — впрочем, невинно обругал — развратником, а глаз даже подмигнул: «Все в порядке, мой Бог!»

Еще в школе, движимые собственной неискренности в чувствах — я бы сказал, безалаберностью чувства, когда нежность нагромождается на все, что безропотно подчиняется ей, — одноклассники и одноклассницы (сначала одна девчонка, которая не хотела учиться, а хотела любить меня, а потом и мальчишки) обозвали меня зайцем. Прозвище мое подошло мне, по их мнению, как хорошо пошитый костюм, и они наперебой называли меня выдуманным именем. Они так и ждали удобного случая, когда их нежность не знала границ, чтобы припасть мне: «За-яц». Я был что называется красавчиком, фаворитом класса, а значит, тем избранником, который внегласно может приказывать думать о себе так, как ему хочется чтобы о нем думали другие. И, конечно же, мне уделялось больше внимания, нежели тем, кому прозвище давалось по фамилии (это в лучшем случае, а в худшем — по какой-нибудь очкастости, косолапости) или нерадивости.

Были и такие, которые (по закону пчел и цветов) осаждали меня своей нежностью. А я дрался со всеми: и с теми, кто любил меня, и с теми, кто пугался любви к единополому; последние всегда циничны, но всегда самцы и самки. Если же совсем просто — я любил только самого себя.

В изостудии — я занимался в ней полгода — нам как-то дал задание наш бледный, с ощупывающими воздушное пространство пальцами, пе-

дагог (сейчас я понимаю его, но тогда ненавидел); задание заключалось в том, чтобы как можно реалистичнее передать материал — гипс — голову античного бога из двенадцати олимпийцев — бог изобретений, открытый, воровства и ложной клятвы...

Вытянув руку с карандашом вперед, я отметил, что глаз Гермеса равен его губам. И, когда все вышли в коридор покурить (в изостудии висел осколок зеркала), я измерил сначала свой рот, а потом и глаз. Какая же радость обуяла меня тогда, когда все сошлось: размер моего маленького рта точно совпал с размером глаза. После этого открытия я больше не мог рисовать голову бога воровства; мне мешала собственная радость. И только через два дня я кое-как закончил свой рисунок.

Теперь же, то есть в ванной, а значит и тогда, когда я стоял в коридоре перед вашей дверью, я понимал и больше чем прощал своих одноклассников: они еще тогда нарисовали мое будущее, в котором я должен буду стоять, немея от восторга и растирая покрывшиеся вздорными пупырьками руки.

Все смешалось в доме Языковых, переместилось в стране великого Енисея: пала династия Иверии... и все это — мимо меня.

И только голые плечи и обои с цветами; сверкание бликов на неверном корабле, несущем меня к берегам Эльдorado.

Казалось, все: и стены, и двери, и маленькие носики, смотрящие вниз — на меня — выключателей, и худенькие побеги засохших проводов над головой — следили за моими осторожными движениями. Дай им Бог голос — и они завопят, предостерегая тех, кто даже не подозревает о моем присутствии, о моей непрофессиональной звериной поступи.

Я смотрю на свои пальцы и вижу их чуть трусливую настороженность: они будто существуют вне меня и царапают воздух, уподобившись обманутым зверькам за стеклянной перегородкой. Смотрю, как размечает циферблат секундная стрелка.

Если каждую секунду заполнить своим временем, своими интересами и желаниями (чужое время летит быстрее), то может показаться, что времени у тебя в запасе — до дьявола... Так представляется.

Но не зря же я ушел с работы пораньше. Черт меня... (уже взял).

Господи, задержи Маринку: пусть — где-нибудь в универмаге или в рыбном магазине — застрянет вместе со своими сотрудницами, пусть... с сотрудниками. Господи, Ты мне никогда не помогал... но сегодня сделай для меня совсем малое: Ты же знаешь, только Один знаешь, что сильным я могу чувствовать себя только тогда, когда я могу чувствовать себя слабым; когда мое сердце настолько же умирает, насколько живет. Я плохо верил в Тебя все мои годы, но в эти минуты сегодня я верую, верую, верую!

...И мой глаз был равен отверстию замочной скважины: он был равен всему на свете, только не второму плану, в который я не ожидал попасть.

...Родились те, кому надлежало родиться; погибли те, кому вовсе не следовало умирать; прошли, незамеченные никем, революции, ожили те, кого похоронили заживо за подписью.

Мой глаз зажелтел от пространства огромной микропустыни, на жарком и сыпучем теле которой выросла розовая колеблющаяся масса. Я зажмурился — что-то не так. Черт меня уже взял; на продольной желтизне дивана с прямоугольником, более чем желтым — почти красным — двигались две отвратительно холодные фигуры, напомнившие мне вдруг детство, когда моя бабушка раздевалась в украинской хате догола, не стесняясь меня, и прохаживалась, бахая пятками по дощатому полу; она шевелила жаркий воздух покачиванием бедер (бабке было тогда чуть за пятьдесят) и прижималась руками к воздушному кому-то... В хате было прохладно... Но от розовых тел несло жарким смрадом.

Это ли я хотел увидеть?

Наполненная мутно-желтой сыпучей тканью пустыня метнулась вправо — я чуть не упал — и затвердела, как и домишки, вдруг выросшие из ее глубины. Домишки стояли в одну линию, в затылок, так что в распахнутых дверях никто, кроме меня, не различил бы пространства комнат каждого из строений. Вот почему Сальвадор Дали появился на свет вместе со мной. Меня возбуждал Дали, но не порнографические малиново-серебряные эксцессы.

Я поднял полотенце, как знамя, но опустил его на голову, как тряпку. Наскоро обтерев себя, я стал превращаться в человека...

...Специально грохнувшись (не рассчитал — стало больно) головой о дверь... Нет, было не так: оказалось, что у меня три сердца — заныло справа, потом метнулось вниз, к паху (там все было приготовлено для боли), затем на место, где бывает у человека сердце.

Вытерпеть такое невозможно — я опять в горячей воде. Теща и жена кричат: «Что случилось?!» — «А я умертвел в свой день рождения». Вода выплескивается через край, я выбираюсь... Слезы.

...Перелетаю на дверную ручку, перепархиваю на крючок и легким помахиванием крылышек остужаю тельце.

Дурацкие слезы! Но я плачу, как маленький энтомолог, который нечаянно продырявил сачок. И он не может удержать бабочку в марлевой западне цвета давно прошедшего голубенького лета.

След их простыл. Я напился. Жена обиделась. И все.

1967 — 1987гг.

Елена ШВАРЦ

СТИХИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

ЗАПЛАЧКА КОНСЕРВАТИВНО НАСТРОЕННОГО ЛУНАТИКА

Из цикла «Геополитический трилистник»

О. Мартьяновой

О какой бы позорной мне перед вами не слыти,
Но хочу я в Империи жити.
О Родина милая, родина драгая,
Ножичком тебя порезали, ты дрожишь нагая.
Еще в колыбели, едва улыбнулась Музе —
А уж рада была — что в Советском Союзе.
Я ведь привыкла — чтобы на юге, в печач
Пели и в пятки мне дули узбек и казах,
И чтобы справа валялся Сибири истрепанный мех,
Ридна Украина, Камчатка — не упомянешь их всех.
Без Сахалина не жить, а рыдать найгорчайше —
Это ведь кровное все, телесное наше!
Для того ли варили казаки кулеш из бухарских песков,
Чтоб теперь выскребали его из костей мертвцев?
Я боюсь, что советская наша Луна
Отделится захочет — другими увлечена,
И съжится вся потемневшая наша страна.
А ведь царь наш отец, посылал за полками полки —
На Луну шли драгуны, летели уланы, крались стрелки,
И Луну притащили для нас на аркане,
На лунянках женились тогда россияне.
Там селения наши, кладбища, была она в нашем плененьи,
А теперь — на таможне они будут брать за одно посмотренье.
Что же делать лунатикам русским тогда — вам и мне?
Вспоминая Россию, вспоминать о Луне.

май, 1990 г.

ВОСПОМИНАНИЕ О МЫТЬЕ ГОЛОВЫ В ГРОЗУ

Поздний вечер. Глубокое темное детство.
В окне, как припадочный, билась гроза.
Седая чета мне голову мыла,

В тазу плавали в пене мои глаза.
 Они себя видели и закрывались.
 Старуха царапала, лил воду старик,
 Когда же гроза в диком реве вздымалась —
 Они замирали на миг.
 Но снова вцеплялись, терзали и терли,
 Гроза уж ворчала из дальнего леса,
 Когда утомясь, и ворча, и вздыхая
 Уснули два хворых и древних беса.
 И шелковые волосы скрипели,
 Ночь освеженная пролилась в щели,
 Пел соловей и старики сопели.
 В поруганной отмытости лежала,
 Догадываясь — где я, что со мною,
 И край заброшенный с печалью узнавала —
 Где черти чистят и гроза отмоег.

1991 г.

* * *

Светлая ночь. Меня окрестили во сне.
 Золотой священник главу покропил.
 Мнится ли, мерещится мне?
 Только крещальная лилась вода.
 Может быть звезды меня крестили,
 (Близко трепещут, дрожат в окне)
 И светляка на забытой могиле
 Чисто горящего, тоже во сне.
 Хоть я когда-то крестилась в огне,
 Но растворенное сердце забыло
 Прежнюю милость, и славу, и силу:
 Все же очистишь, омойся, как все.
 Звезды качаются, в землю скользя,
 Поп золотой исчезает вдали.
 Тихо подземные льются ключи
 Вины, заботы мои унося.

11 авг. 1991 г.

* * *

Ой-ой-ой!
 Я боюсь сидеть на стуле —
 Потому что он висит
 Над зияющею бездной.

Ай-ай-ай!
Я боюсь летать на ступе —
Потому что я люблю
Быть притянутой к ладони
Тяготенья и презренья.

* * *

По солнцу путь держи, по солнцу,
хотя оно уже склонилось
к болотцу низкому — в оконцах,
покрытых пленкой. Провалилось.
Легко пойдем и по луне,
во тьме играющим звездам
на барабане, когда оне
идут под землю навстречу нам.
В час между солнцем и луной
между звездой и звездным хором,
когда еще не пели птицы,
но в ожидании дирижера,
тогда вступаю на дорогу,
где нет ни севера, ни юга —
она ведет в селенья Бога
и ангелы бредут оттуда.
Она как радуга висит
через телесный злой овраг.
И в этот предрассветный миг
я успеваю сделать шаг.

МОИ МАШИНКИ

Машин нет в смерти ни одной.
Мне это очень, очень жаль.
На что мне радость и печаль,
Когда нет «Оптимы» со мной?

Или портной старинный «Зингер» —
В своем усердии собачьем
Все мое детство стрекотавший,
С отполированным плечом,
Похожий на мастерового,
О лучшем не подозревавшем.
Всю жизнь строчивший так смиренно,
Как бы для худшего рожденный
И с простодушными глазами,

Блестящими в прозрачной стали.
Без них блаженства мне не надо —
Без этих кротких и железных
И нищих духом двух существ.

1992 г.

СЛЕПОТА

Больше смотреть не хотят,
Иссмотрелись глаза.
Сквозь прозрачные глазные яблоки
Светят сами глазницы,
Не пустые и костяные,
А страшные белые звезды,
Которыми запечатан разум.
Не вбирает, а излучает зреньё
Все, что высмотрело —
Лица, дома
И рождает из себя звезды.
Светящиеся пауки,
На дне глазниц лежащие
Другим мирам, чужим глазам
Уже принадлежащие.

МЫШЬ

Мир кончился. всхлип. вздох.
тишь
но еще после всего —
пробегают мышь.
гул отдаленных труб
вой уже близок.
по Невскому мышь бежит —
нет, уже ее призрак.

GENIUS LOCI (РОСИЦА)

Белоруссия. Пустошь. Недалеко от границы.
Здесь было когда-то местечко,
но оно улетело, как птица,
все в нем шило, шипело, болело,
но.. немцы, время и ветер.
Ивы, полынь, ковыль.
Жила здесь бедная мышь
в развалинах нищего дома,

она была здесь тогда,
когда два старика умирали,
а в углу белела девчонка —
отпрыск их ветхого лона.
Мышь белела в другом углу
и смотрела в дитя из под век,
девчонка шептала, молчала,
потом убежала навек.
В солому закутав голову
как в молитвенной шали
мышь у камня сидит и ждет холодов
и сводит на груди концы печали.
Луна ей жует затылок,
жжет проплешину лунный взгляд —
вставай же, мышь, подымайся
и встраивайся в парад,
в котором идут приплясывая—
до края земли — и раз...
а пустошь — она останется
и золоченый глаз,
а мышке везде достанется
черствая корка и лаз.

окт. 1992 г.

ЗАРУБЛЕННЫЙ СВЯЩЕННИК

В церковь старушка спешит,
(неприменно надо согбенную),
Ворона кричит через размокший снег,
Со слезой радуется
Здесь навек человек.
Тает в углу мертвец
С молитвой ко лбу прилипшей,
Может впечатается в кость
И отпрянут духи под крышкой.
Священник, погибший при начале конца,
Похожий на Люцифера и Отца,
Немного светский и слишком деятельный,
Но избранный в жертву — (назло чертям?)
Может кровью своею — верите ли?
Пропитает ворону, старушку и храм.
Снег не просыплется больше в юдоль —
Разве снизу пойдет — от земли — в январе?

Наша скоро утихнет боль,
Но выступит соль на топоре.

1992 г.

ГРОЗА НАД ПОЛЯНКОЙ

На войлочных подушках скабиоз
Как будто много черных слез —
На каждой горсточка шмелей.
Стрекоза (голубые огни в прозрачной ее голове)
Она жметя к земле
Пред грозою и тает в высокой траве.
Вдруг тихий жуткий ветерок
Повеял с юга,
Как мысль о смерти друга.
Прокатилась дробь в небесах,
Листья сразу поникли на низких кустах.
Прокатилась дрожь по травинкам,
Стоят как бесплотные тени,
Побледнел иван-чай,
Побелели душица с вербеной.
По небу волокли сундук,
Как будто там собирались в путь,
Опрокинули ржавое ведро,
Выплеснулась малиновая жуть,
И я была тогда — как шмель, как дробность,
Как лета этого подробность
И молнии серебряный язык
Лизнул мне сердце в этот миг
И улыбнулось оно дико
И съела, съела меня
Багровая земляника.
Сток лета покотился дальше
Теряя мошек, птиц, букашек,
Забвенье, плющ и повилику
И чавкающую землянику.

1991 г.

В ИЗМАЙЛОВСКОМ СОБОРЕ

Странный ангел в церкви дремлет,
За спиною его сокол,
Он ему шептал все в темя,
Тюкал, кокал, не раскокал.

Что ты! Что ты! То не сокол.
За спиною его крылья —
Они веют, они слышат,
Они дышат без усилья.
Нет, не крылья, нет, не крылья!
Это упряжь, вроде конской,
Или помочи младенца.
Эта упряжь — милость Божья.
За спиной у человека
Тож невидимо возрастают,
Опадают и взлетают —
Будто пламя фитиля.
За спиной твоею крылья
Нет, не крылья. То не крылья.
Это — сокол — мощный, хищный.
Он клюет, плюет мне в темя,
В родничок сажает семя.
Этот сокол — сам Господь.
Сам, Благославленный, хищный.
Он нас гонит, он нас ловит.
Будешь ли святою пищей,
Трепетливой, верной жертвой?
Съеден — жив, а так ты — мертвый...
Так мне снилось, так мне мнилось
В церкви, где среди развалин
Служба шла, и бритый дьякон,
Как сенатор в синей тоге,
Ангела толкнув убогого,
Отворял нам вид на грубый,
На некрашенный, без злата —
На честной и простой Крест.

1990 г.

УРАГАН

*Ураган пронесся над Лондоном, бушевал в Гамбурге
и, постепенно стихая, умчался на восток.*

(Из метеосводки)

Это только последки того урагана,
Что Гамбург и Лондон терзал,
К именам их, скорей, прижимаясь,
Чем шаря по их камням.
Все-таки... В Лондоне, может быть, где-то

В воздухе спрятана все ж
Та половинка разбитой монеты,
Что ты, Ветер, в Тибете найдешь.

* * *

То, чего желали души —
То сбылось —
Морем крови прямо в уши
Пролилось.
Жизнь стала тоньше, дуновенной
И невозможней, чем была,
Чтоб хаоса не испугалась
Кругом стояли зеркала,
В них отражались мрак и пламень,
Над мертвой пропастью полет,
Но бездна бездну не узнает,
Как человек не узнает.

1992 г.

ГРОБ ГОСПОДЕНЬ

П.Р.

Рыцарь, засыпая на пути,
Полусидя под деревом,
Видит на латах своих
Город,
Затемненный крылом подступающих снов
И сарацинским плененьем.

Муха ползет в уголке
Его запекшихся уст.
Умрет он за гроб Господень,
Который пуст.

Это и хорошо,
В этом-то наше спасенье,
Вот он — свежий шов —
Земли и неба стеженье.

Я, засыпая, вижу
Рыцаря, а за ним —
Темный, вскипающий, круглый,
Зубчатый Ерусалим.

Да. Добраться бы, долететь,
Доползти — к той светлой пещере,
И все сердце собрав свое в веру,
На мгновенье (долгое) умереть.

Уснуть — и снится мне спящей,
Со свечой — в сердце горячей,
В охающей, предстоящей
Тьме —
Рыцарь, внутри лежащий,
Как слово дрожит во мне.
Собирается жизни гроза,
Давит смерть, иссыхая, парит.
Мертвые открываются глаза —
О зажмурься! — Воскресенье ударит!

В МОНАСТЫРЕ БЛИЗ АЛБАНСКОЙ ГРАНИЦЫ

Енисе Успенски

Я подняла глаза, увидела изнемогающую Венеру,
Сочащую любовь в пространство,
Над снеговой горою мгlistой,
Албанию укрывшей грузно,
Над ней рассвет уже дрожал
Внутренней коркой арбузной.
Там — тьма, Албания,
Здесь — православный монастырь,
Где розы, нежась, увядая,
Склоняются себе на грудь.

Хотя охота — ох мне спать,
Но колокола звон негромкий
Льдяными четками внутри,
И через сад иду в потемках
Чудесной среди роз дорогой.
Скользят монашки каждый день и час
В пещеру ледяную Бога,
Между камней развалин древних,
Вдоль одинокой колокольни,
Меж роз, белеющих чуть в алость.
Такая чистота и жалость,
О розы, раните вы больно!
В живом пронзающем морозе
И я колени преклоняла,

Молясь пречистой вышней Розе
Об увядающих и малых.

Благодаря, что век не скончился мой прежде,
Чем глаз породил эту гору,
Выдох — утреннее мерцанье,
Тайный страх — мусульман за стеной,
А внутренний жар грудной —
Храма мороз блаженный.

Поют, бормочут, молчит
Инок в черную сжатый дугу.
Господи, я ведь люблю
Больше, чем я могу —
Гору эту в снегу,
Розу эту в песке,
Кровь свою на бегу,
Тебя в неизбывной тоске.
Вот Ты привел, я пришла
К телу Албании дикой,
Чтобы и в странствии духа
Тоже увидеть, услышать могла
Грохот и скрежет горя, греха
За невидимую горою великой,
Чтоб в чужедальности я увидала
Воинство неба плечом к плечу.
Господи, я ведь люблю
Сильнее, чем я хочу
Эту луну из-за гор,
Чужих людей, заиндивевшую розу в песке,
Пенье из старческих горл
На чужом, как в гареме сестра, языке,
Сильную гору в снегу,
Запах утренних звезд,
Сильный и в близости роз
И съедающий кожу мороз
И мусульман за стеной
И ангела здешних мест
И Того, что везде со мной.

ноябрь, 1991 г.

Илья МАКАРОВ

«АДМИРАЛ МАКАРОВ»

1.

Я работал тогда врачом на Сахалине. Она ехала поездом, затем кораблем, чтобы найти меня. Сахалинские сопки необычайно красивы. Я поселился в доме, где жил А.П. Чехов. Работал в основном по ночам. Утром на сопки открывался удивительный вид. Я ходил, любовался. Если бы я знал, что она приедет, я бы встретил ее. Корабль назывался «Адмирал Макаров». Однажды утром я, как всегда, закончил работу и уснул. За окном красовались сопки, украшение Сахалина. В это время она тряслась в поезде, но тогда я этого не знал. В четыре часа я, как было заведено, проснулся и поел. Вечером меня ожидали книги, ночью — пациенты. В тот вечер все шло как обычно. Пациентов было мало. Я закончил в три часа ночи.

— Рано! — сколько мне помнится, сказал я себе.

Я лег спать, но проснулся по военной привычке приученного организма в четыре часа. Работа отнимала у меня все. Когда-то я служил на «Адмирале Макарове». Штурман указывал мне на недостатки. Он часто блевал. Анатолий Всеволодович никогда не ставил мне ничего в вину. Он был здоров как бык. В тот вечер я читал рассказ Чехова с непримечательным названием.

— Раз поселился в доме — читай, — сказала мне хозяйка, когда я прибыл и по-военному отдал под козырек. Она была дура. Я с ней спал. В рассказе говорилось о том, как один врач встречался с девушкой на кладбище. У них почему-то ничего не вышло, и врач со злости стал кричать на больных и стучать палкой. Я это очень хорошо понимаю. Ко мне приехала моя жена и отняла у меня повествование.

2.

Здравствуйте! Меня зовут Елена Сергеевна, я жена Павлика. Мы познакомились с ним в июле прошлого года в подмосковном пансионате. Мне незачем скрывать, что я каждое лето бываю в этом пансионате. Такова специфика моей работы. Не знаю почему, но я полюбила Павлика, хотя все настойчиво меня отговаривали. И Клара Степановна, которая курила длинные женские сигареты, хотя у нее был инфаркт, и сейчас она, фактически, мертва, и Макар Викторович, связанный со мной тесней, чем мне бы того хотелось.

— Милочка! — говорила мне Клара Степановна.

Но все это в сторону.

Детство я провела в одной африканской стране, которой сейчас и не сыщешь на карте. Это, собственно, и определило мою дальнейшую работу. У меня не было выбора. К отцу просто пришли и сказали, что так и так, в противном случае дело кончится плохо. Отец был старый интеллигент, суровой закалки, и он понимал, как может кончиться дело. И он умер. И у меня не было выхода.

Павлика я встретила впервые при следующих обстоятельствах. Однажды он зашел в мой номер. Вошел без стука, словно к себе, словно к другу. Вошел, плотно закрыл дверь, повернул ключ и сунул себе в карман. Я сохраняла спокойствие и ждала, что он сделает дальше. Я предчувствовала что-то необыкновенное. Павлик подошел ко мне — с таким открытым лицом — и спросил:

— Знаешь, что я сейчас сделаю?

— Догадываюсь, — сказала я.

— А знаешь, за что я это сделаю?

— Догадываюсь, — сказала я.

После этих слов он должен был сделать что-то, но вместо этого сделал несколько незначущих жестов и отошел к окну. Мы закурили.

— Ну почему?! — вопрошал меня весь побелевший Макар Викторович. Это входило в его обязанности. Вскоре я порвала с ним и со всем, что меня с ними (я имею в виду их всех) связывало. Павлик помог мне.

В детстве я боготворила отца, но он был очень сдержан со мной и предпочитал мне сына, моего брата Георгия. Я не знала, что такое отцовская ласка, а мне очень этого хотелось. Помню, мне было уже четырнадцать или пятнадцать лет, а я ночью, украдкой, забиралась к нему под одеяло и гладила его. Если он просыпался, то жутко кричал, и один раз даже ударил меня. Но просыпаться ему удавалось не всегда, особенно под конец, когда я уже приспособилась. Вы только не подумайте ничего: ничего не было. Мне не хватало элементарной ласки.

Брат Георгий получил от отца все, что тот мог ему дать. Он теперь писатель. О моем образовании отец не заботился. Однажды он застал меня плачущей над книгой. Он стал выяснять в чем дело, а выяснив, нахмурился и запретил мне читать. Это были древнегреческие мифы, миф о Мирре. Его слово было для меня законом. С тех пор я не читала.

Иногда Павлик просто не может связать двух слов. Мне становится страшно. Он начинает заговариваться и все время бредит одним и тем же: он врач, живет на Сахалине, а я якобы еду к нему. Никакие слова, что я здесь, никуда не еду, не имеют действия. Я беру его за руку, кладу ее себе на грудь, бедра, колени, наконец отдаюсь ему — он говорит, что поступает нехорошо, что к нему едет жена, называет меня «хозяйюшка». Через какое-то время (это может быть час, месяц или год) он вдруг

узнает меня, радуется как ребенок и зовет «Леночка». Это важно. Я не знаю, кто такая Леночка. Мне, в принципе, все равно, будет ли он называть меня при этом «Леночка» или «хозяйюшка».

ГЕОРГИЙ

Я писатель. Все, что было сказано, плод моего воображения, не более. Мой незаконный отец — известный дипломат В*** Е***. Он же — законный отец известного писателя В*** Е***, автора известного романа «Р*** К***».

Всю жизнь я завидовал ему, своему брату, я не мог понять, почему у него есть все, а у меня ничего нет. Правда, иногда отец встречался со мной, делал подарки. У него всегда при этом был крайне неловкий вид. Мне было жаль его, и это единственная причина, по которой я не швырял ему подарки в лицо тут же.

Я придумал себе собственный мир. Я хотел, чтобы его населяли добрые и порядочные люди, чтобы там царила справедливость. Но вопреки моей воле в мой мир проникли сумасшедшие и злодеи. Моя сестра Лена вышла замуж за героя моего рассказа, идиота.

Когда мой брат стал писателем, я понял, что это моя судьба. Я сделался сочинителем и в короткое время покорил мир. Но мне не это было нужно. Важнее было то, что я взял псевдоним — имя и фамилию своего брата. Мир прославлял писателя В*** Е***, а этим писателем был я. Месть совершилась, другого я не желал.

Но жизнь под другим именем оказалась сложнее, чем я предполагал. Однажды я посмотрел на себя в зеркало и понял, что это другой человек. (Писатель В* Е*?). Я пошел к нему. Он отправил меня обратно.

— Уйду, — сказал я, — но прежде разреши вопрос.

— Какой вопрос?

Я сказал. Он рассмеялся мне в лицо и объяснил, что я — его выдумка. Я не понял. Он повторил. Я опять не понял. С тех пор я отказываюсь что-либо понимать. Все, что вы сейчас говорите, мне не понятно. Все, что здесь написано, я не понимаю. То, что я сказал только что, я не понимаю. То, что я сказал только что, я не понимаю. То, что я сказал только что, я не понимаю. То, что я сказал только что, я не понимаю.

То, что я сказал только что

То что я сказал только что

то что я сказал только что

то что я сказал что я сказал только то что я сказал

АНАТОЛИЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ

Когда штормит, корабль сильно раскачивается. Штурман Степанов снова пьян. Полгода назад было все то же самое. Новый пассажир утверждает, что он Антон Павлович Чехов. Его зовут Илья Бражников. Штурман Степанов, когда напьется, бьет его до полусмерти. Штурман Степанов пьет каждый день. Год назад было все то же самое. Илья Бражников — новый юнга. Старый юнга Павел Сычев сошел с ума. Штурман Степанов, когда напивался, избивал его до полусмерти и довел до сумасшествия. Три года назад было все то же самое. В понедельник возьму курс на зюйд-зюйд-вест. Павел Сычев лежит теперь в кубрике. Он говорит, что он писатель Виктор Ерофеев. С ума сходит каждый день по-своему. Триста лет назад было все то же самое. В пятницу штурвал вырвало из рук. Сычев ожидает приезда жены. Степанов говорит, что его жена — обезьяна. Бражников твердит, что он всех нас выдумал. Не забыть сказать Степанову, чтобы выбросил его за борт. Двести лет и все всегда одно и то же.

ИЛЬЯ БРАЖНИКОВ

Я родился в 1970-м году. Все перечисленные лица и события не выдуманы, это случилось на самом деле. Школу я окончил в 1987 году. Остальные подробности — потом. Прототипом Елены Сергеевны (Леночки) послужила девушка, которую я любил, но имени которой не помню. Прототипом Макара Викторовича послужил я сам. Павел Сычев и Павлик — это тоже я. В доме А.П. Чехова проживал я сам. А.П. Чехов — это я. Писатель Виктор Ерофеев — лицо вымышленное. Писатель В*** Е*** и его отец — несуществующие двойники.

Главный герой моего рассказа — капитан судна «Адмирал Макаров» Анатолий Всеволодович. Он до сих пор служит на флоте. Теперь он управляет двумя кораблями.

Главные темы этого рассказа и моего творчества в целом вы видите. Все свои недостатки я знаю и исправлю их в следующем рассказе. Темы для нового рассказа подскажет мне жизнь. Если вы хотите стать героями моих новых рассказов, вам надо со мной познакомиться. Мой телефон: 971-40-14. Меня не бывает дома, но мама все передаст.

Merci.

19 ноября 1990 года.

Примечание: штурман Степанов умер.

Е. ХАРИТОНОВ

СЛЕЗЫ НА ЦВЕТАХ *

Вот только что, вот оно было это время, и все испарилось, группы перегруппировались, настроения ушли и друзья раздружились.

Уже другие формы жизни на свете и мне их поздно узнавать. ПТУ, Вокально-инструментальный ансамбль, Шведская семья. Обступила жизнь, где мне нет веселого места. Молодежь мне скажет: вы нам уже неинтересны, но для понимания нас вы отлично подходите. Так что давайте, мы будем вам показывать свой гений, а вы давайте понимайте. А когда подойдет, наконец, мой выход, они разбегутся или вежливо останутся. Причем, разбегутся, как раз т е, а останутся не т е.

Я, когда я старик, я не люблю всего нового. А то чего-то там наизобретают, все чтобы нас отменить.

Цветы отвернулись от меня, хотя я посадил их к себе лицом, и повернулись к Солнцу. А я к нему во втором ряду.

Пошел я как-то посидеть к себе на могилку. Съесть яичко за свое здоровье. И вижу. И что же я вижу. А ничего не вижу. И видеть не могу. Только слышать. И нюхать. И нюхаю я: летит ко мне цветочек, лапками машет. Здравствуй, мой миленький цветочек. Чего ты от меня хочешь? А хочу, говорит, от тебя всей твоей жизни. На, возьми мою жизнь и отдай мне всю мою смерть. Тут я и умер, и он на мне вырос.

Для жизни не хватало ритма и сил. Хотелось неподвижности и оцепенения. Только и искал угла, где бы присесть, медленно посидеть, покурить и не двигаться, вытянув ноги. А то и протянув. Конечно, всегда была иллюзия, что стоит по-настоящему влюбиться и в этой любви будет надежда, — и я загорюсь, заживу, вспыхнет мой настоящий необыкновенный темперамент, он, дескать, только тогда разыгрывается, когда что-то настоящее ему подворачивается. Конечно, настоящее особенно не подворачивалось, а чтобы его заполучить, надо было бы за него сражаться, уметь, чем его заинтересовать, но — я этого не умел, потому что

* Редакция выражает признательность за предоставление этого рассказа А.И. Сидорову, издателю, редактору и составителю журнала «Литературный А-Я», где впервые были опубликованы произведения Е. Харитонова.

тратил все время на сосредоточение в письме. Но и в писание ушел, потому что жизни на ногах, физкультуры не получилось бы.

Дружить можно было, в основном, с девочками. Где нет грубых нравов и драк. Я боялся перемены в школе, когда толпа неотесанных, свирепых, бездушных, нечутких, душевнонеразвитых подростков кидается в потасовки друг с другом, жался к стенке и закрывал глаза или не выходил из класса.

(Будем распутывать цепь причин и следствий или поймем что причина не в причинах?) — и вот писатель все больше и больше отъединяется от всех, все глубже и глубже заходит в свой тупик. До свидания. Желаю и вам найти свой тупик.

Неужели в моей жизни все исчислено и известно. И неоткуда ждать ч е г о - т о. А для этого есть свежие и молодые. А мне пора ворчать.

— Вы любите ворчать?

— О, я ворчу как Бог. Подождите! не уходите! я еще на вас не наворчал.

Сегодня мне стукнуло 100.

Все что можно сказать, я уже в жизни сказал и подумал.

Да, поэт может немного сказать и говорит все время одно и то же. Ужас читать полное собрание его сочинений. Ужас, кажется, сколько можно об одном и том же!

Да,

что ни говори, а цель одна, пробиться к честному слову. И это сладчайшее счастье. Сказать правду-правду.

Однако зерно неправды в каждом из нас. Все из-за того, что приходится из осторожности друг с другом поддерживать добрые отношения.

Я дотронулся до нее едва-едва, чтобы она, не дай Бог, не стала ко мне прижиматься в ответ. Но все же дотронулся, из человечности, видя, какими глазами она на меня смотрит, как она этого ждет. А она, наверно, подумала, что я просто не из тех, кто любит грубо тискать. А я так дотронулся даже не из человечности. А чтобы не потерять ее расположения. Чтобы не увидеть открытого нерасположения в ее глазах. И холоду за то что не дотрагиваюсь.

Немного задевает, когда какая-нибудь девушка ходила-ходила за тобой, считала тебя за божество, считала за честь проводить тебя, попроситься в гости и вдруг в момент отошла. И хотя до этого она тебе, может быть,

докучала, тут тебе снова хочется продлить эту жестокую с ней игру. Жестокость игры в том, что ты и вежлив, и участлив с ней, а ведь все это для нее не то. Что ты с ней по-дружески; а на самом-то деле вся дружба затем, чтобы удержать ее от дерзости, от прямоты, а ей уж давно этого хочется, сознает она или нет, чем так тянуть. Бедная девушка! Ведь она привыкла до сих пор, что с мужчинами, с парнями, с мужским полом надо держать себя уворачиваясь, не позволяя им чего-то, надо быть гордой, иногда подать надежду, потом, когда он разожжен, снова стать неприступной. А тут вся наука, которой она с детства училась, от мамы, может быть, и от подруг, в которой она должна быть умнее любого мужчины, оказывается, в этой немужской науке он превосходит ее и ей самой приходится звонить, намекать чтобы ее позвали в гости, самой стараться сесть рядом! И ее путают; ей доброжелательно улыбаются, но это совсем не то, не та улыбка. Оказывается, но этого она пока не может понять, хозяин ее позвал потому, что она не одна пришла, а с подружкой и еще с мальчиком из кружка, и все потом ложатся спать порознь. А она, может быть, еще надеется, что это такая порядочность воспитанного хозяина. Все, что происходит, ставит ее в тупик. И когда наконец ей кто-нибудь объяснил в чем дело, и у ней в душе осталось незаживающая рана, но чтоб она скорей затянулась, она решает больше не ходить в кружок и при нечаянной встрече с вами в метро держится, конечно, приветливо, спрашивает о жизни, но чуть-чуть раньше чем надо говорит до свидания. И вам не то чтобы досадно, но хочется продолжить эту игру, хочется вдруг, такое нехорошее желание, чтобы она по-прежнему была влюблена в вас, вас как-то это не то чтобы задевает, но как-то чуть-чуть жаль за себя, что вас могли разлюбить. И вы даже думаете иногда, как бы ей позвонить по какому-нибудь подходящему поводу, как будто по делу, чтобы она чуть-чуть вострепелась, и чтобы снова после этого искала случай позвонить вам, а вы бы снова, разумеется, держали разговор, как всегда, в рамках человечности. Хотя это жестокая человечность. Но вам нравится, что она никак вас не может подловить, в чем этой человечности жестокость; хотя это чувствует. И в то же время не видит, в чем тут можно вас уличить; потому что внешне одна приветливость.

Но раз еще эта игра может меня занимать, значит, я не совсем потерял интерес к людям. И к жизни.

Конечно, обычная женщина, которая должна быть около вас, это влюбленная в вас женщина, которая все про вас от вас знает и вы можете с ней переглядываться по поводу юного красивого и глупого телефониста; мальчика-певца (там у него в голосе нежное мяско или маслице; у него голоса больше, чем горла; хотя все равно цыпленочек); мальчика-прохожего; мальчика из бюро услуг по ремонту холодильников. И как вы не перегляднетесь с ним своим ровесником. Которому надо переглядываться с другом по поводу проходящих женщин-лошадок. И однако все же

важно, приятно, что эта ваша близкая-близкая знакомая, так хорошо понимающая вас и все ваши настроения, все же в вас влюблена, и при этом, конечно, готова любить платонически. Хотя все равно лучше не оставаться с ней наедине. А вот когда вы с ней вдвоем на людях, где она сумеет прочесть и понять все ваши взгляды на других и все ваши настроения; например, вы говорите с молодым человеком, пришедшим к вам в кружок; какие-нибудь забавные мелочи в разговоре, когда видно, как он вам нравится и как он вас не понимает; когда нужен зритель вашей черной улыбке; слушатель вашего тонкого замечания, одного какого-нибудь оброненного вами удачного тонкого слова, в котором выразится весь ваш особый опыт. Отлично понятный ей и непонятный ему. Лучшего оценщика, чем она, вашим печальным островам вам не найти.

Какая нужна она. Уж если на то пошло. Ну, во-первых, чтобы не интеллектуальная. Не женщина-друг, которая все понимает не хуже тебя. Как можно с такой что-то делать! У которой точно такой же ум. Надо чтобы его у нее не было. Тогда еще что-то можно. Ее понукать. Ей командовать. Ее ругать. Даже, может быть, поколачивать. И вот за это полюбить. Надо чтобы она была небольшого роста. И неэмансипированная! И молодая, конечно. И дура. Чтобы можно было прямо сказать ей — ты дура. Чтобы она спрашивала про все: а это сделать так или так? И чтобы когда делала это, то чтобы пела. Тихонько чтобы напевала, не мешала.

А если только к ней уважение человеческое, это конец. Как можно человека, если к нему вежливое отношение и понимание, как можно представлять себе его голым и снизу. Это прям какое-то надругательство над ее достоинством над людским.

Мой пониженный жизненный тонус заметил еще С. в 1961г. Так что же говорить о теперь. И это складывалось и в школе на физкультуре и в координации. Почему у меня никогда не выйдет свинг. В людях свинга упругость, они чувствуют пульс и еще через него и вокруг него пропускают различные ритмические фигуры. Дай Бог еще ровные-то доли удержать. Аритмичному мне.

А в композициях я стремлюсь по капле собрать побольше, чтобы получилось зрелище тугой насыщенной скрученной в комок концентрированной уплотненной жизни в утешение себе и показать людям, как я круто напряженно упруго как будто живу.

Бывает искусство дробное, много-много кусочков, все подклеены один к другому и во что-то соединены; набрать разрозненных кусочков и туда еще что-то навставлять. А то выдох! песня! как-то так — ах! и все, как-то одним махом — и вот это талант; а то, первое, тонкость, пусть;

да, это можно одев очки рассматривать или внимательно-внимательно прослушивать, что здесь прослушивается. Но талант это ах. Талант подхватывает вас и несет на крыльях.

Там — о! там оно вас срывает с места и зовет с собой в бой или в любовь. Там вас подмывает подпеть. А тут подпеть нельзя и не придет в голову; но заворожиться, тонко заслушаться. Тут надо чтобы прислушиваться к тихой и отдаленной-отдаленной музыке, а там почти что зажимать уши под ея напором, или сказать — а, бери меня! Тут надо взять и бережно рассматривать листок со словами, а там — о! там со слуха запоминать и хлопать по себе кулаком, ай, как ты все так сказал! и присоединиться.

Тут что-то такое, диковинка, должно завораживать, как жизнь рыбок в аквариуме. Вот, мол, какая разновидность. На это смотрят или слушают как на что-то от себя отдельное. А там что-то тебя захватившее в круг, заражающее, исторгающее слезы, заставляющее танцевать и петь вместе. То обращено к людям, а это отделено от людей, само погружено в свой дивный потаенный узор и должно заколдовать людей, глядящих на него сквозь стекло. А то срывает людей с места, заставляет биться сильнее сердца. В это надо проникать, и удовольствие сам процесс чтения и проникновения. А там оно само в вас проникает, хватает, пронзает и тащит с собой; а потом, может, и кажется пустым.

Заход в поп-культуру. Сколько раз я мечтал туда зайти. — Уж если и разлюбишь, так теперь — так! теперь! — С этой грубостью не сравнятся никакие тонкости. Только у меня отпела Пугачева, и окон за 10 она запела.

Нет любви сладкой, с замиранием, невозможной. У привередливого меня. Квартира есть, вечер есть, лето есть, молодости есть немного, а гостя хорошего нет. Так и останется то воспоминание о 4-х месяца. Все более и более неправдивое. Забывающее, что и тогда было не то. Нет, нет, то, уж это-то мне оставьте, думать что было, и оно было. Только вот мешало писанию и никак не соединяло в моей жизни одно с другим. Потому что с писанием моего рода ничто, что мешает жить одному, не соединится. Только если завести кошку и заколдовать в 17-летнего десятиклассника. В меня (но покрасивее).

Я бы поставил ему блюдечко на кухне, водил бы гулять по утрам. Он бы скребся в дверь, встречал меня, лежал бы калачиком у меня в ногах, когда я пишу эти слова. Я бы ставил опыты на его теле и снимал показания со своего сердца.

Мне нужен младший брат, которому нужен старший брат.

Послышалось, как открывают дверь, и вошел я. Я подошел ко мне, мы обнялись сухими осторожными телами, боясь быть слишком горячими и налезть друг на друга, такие близкие люди, знающие друг про друга все,

настоящие любовники. У нас с ним было общее детство. Только не может быть детей.

Я однажды попал из одного мира в другой. И так живу на разрыве двух миров. Мир семейности, верности, забот обо мне, и мир бессемейности, неверности; и заботься о себе сам.

Ужас. Старость впереди. Там вообще старики похожи на старух, а старушки на старичков.

Что-то (Известно Что) удерживает от того, чтобы делать дело якобы хорошее и успешное; надо чтобы в жизни ничего не было, никаких успешных дел и притертого круга людей, и тогда! и тогда!

Только тогда в душе то, что надо. И та бледность у себя на лице. Несмотря на красное пятно на носу, например.

А если бы, то все. Жизнь бы пошла по другому пути. Но бы не бывает. Потому что тоска это мой дом.

Да нет, для меня счастья нет, я не умею его чувствовать. Мне все время зачем-то видится его изнанка; а ни к чему; и раздражаюсь, что знаю что ни к чему; и знаю, что не все надо знать, а все равно знаю.

Вчера, кажется, совсем подошел к тому, что надо, и нет, сбил наукой.

О, мой бес. Когда же она от меня отступит.

Все формы, все соотношения между предметами, а какие (именно) предметы, ей все равно. Все функции и схемы. Может быть тут дух и есть, но души-то нет! И сердца нет. Если сердце, надо чтобы оно к чему-то приросло. И не к чему-то, а вот к чему: кто ты, что ты любишь, от чего плачешь, от чего закрываешь глаза от счастья, чему тебя ребенком учили, как баловали в детстве.

Человек должен к чему-то прикрепиться и разделить какую-то веру. Да не к чему-то, и не какую-то, а вот эту, и к тому-то. Нашу веру, и к нам; а если какую-то, так и катись, например, к Чорту. А с нами Бог. Да не например к Чорту, а к Чорту. А с нами Бог. Бог, вот этот, не какой-то. Я не математик!!!

Сохранить нацию. Сохранить народ. А почему обязательно сохранить? Почему не допустить вливания новой крови? А не будет ли при этом вырождения и замыкания? Почему так каждая особь и личность хочет сохраниться? Таков закон? Во всяком случае, если и есть еще над этим законом закон, что особь должна быть разомкнута для обмена веществ, до этого закона над законом мы не собираемся подниматься, а должны, повинуюсь лишь инстинкту, он же закон сохранения себя, не допускать

разрушения себя. Так, если понимать умом. И сердцем. (Не зря же в нас вложена Богом юдофобия.)

Надо было быть военным. И солдат каждый год новых набирают. И за Родину. И устав не тобой сомнительно придуман.

Ничто так не разгорячает, как ловкие движения молодых людей, как они скачут, бесятся, повисают на перекладинах, кувыркаются, у них задираются маечки, сползают штаны до копчика, рекорды их юной горячей энергии. Там где здоровье-и молодость, там война!

Представление о счастье.

Это пойти, например, в баню и просто и легко познакомиться. Но к сожалению, не умею, не знаю, как завести разговор. Тут надо уметь хитрить. А не так как я когда-то в 19 л. На вокзале подошел и честно попросил одно приятное божество на чемодане. И он воспринял меня как больного. А надо с хитростью и с подходом. Что противоречит Душе Поэта. Но как, как? И нужно не слишком-то заноситься, разбираться, не слишком-то вникать в него, а как это он подумает — с чего, мол, это он со мной заговаривает? не надо бояться, что он грубо ответит или усмехнется, не надо бояться обжечься. Помнить, что завоевывание, ухаживание дело не барское, требует и изворотливости, и некоторого заискивания, и, может быть, обыкновенных расхожих пошлых слов, и надо знать, чем люди сейчас живут, надо уметь поддерживать разговор, а то что же. Вон Б. как умеет их обрабатывать в автобусах, сразу в давке кладет им руку туда на молнию и у того нередко встает и он сам прижимается, 15-летний, а если отдернется и что-нибудь скажет грубо, так Боря и не переживает, еще сам становится в амбицию — а в чем, мол, дело? Если верить его рассказам. Так вот, баня. Надо уметь, уметь. Не стесняться, да, сколько подсесть и заговорить. Ответит грубо, и отойти, и не считать себя побитым и оскорбленным в достоинстве. Вот это и есть жизненное счастье, чтобы добыча была твоя, своими руками завоеванная, а не то, что было чье-то, ну и тебе перепало, кто-то кого-то нашел, ну и потом тебе удружил. А ты сам, сам ищи. Не будь Чеховым, человеком в засраном футляре. Но нужны крепкие нервы. Не впадать в безысходную немую печаль, а действовать, действовать, продвигаться, прощупывать, быть разведчиком, Джек Лондоном, даже и чем-нибудь обмануть, что-нибудь пообещать, заинтересовать; действовать! И не довольствоваться красотой своей печали. Все равно в этот момент ее никто не видит. А то ведь я как, все на человечности. Беру якобы пониманием И так допонимаешься, что раз ему этого не надо, так и не буду, о, конечно. Ну и — кому от этого хорошо? Так насчет поисков и гнилой морали выжидания. Мы находим себе утешение в этой якобы привлекательности трагической позы Смерти в Венеции. А на самом деле тут одна только трусость и безынициативность. Ведь зрителей-то все равно нет твоему

трагическому параличу и безнадежному взгляду на любимый предмет. Это еще где-нибудь в театре показать Федру, застывшую в безнадежности своей страсти; а Федра-то, добываясь, еще будет выглядеть красиво; да и то, все люди уходили и засыпали на Семейном Портрете в Интерьере. Кому интересно смотреть на какого-то благородного старика, который неизвестно чего хочет, а если хочет, зачем не выжывается. Боится, что ему поломают старые кости, боится, что его обзовут нехорошим словом. А думает, конечно, что он просто не хочет покоробить молодого человека, что он, мол, просто из глубокого такта и понимания совершенно других интересов того. Ну, допустим, интересы, действительно, раздельные. Но старческое неделанье ничего и недобывание ничего уныло. И на всех наводит уныние, никому не захочется ему подражать. Да, тут вот еще что: долго думаешь, как начать, что сказать, долго выжидаешь; надеешься, что, авось, сам обратит внимание, как-нибудь заговорит. Да не обратит и не заговорит никогда. Ему-то ничего не нужно. И надо сразу, без проволоочки. А чем дальше проволоочка, тем сильнее паралич — теперь, мол, совсем уж странно будет заговаривать, он уже видел, что я на него все смотрю и смотрю, зачем-то подбираюсь. И, конечно, надо уметь отыскивать точки, где их искать. Вот, скажем: была девушка с приветом от Лешки, она устроилась по лимиту в фирме «Заря». Это как раньше домработницы приезжали из деревни устроиться, только сейчас через фирму «Заря» как приходящие домработницы. Не зря они иногда и стыдятся писать домой, где они работают. И вот они живут, молодые девушки незамужние, как это мило, в общежитии, то есть, им квартиру обыкновенную дали с кухней, с ванной, из трех комнат, в каждой комнатке по две девушки. А ребята, интересно, я спросил, такие же приезжие по лимиту у вас в «Заре» работают? Нет, ребята нет, это работы все девичьи, а ребята полотеры и стеклопротиральщики не по лимиту, москвичи. Так вот-с, к вопросу о знакомствах. Надо, например, вызвать полотера. Пусть он снимет с себя рубашку и натирает пол. И завести музыку, списать какие-нибудь напоследнейшие группы у Саши. И предложить выпить. А картины на стенах сами за себя заговорят и привлекут к началу расспросов. У себя дома легче вызвать к себе интерес. На телефонной станции всегда работают прекрасные молодые люди, юноши. Но они быстро починят телефон, а здесь долго будет тереть, у меня будет время расставить сети. Но жаль, что они не лимитчики! А где же такие приезжие? В СПТУ. Но как найти туда дорогу. Еще ход. Возле студенческих общежитий есть столовые где они обедают, в столовых туалеты, написать телефон. На всякий случай имя поставить не свое. Вот так мне как-то позвонил юный голос, голос, от которого внутри надежда, и спросил Виктора. — Виктора? здесь Виктора нет, вы ошиблись, я грустно сказал. И опять звонит — нет Виктора? — А какой телефон вы набираете? — Такой-то. — Все правильно, но Виктора здесь нет. И еще был другой голос через неделю, тоже Виктора просил. (Вы заметили, что в паузу между двумя длинными гудками укладывается шесть коротеньких? А в один длинный укладывается, пожалуй,

коротеньких три). Но Боже мой, что я наделал! Я же именно Виктора летом подписал под своим телефоном, летом, и забыл. Летом студентики разъехались и сейчас съехались к началу учебного года. Может быть, надо подыскать воинскую часть и проследить их режим, когда они выходят в увольнение. Может быть, там рядом тоже есть где записать телефон с открытым предложением. Или в Суворовское училище. А как-то, когда я из Калуги ехал, иду через весь пустой состав и вдруг! в одном вагоне! одне курсанты. Я сел на пустую скамью. А один тоже так проходил, увидел курсантов и захотел к ним подсесть на скамью, где они сидят — сюда можно? спросил — они, естественно, сразу на него подозрительно покосились — да вон же полно свободных скамей. И тем не менее, молодец. А вообще нужна быстрота реакции. Заговаривать не обдумывая заранее. Чем больше обдумываешь, тем труднее начать. И не бояться обжечься. Ну и что. Отошел и пошел дальше. (Отошел и заплакал.)

«Они».

Итак, за панцирем мужества каждый прячет мягкое растопленное сердце. Вы понимаете, что для того, чтобы он раскрылся как цветок, надо его подбодрять, потакать ему, подхваливать. Так вот-с, ведь каждый человек, может быть, и хочет раскрыться, но из осторожности, чтобы этим в ущерб ему не воспользовались, не раскрывается. В целях самозащиты огражден таким плотным панцирем защищенности.

Знаете, есть такой возраст, когда им хочется ласкаться, а как-то девушки еще нет под рукой, и он поневоле сидит в обнимку с другом или растянется у него на коленях, но это нет, не гомосексуализм. Это некуда деть свое тепло. И хочется временно облокотиться на друга. А я из этого временно больше не захотел выйти. А я в этом дивном временном страстно захотел остаться навсегда.

Итак, ОНИ. Индейцы, моряки, они любят странствия. Как я могу угодить их внутреннему миру? Когда они (миры) у нас разные. Эта любовь к приключениям, к парусам нам неведома и мы от нее морщимся. Мы не читаем их книг. Пещеры, индейцы, пираты и прочая чушь.

Хоть они и юные с розовыми щеками, а видно, что душа мужланов, и я хоть среди них и поживший, заматеревший, а с душой нежного мальчика, боязливой, трепещущей, но невидной под покровом суровых глаз в глазницах, а они — они с виду юные и хрупкие и легкие, а внутри зерно мужланов. Если бы мы были одних лет, они бы меня засмеяли, смолodu мы не могли бы водиться, мне среди них места бы не было, они мне невыносимы, коробят их тупость и душевная неразвитость, их рассказы о выпивке и автомобилях. Нет: кротости, притворства, лукавства, боязни быть лишним, думать про другого — а что он обо мне подумает, а не покажусь ли ему неприятным. То есть, и это все есть, но все равно не то и не так. И их забавы: как они пьяные в деревне

загнали утку с пруда на берег и свернули ей шею (одна их девушка ласково сказала — живодеры) и не пожалели ни утку, ни крестьянку, хозяйку утки.

Да, надо было что-то когда-то в каком-то возрасте преодолеть, залезть на брусья, не бояться сорваться. Но Боже мой, а как быть, когда потом такое восхищение перед теми, кто ничего не преодолел, не превозмог и осмелился остаться непреодолевшим! Какой он герой слабости!

Чтение сделало меня мечтательным; или, наоборот, несклонность к подвижным играм усадила меня в читатели и мечтатели. Во всяком случае, круг замкнулся. Я стал жить в мечте. А с возрастом прибавилось еще и то, что надежды поубавились. И исчезли совсем.

Ой, как притягивает подушка. Так и тянет на нее прилечь.

— Здравствуйте, Диван Одеядлович!

— Здравствуйте, Простынян Человекович.

Я додумался подсоединить звонок входной двери к кнопке возле подушки, и когда лежал в темноте, засыпая, и думал, сейчас придет кто-то ко мне, незаметно нажимал на кнопку и в тишине на всю квартиру раздавался резкий звонок. Так я играл со своим сердцем, и оно, правда, замирало.

Надо заранее быть готовым к плохому и оно легче переживется. Когда я был маленьким, я всегда, просовывая ноги в тапки, думал на всякий случай, что туда, может быть, забралась мышь. По крайней мере, если она там, не будет внезапного испуга. А если ее нет, конечно, там ее никогда и не было, думаешь, ну вот, слава Богу, как хорошо. Но плохо, что всегда в душе готовность к мышши и нет безмятежности. И сейчас, снимая трубку, я готов к тому, что звонит следователь. И если нет, опять же, слава Богу. Для житейского спокойствия плохо, что в душе живет следователь. А в христианском чувстве так и надо, чтобы пожизненно быть подсудимым и не веселиться.

2 нелживых книги пишутся: мы пишем и они на нас пишут. Кухонные писатели, мы пишем в комнате и на кухне читаем гостям, а еще более сокровенная книга пишется о кухонных писателях у н и х и хранится за 7-ью печатями, и ее никто не прочтет.

2 главных вопроса в этих книгах: кто виноват? и что делать? И 2 же на них ответа: никто не виноват, а, главное, ничего делать не надо.

Писатель должен хорошо представлять себе расклад сил в городе, чтобы его мечтало заполучить КГБ.

И вы уже услужили ему тем, что оно узнало о вас. Все, кем интересуется КГБ, уже есть его помощники. Раз оно вас вызвало, оно узнало хотя бы о вас же.

Но не надо думать, что если они, то и мы; ведь (что в е д ь ?) А! Ведь они (им) нам (мы) — что м ы ? что н а м ? О!

Завтра опять этот позвонит (Тюрьмов).

Посадить, может быть, и не посадят, а в страхе держать должны.

Я подарил гитару Гуле, чтобы она свезла мои рукописи на Запад. И за это был наказан втройне, вдесятерне! И за то, что подарил дареную мне гитару, и за то, что подарил не просто, а за то, ч т о б ы она отвезла. И за это за все во мне погиб певец. Я так и не выучился на гитаре играть и не выучусь никогда, потому что ее теперь нигде не купить. И мне остается теперь навсегда писать только тонкую прозу, неинтересную юным простым сердцам. А песни любили бы все. Как Бог точно распорядился моей судьбой!

Во мне

погиб

певец.

(Карр! Карр!)

Нет, это все не талант, что некий молодой человек может, поражая нас свободой, спеть или насочинять в момент ворох стихов. А талант это верность. Когда ничего не получается, но все равно ничего другого в жизни делать не хочется, не буду, и пусть всю жизнь будет не получаться.

О, хотя бы один этот листок заполнить. Уж думаешь, в свете поставленной задачи, не чем заполнить, а только бы заполнить. Еще три пятых страницы осталось. И я ее не заполню. Только словами, что не заполню. Вот какая слабость (геройская). И никто моего героизма не поймет. Будет ли разбирать кто-нибудь мои произведения? Да не будет. Нет, тут что-то большее, чем будет или не будет. Странный труд (подумали они про меня, видя, как я что-то записываю на листочке через паузы. — Эй, ты, на балконе, за Анютиными Глазками. — /. А лучше бы я о них что-то подумал. Уф. Слава Богу. Нет, еще не слава Богу. Вот еще две строчки допишем, тогда будет слава Богу. Теперь уже одну. Теперь уже половину одной. Теперь уже неизвестно сколько. Теперь уже все.

Первые лет пять я писал одно стихотворение по месяцу по два; а один раз писал стихотворение полгода — и при том только им и занимался, не гулял, не отвлекался, а только полгода его сочинял и кое-как сочинил. И никому бы того не рассказал, что у меня все с таким трудом выходит. А сейчас восхищаюсь, какие у меня были незаурядные задатки к усердию.

Ведь что происходило и продолжает происходить:

я занимаюсь тем, что все время о чем-то думаю и передумываю; все об одном и том же, об одном и том же; и только когда не об одном и том же, я это отмечаю и вставляю в сборники. Вот так, действуют только новости и свежести.

Я мышка. Я быстро-быстро бегаю, ищу сухарик.

Сколько наслоений, ненужных, отяжеливших всю жизнь.

А нужна незагроможденная, светлая, хотя и с заворотами, структура.

А еще нужны дети.

Итак:

он женился на женщине. И хорошо с ней жил. У них родились дети. И дети были хорошие. Они работали на полезной и интересной работе и не раз были отмечены по работе. Они помогали друг другу и любили друг друга. А Бог любил их. У них были друзья, собирались по праздникам. А квартира разрушилась, не то что когда въехали.

Боже мой, как все шатко. Как все не может быть всегда.

Без положения, без связей куда определить сына. О, не в ПТУ же. Напр., сын не хочет учиться. Сын пошел не по той дорожке. Сын неудачный. Мы с женой старались, чтобы он вырос, выучился, стал приличным человеком с высшим образованием, с хорошей профессией, а его затащили гуляния. Ну что с ним делать. После армии, может быть, опомнится, пойдет в институт, приобретет профессию. Только бы не свободным художником, поэтом, еще бы этого не хватало, гением. Пусть живет полюдски, это самое лучшее. Пусть чем-то увлекается умеренно, без крайностей. И пусть нам народит внучат, как мы будем рады.

А то я не народил детей и не порадовал (пока) своих родителей, пусть он не берет с меня пример.

Я размечтался о карьере не-гения; а человека, порядочно делающего свое дело. Утилитарная эпоха требует специалистов. Да, детский писатель. И буду гордиться своими официальными успехами. А еще, какая высокая участь: поселять милые мне настроения в тех, кто станет юношами, через речь. Ведь что было в детстве, делает из тебя потом взрослого. Как важны были для меня детские пьесы Шварца, черт с ним, что еврей (Бог с ним), с их мягкостью и забавностью, и сердечностью. (Только не Голые короли и Драконы против властей). И Гайдар, и Маршак. И такое утилитарное дело не постыдно. Дети будут в моих руках. И будут говорить моими словами.

Слабые мальчики (и девочки), распустите, пожалуйста, слух, что я тиран. И я вас буду любить.

Итак,

е г о мама одинокая женщина, курит, превыше всего для нее любовь,

бывают такие немолодые женщины и даже матери единственного сына, хотя бы показать свободу взглядов, думают, что вот она не как все и это ее красит — да, я не как те матери, я все, мол, понимаю, пусть он тоже будет не как все, главное, мол свобода и любовь, не все ли равно к кому, да, пусть к мужчине, ну, мол, и что, а я вот женщина, которая курит и все понимает, и ложится не раньше 3-х часов ночи. (Ужас, до чего глупо. Мать должна быть уздой.) Так вот-с. У нее юный женственный сын, и я, например, — да, прихожу к ним и ночую, и мы с матерью прямо в сговоре, мать рада, что у ее сына такой приятный мужчина. Мы с ней советуемся, что с ее сыном делать, чтобы не сбился с пути. Чтобы у мальчика все было хорошо. Я ей, прям, как зять. И с сыном у нее втайне от меня свой женский сговор, как, мол, надо вести себя с мужчиной. Прямо дает ему гинекологические советы, достает ему лучший вазелин. Нет, мазь Гамамелиса; противовоспалительное и расслабляющее сфинктер. Просто не мать и сын, а две подружки. А еще мы с тещей решили на семейном совете, что мальчику надо решиться. На этот шаг. Я бережно повез его к настоящему хирургу. В Венгрию. Мы с матерью страшно волновались. Но все кончилось хорошо. А высушенную отрезанную вещь я стал носить в медальоне на память о нашей жертве.

I. «Он бил меня и учил всему. А потом отдал грузину и тот делал со мной что хотел. О, с мужчинами надо уметь себя вести. Мне в этом деле не было равных. Они после меня не хотели уже никаких девушек, так я умел их расшевелить. Я знал у мужчины каждый нерв и умел на нем играть, так что он стонал и терял сознание. И я мог просить от него все, что хочу. Хоть звезду с Кремлевской башни.

Он еб меня до крови, до потери сознания и выучил всему — и я теперь за это ему благодарен, потому что дальше мне в моем искусстве не было равных. Как он меня учил? Он бил меня, если я не кончал вместе с ним. И если кончал, тоже бил. Но я навсегда выучился кончать, когда в меня кончает мужчина. Как-то он избил меня всего хуем с отяжкой. Оттянет хуй (стоячий) и каак треснет, залепит пощечину, или по носу, я только хмурился как котенок. Он научил меня откликаться только на женское имя. И в душе и в теле сознать себя ею. Он никогда меня не спрашивал, хочу я или нет, он властно брал меня за голову и сдвигал себе в ноги. А потом опять бил. Это уже те, кого я потом обслуживал, сходили с ума, целовали и кусали мне эту дырочку, в которую так любили залазить своими гнусными колбасами. А этот был настоящий мужчина, только бил меня и учил. И еще сам заставлял меня приносить ремень, чтобы я покорно спускал с себя брюки и ложился перед ним сверху попкой. Вот была моя школа. Дальше началась жизнь по этому диплому. О ней вы все знаете.»

(«БЕЗ ТРУСОВ», роман).

2. В одного молодого человека прямо влюбился один, а ему (молодому человеку) ну одного раза с ним было достаточно, а тот все звонит, все хочет прийти, а этому мол. чел. ну уж больше ничего не надо, только интересно просто отдаваться ему, не любя, и отдаваться как блядь. Отдаваться, правда, приятно, но отдавшись, все, больше ничего от того не надо, только бы скорей ушел. А тот каждый день звонит, все рвется приехать. Тогда пришлось сочинить ему историю, будто бы решил он сейчас жить с одной женщиной. Мол, она давно меня любила и вот сейчас я опять с ней, что делать. И все ссылался на нее, когда тот звонил, мол, не могу, она дома, и говорить с тобой не могу, прости. Но как-то не выдержал, когда тот опять позвонил, и сказал ему приезжай, сегодня ее дома нет. Ждал он ждал, пока тот доедет, распался себя пока такими фантазиями (про грузина) и больше не мог, решил, пока тот едет, подрочить. А как только кончил, подумал зачем он мне теперь, будет всю ночь рядом лежать мешать, лезть с поцелуями. Ну его! (А тот едет, тот в дороге. Идет, слышно шаги на лестнице.) — Тогда молодой человек этот скорей погасил везде свет, а снаружи к двери прицепил записку: извини, зря договорились, мне срочно пришлось уходить. Тот звонит в дверь. Молодой человек стоит в квартире с этой стороны не дыша, пригнулся к полу и стал мяукать, как будто дома они даже кошку с этой мнимой женой, про которую он тому сочинял, завели для семейности. Будто бы они ушли и кошка одна мяучит.

Так в эту ночь он(а) уберег(ла) себя от разврата; может быть, и с помощью крестика, который, когда тот позвонил, он(а) надел(а) на себя — правда, хоть и для украшения.

Так это все же Я или НЕ Я (сказал, например, я, посмотрев на свои узоры). Как будто я. Но и не я. Когда в журнале, среди других писателей, то это был бы я, а когда здесь на необитаемом острове и больше никого нет, то это все я, и потому уже не я, а в о о б щ е.

О, почему, почему я не могу полностью отлететь в красоту слов чудесных. И беспечальных. И голубиных. И облачнокленовых и душезазвучавших и светлобровокарих и завитковосладких семнадцатисенных и звезднокраснофлотских.

Да перестаньте ж сомневаться.

Все что вы ни напишете, будет прекрасно (а все что не напишете, тем более).

Михаил АЙЗЕНБЕРГ

ЧТО НАМ ДАНО ...

Родная кубатура; — вместилище души.
Скажи, губа не дура! А кто она, скажи?

Ах, тещина малина! еще стакан чайку.
Судьбина-акулина, кричи ку-ка-ре-ку.

В готовой халабуде приканчивая дни,
живем почти как люди мы, люди. А они? —

Шуруют тайной кодлой и явной сволотой.
Угодный-неугодный, а входит как влитой

их выговор. Поди ж ты: из перекрытых пор
не дважды и не трижды втекает в разговор.

Не знать бы нам такого. И в памяти певца
свиное прятать слово для красного словца,

когда тебе горячий он перешлет привет
веселой кукарачей. А к ней приправы нет.

МЫ ОБА

1

Рекрутируя из неизвестных лиц
блиц-турнир... Короче, сведя их вместе —
трех друзей, шестерых девиц
с восемнадцатью на подъезде,
самому исчезнуть. Игра с шестью
вариантами /все впусую/,
чтобы всех под одну подвести статью.

Я устал и больше не протестую.

2

Я неловок в денежных единицах.
Признаюсь, политик неважный. Каюсь.
Виноват — разрушена вся грибница,
на которой вырос я, не сдвигаясь.
Если плыл, то как на большом пароме,
в тесноте великой, немного с краю.
Я хочу припомнить, глаза закрою...

Виноват, я жил в караван-сарае.

3

Нет, легко сказать, а поди достань
до слепых глубин, до границы стоячих вод,
где кольцо ликующих рыбьих стай
наблюдатель не застаёт,
где один перекатывается по дну
искалеченный батискаф.
И выпускает фосфорную тишину
сердце, сдавленное в тисках.

4

Вот когда мы научимся щебетать,
на гитаре играть,
пить коктейли, стоять анфас,
по ролям разучим чужую статью,
чтобы корчилась вместо нас,
и когда получится без помех
отрываться одним прыжком,
вот тогда и пустятся снег и смех
золотым лететь порошком.

1986

* * *

Все наверх, товарищи.
По команде «полный каюк»
встать навтыжку вон перед той волной.
Не лицом к лицу, а к спине спиной, —
от спины к спине перестук.

Мир такой, что ни взять нельзя его,
ни оставить таким, как есть.
Показался и вышел весь.

Гости мира! не надоели ли вам хозяева?

Снова сходятся, шапки кидают в круг.
Их цена последняя, страшный сон.
Вор на воре, оптом скупают, с рук.

Лучше к черту в ступу и к негру в печь.
Не себя узнать, так других сбересть.

О, к чужой печали припасть лицом.

Но лежит за пазухой как змея
злость, какую нельзя терпеть.

Гости мира, рассеянная семья.
Теплый воск, по которому ходит плеть.

1986

В сон затекает мелко
утренний холодок.
Белка мне снилась, белка.
А разбудил свисток.

Надо ли от озноба
вздрагивать по утрам?
Завтра увидим снова
псарню во весь экран.
Вьется тупей ретивый.
Брыла дрожат всерьез.
Свежие директивы
лает дежурный пес.

Скоро проббили сроки.
Снова остался мне
правый уклон, глубокий,
набок лицом к стене.

К суточной перебежке
и повернуться лень.

Белка моя орешки
прячет про черный день.

1988

* * *

Тихо-тихо, осторожно
зрела общая побудка.
А сегодня бездорожье
отдыхает ненарочно,
слабину дает как будто.

Будто в общем пьедестале
проявился тайный вывих.
Волглые пустые дали
озираются — пойми их!

Вся земля до поворота
отдыхает без сознания
и зовет, зовет кого-то
на последнее свиданье.

Кто мне вслед обронит слово
и помашет теплой кепкой?
До поклона поясного
поле выцвело сурепкой.

Три-четыре поколения
размахнулись неумело.
Спите, милые поленья,
это все не наше дело.

В самом деле, что за прихоть:
наобум, страхуя локоть,
в темноту такую прыгать,
тишину такую трогать.

Как теперь, идя поляной,
встретив взгляд его стеклянный,
подманить царя лесного
слабым запахом съестного?

И природа, вроде трюма,
только плещется угрюмо —
море для ходьбы в ботинках,
всё в блестящих паутинках.

1991

* * *

Только про дождь — и ни о чем другом.
Если бы несколько даже случайных строк,
как именинным праздничным пирогом
плыл по ночному Кинерету катерок.

Выстрижен солнцем каждый покаты́й холм.
Въелся лишайник в поры известняка.
И на овец, покинутых пастухом,
россыпь камней похожа изда́лека.

Щелочный дождь смешался тогда с вином
и разъедает брошенный парадиз.
Слышится в доме, приемнике подвесном,
тайного радио переговорный свист.

1991

* * *

Нет преграды и нет стены.
Земля, стекая, как стол легла.
Не видно краю его длины,
и крыша воздуха тяжела.

Равняясь, всякий сравнится с ним.
И не он ли всему свояк?
Его любой назовет своим,
сам останется в сыновьях.

Ведь это он высевал зубцы
на пустой богатырский стол.
И встали новые молодцы,
где сам-десять, а где сам-сто.

Современнику пойди скажи:
ты молочных зубов посеv.
Себя до корня не искрошив,
ты не вырвешь себя у всех.

Будь ты воин — пусть, и свидетель будь
или с легкой душою вор —
и в дорогу скор, а в беду обут,
и сильнее себя хитер.

И сказать, какая душа легка,
чтобы с нами дышать и есть?
Груз потерян — вес не исчез пока.
Истекая, не вышел весь.

1982

* * *

Мы состояли как бы в одном ЛИТО,
но общались с пятого на десятое.

Что-то за ним водилось.

Да мне-то что?

Мало за кем когда не водилось всякое?

Только в зрачках уже стеклянеп мираж.
Молодой еще, а казалось, что молодежавый.

Иногда играл.

Временами впадал в кураж,
И тогда страну, не гнушась,
считал державой.

Он любил учащихся ПТУ.

Он любил актеров и не любил евреев.

Вот поэтому?

Вовсе не потому.

Потому что медлил, а всё раскрутил скорее.
Потому что умер несколько лет тому.

1985

* * *

— Ты послушай вот,
что тебе скажу. —
— говорит душа.
— Я который год
за тобой слежу,
на счету держа
/говорит душа/.
А узнала лишь,
как ты плохо спишь,
как ты воду пьешь.
Ешь да пьешь, да себя казнишь.
О, господин,
не живи один —
пропадешь.

Говорю душе:
— Вон от той черты
до вон той черты
никогда уже
не ходить гурьбой.
Только я да ты
/говорю душе/,
только мы с тобой.
Не беда, не суть,
что сжимает грудь,
духотой грозя.
И хочу сказать: отпусти, забудь.
А уже нельзя.

1986

* * *

Зажигаются лампочки. Комнаты все полны
чудесами, объятьями и драками.
Хороводят мазурики новой волны
и по стенам развешивают каракули.

Это что нам показывают? Как волна
опадает, и остается тина?
Или это обрывки дурного сна
в мир выталкивает картина?

И в каком-то очерке, всех бледней,
беспокойно тянущемся к изъяну,
узнается сонная явь слепней,
прозревающих пасмурную поляну.

1988

* * *

Здрасьте-здрасьте!
Битте-дритте! — пели ножницы.
Подравняем-подстрижем, какая разница!
И красиво некрасивое уложится,
серо-бурое серебряным окрасится.

Зашипит одеколон из груш оранжевых
довоенного особенного качества,
и приклеется отхваченное заживо,
или вырастет отрезанное начисто.

И легчайшее сквозное напряжение
по затылку проскользит в одно касание.
Вот исполнено твое распоряжение,
а еще какие будут указания?

1988

* * *

Свежая ассигнация
не раздражает хрустом.
Сам ты как тень Горация
странен и необуздан.
Светится декорация
нравственного скитальчества
/избранные места/:
скверик, лишенный качества,
лавочка занята.
Встретишь разрушенное заранее
хрупкое собственное изваяние,
не похожее на людей,
но подобное урнам, вазам.
Как его ветер смазал!
вся природа дала плетей.

Только что сердце легко дышало.
Тучка какая-то набежала,
всё принесла твое.
Вот тебе дождик скверный.
Вот тебе щит фанерный.
Истина, тень ее.

1989

* * *

... и, как верно замечено,
было — солнце светило, было — дождь моросил.
Так казалось всегда, что просить-то и нечего.
Вот поэтому я ничего не просил.

Выходил из гостей как в окно Подколесин.
Пахнет йодом постель, но не морем.
И попробуй сказать: всякий опыт полезен,
переложенный горем.

Перегаром шибает, гремит силомером
отдыхающий сад.
Если даже захочешь ходить за примером,
не вернешься назад.

Врассыпную с друзьями в неведомом чине
на шумок, на «атас»
разбегается ночь.

И по этой причине
я теперь попрошу, чтобы лампу включили,
чтобы свет не погас.

1989

* * *

Что нам дано?
Это как сказать, что нам дано.
Угол дождя, плащевая ткань, комнатное тепло.
Кто-то сказал, что стена есть дверь.

А моя стена есть окно.
И незашторено треснувшее стекло.

Даже в него попадает последний луч,
чей-то хохот припадочный и заводной фокстрот.

Только не плачь, не плачь, умоляю тебя, не мучь.
Не говори о жизни, втиснутой между строк.

Вот подлетают голубь, ворона, грач /грач?/,
чтобы отвлечь, утешить, вогнать в хандру.
Скоро покажут /только не плачь, не плачь/
облако на закате, дерево на ветру.

Как сказать: я не был причиной слез;
не восставал и не действовал заодно.
Кто-то к тебе стучался, ведь кто-то тебе принес
странную весть, что стена твоя есть окно.

1989

* * *

И подобно придурковатому дырмолю
обратясь к углу шепчу ему, умоляю:
«Дыра моя, спаси меня!
Укажи дупло, где светлое спит огниво».
И к вину обращаюсь, домашнему эскулапу:
«Ты спасешь ли, излечишь меня на вечер?
Я плетню, посмотри, деревенскому стал подобен».
«Рифма! — шепчу, — выдавшее виды искусство,
тяга твоя спасительна от угара.
Сколько незванных на всех твоих именинах».
Вижу луг, зеленый как до советской власти.
Корова лежит, лоснится.
«Эй, корова! — кричу, — Выручай!»
И к траве обращаюсь: «Трава,
ты всего зеленей и сильнее.
Ни срубить, ни разрушить тебя невозможно,
ты начальница жизни. Спаси!»

Рифма! Дыра! Корова!
Луг и живая изгородь!
Башенка остролиста. Веточка чабреца.

Кто исцелит, кто же меня спасет?
Кто защитит от мысли, что все напрасно?

1989

Игорь ПОМЕРАНЦЕВ

ГРАФ РЫМНИКСКИЙ *

*Но, как раб, умираю за отечество **
и, как космополит, за свет.*

А. С. Суворов

Мой заезжий дом метрах в ста от особняка, где в конце сентября 1799 года квартировал Суворов со своим штабом. На новенькой никелированной табличке Суворов именуется «генералом», на гипсовой облупившейся «генералиссимусом». В Альтдорфе у генералиссимуса серьезный соперник: местный стрелок Вильгельм Телль. Тот самый, которому, надо думать, мы обязаны выражением «попасть в яблочко». На майдане стоит памятник Вилли и его сыну. В руках у отца арбалет. И отец и сын — в деревенских туниках и подштанниках. На лицах ни тени сомнения, грусти, страха. Но Суворов и его французские неприятели тоже не забыты. Французский штаб под начальством генерала Лекурба квартировал в стройном, словно застегнутом на все пуговицы здании. Суворовский особняк, хоть и трехэтажный, но все равно кажется приземистым. Поздняя усталая готика. Стрельчатая крыша в рюшах. При особняке флигель, сарай, запущенный вертоград. Если бы таблички не было, все равно можно было бы угадать, где квартировали французы, а где русские. У французов — элегантней, у русских — уютней. Суворов свои временные пристанища именовал «винтерквартирами». На самом деле они не всегда «винтер». Швейцарская кампания выпала на сентябрь. Воздух в долинах отстоялся: был румян, бархатен. От кампании остались картины художников-баталлистов, а они недраматичному бархату предпочли ключие вершины в снегу. Снег был, но нечасто и помалу. Неприятеля гнали из виноградников. И вот еще чем пренебрегли живописцы: мула-

* Беру на себя смелость представить на строгий суд читателя заметки к повести «Граф Рымникский», утерянной вместе с моим багажом в лондонском аэропорту Хитроу. Заметки я делал в записной книжке, так что они сохранились. За багаж я получил по страховке компенсацию, однако присяжные Оулд Бейли отвергли иск на выплату компенсации за рукопись, поскольку мои прежние литературные труды не принесли мне ни славы, ни достатка. /Прим. князя П./

** Этот эпиграф предпосылался повести /Прим. князя П./

ми. Суворовские диспозиции и рескрипты почти сплошь — о мулах. Для провоза провианту Суворов планировал запастись 1344 мулами, для подвозу горных орудий и прочих военных снарядов — 70, для погонщиков — 5. Его мучил вопрос: можно ли везти хлеба и сухарей соответственно на 737 и 402 мулах. Генералу от Австрийской Кавалерии Меласу Суворов предписал обеспечить армию для горного похода более чем 1000 мулами. Генерал же дал мулов только под горную артиллерию, но в прочих отказал: мол, найдутся в Беллинцоне, откуда путь на Сен-Готард. В Беллинцоне мулов не оказалось. В сем отчаянии не оставалось иного средства, как употребить вместо мулов козачьих лошадей. Наконец, Великий Князь Константин Павлович прислал Суворову около 400 мулов с проводниками, кои наняты были только до Беллинцоны. Узнав сие, Суворов заключил с ними новый договор: до того времени, покуда нужны будут. Но дороги по горам были столь узки, что едва и порожняя лошадь могла по оным оборотиться, тем менее отягощенные выюками мулы. Так что за головой колонны шествовали лишь 10 мулов с ружейными патронами. Мулов же с провиантом и партикулярными выюками поставили в хвосте. С мулами связаны и другие козни австрийских союзников. Так австрийский Обер-Провиантмейстер Рупрехт остановил и навьючил овсом в Павии 1344 мула, тем замедлив их марш. В результате на многотрудном переходе через горы из Альтдорфа в долину Муттен Суворову пришлось задержаться на три дня, чтобы дожидаться подвозимого на козачьих лошадях и мулах провианту. По причине высоты горы Ринкем и крайне худых дорог, измученные мулы и козачьи лошади часто низвергались в бездны. Но все же суворовцы прорвались по ужасным утесам и кривизнам гор, имея под ногами своими облака.

Второй суворовской заботой после мулов были солдаты. Пить им надлежало, если вода не добрая, отварную и отстоянную, из крепко полуженных котлов. Белье неленостно вымывать. Ежели кто на другой свет пошел гулять, то не числить живым в надежде на провиант. В госпитали отправлять страдающих чахоткой, водяной, «камнем», сифилисом и падучей. Больных же, слабых, хворых и прохладных лечить при полках, чтоб не вступали в смертоносный воздух от умирающих, не хлебали смертного духу. Посредством кислой капусты, табаку и хрена нет скорбута, а паче при чистоте!

Утром в вестибюле в ячейке для ключа я нашел подметное письмо:
Любезный Князь!

Вы сделались победителем и остановились! Вы спрятались за у н т е р к у н ф т, принялись за н и х т б е ш т и м т з а г е р с т в о. Если я темна, то потому, что темны Вы.

Чувствительно благодарю Вас

Вместо подписи яблоко, пронзенное стрелой. Что за чертовщина!

16 сентября 1799 года в Гатчине Император Павел подписал собственноручной ведомостью Армии Генерал-Фельдмаршала Князя Италийского Графа Суворова-Рымникского. В добавок 4 корпусам назначались 15 эскадронов тяжелой кавалерии и 40 эскадронов легкой, среди них эскадроны кирасирские, драгунские, гусарские /кавалерия/, гренадерские, мушкетерские, егерские /инфантерия/. Альтдорфцам это основательно потрепанное войско могло бы показаться маскарадным шествием, но не показалось. Суворов едва сдерживал слезы, наблюдая павловские мундирские новшества. Сам он был маньяком униформы, требовал «наблюдать свою должность в тонкость», сурово наказывал за наложение заплатки не того же цвету, что мундир. Всегда лично проверял надраенность гренадерских патронных сумок-лядунок /в ту пору ручные фитильные бомбы-гренады уже вышли из употребления/, телосложение кирасиров, их мундиры из замши лосиного цвета, штаны-лосины, тупоносые смазные сапоги с раструбами, перчатки из лосиной кожи с манжетами, длину нафабранных усов, палаши, шпаги с темляком из черных и золотых нитей, пистолеты в чехлах, гусарские доломаны /куртки/ и чакширы /рейтузы/, украшенные шнуром, свисающие с левого плеча ментики, отороченные мехом, смушковые шапки с ярким шльком /гусарские полки первоначально формировались из сербов, венгров, молдован и грузин, так что русские барышни казались им обольстительными чужеземками/, высоту плюмажа из желтой шерсти, завершавшего каску пехотинца /полтора вершка/, крепость офицерской гневливой трости, темляк бригадирской шпаги из желтого и черного шелка, кирасирские палевые колеты, голенища пионеров /инженерные войска/. Если бы швейцарская кампания случилась пятью годами раньше, то именно такой маскарад предстал бы пред очами альтдорфцев. Но, может статься, их потешил сам семидесятилетний старец на козачьей лошади, в синем драном плаще, прозванном солдатами «родительским», и круглой шляпе с большими полями. Справедливости ради, должно отметить, что павловское «опрусачивание» униформы не сказалось отрицательно на качестве сукон и других матерьялов. В своей «Истории Российско-Австрийской Кампании» Егор Фукс описывает, как французы, чтобы остановить русских, разрушили пролет Чертова моста /Тейфель-Брике/. «Но майор Кн. Мещерский, — пишет Е. Фукс, — бросается через поврежденный мост; офицеры подают ему доски над бездною; связывают их шарфами» и т. д. Что же это за чудо-шарфы вязали на исходе XVIII века от Р. X.?!

Крутизны Сен-Готарда не только не воодушевили воинство, подвизавшееся под начальством непобедимого Суворова, но повергли его в уныние. Шепот недовольства перерастал в ропот, а ропот в негодование: «Он из ума выжил! Куда он нас завел!». Суворов велит вырыть могилу у подошвы Сен-Готарда, собирает воинство вокруг свежевырытой ямы и

воскликает «Здесь похороните меня! Вы больше не дети мне — я более не отец вам — мне ничего не остается, кроме смерти!» В ответ слезы умиления, выкрики: «Веди, веди нас!» В этом историческом эпизоде все гениально: могила на самом деле вырыта, она не фигуральна, ее даже не вырыли, а выдолбили употребленные для сего саперы и пионеры. Обращение «дети» тоже, оказывается, не фигуральное. С солдатами Суворов обращается, как с детьми: вот могила, не будете слушаться, я в нее сейчас лягу, да, останетесь одни, без отца, не стыдно? И тогда наступает катарсис. Дети плачут, тянутся к отцу, падают на колени, целуют руку, поднимают над головой и несут.

Британский историк, подполковник Спэлдинг в исследовании «Suvoroff» /1890 г./ бесцеремонно задает вопросом: «Почему полководец завел свое войско в альтдорфский cul-de-sac?». Русский однокорытник Спэлдинга, профессор Николаевской академии, генерал-майор Н. А. Орлов с превыспренностью, элоквенцией и экивоком отмечает, что «швейцарский поход представляет высоко-поэтическую, если угодно, высоко-трагическую страницу в русской истории» /1900 г./ Коллега Н. А. Орлова, ординарный профессор полковник А. З. Мышлавский столь усердно сдувает с облика Суворова пудру шута, что оголяет истины понадрывней: «Главною чертою духовного облика полководца было безмерное его честолюбие и жажда славы. Слово «слава» было неизменно-заключительным в его речи к солдату; искреннее признание в честолюбии, обуревавшим всю жизнь, было едва ли не последней фразой в устах умиравшего: «Долго я гонялся за славою, — все мечта!». В речи «Суворов — представитель славянства», произнесенной Н. А. Орловым в заседании Славянского Благотворительного Общества 11-го мая 1900 г., в день памяти святого Кирилла и Мефодия, первоучителей славянских, с одобрением констатировалось: «...одно главное ядро поляков было уничтожено. Затем, под Столовичами, наносит он удар другой массе поляков...Именно Суворовым положено наиболее резкое начало разрешению польского вопроса, очень важного для славянства... 24 октября 1794 г. штурмовал Прагу, предместье польской столицы. Штурм был веден с замечательным искусством и сопровождался потоками крови». Вот таким представителем славянства предстает Суворов. Швейцарские Альпы он оросил потоками русской крови. Зачем?

В 1649-ом году Воеводе Архангельскому пришла грамота от Государя: «Се, Яз, Государь, Царь и Великий Князь Алексей Михайлович, вся Великая и Малая, и Белая России Самодержец, тебе, стольнику Нашему и воеводе, сей наказ чиню. Ведомо Нам, Великому Государю, учинилось, что в Архангельски город на заморских кораблях аглинские многие люди с разными товара пришли. И, как к тебе ся наша, Великого Госу-

даря, грамота придет, велел бы ты, стольник Наш и воевода, не по един раз на торгу биричем прокликать и крепкий заказ учинить, чтоб торговые и промышленные наши люди с теми аглинскими людьми никакими б торги безошлинно не торговали, поминков не имали и похлебства не чинили. Понеже у них в Аглинской Земле большое злое дело учинилось, короля своего Каролуса нагло до смерти убили; а в стольном их городе Лондыне парламент их сидит не по королевской помете и изволению, а насильством и поноровкою».

Комментируя эту грамоту в Офицерском собрании армии и флота в 1899 году, ординарный профессор А.З. Мышлаевский говорил о «... новом течении в области внешних политических соотношений, стоившем нам впоследствии много напрасно пролитой крови. Течение это я не имею иначе назвать, как политикой сентиментализма и стремления закрепить в чужих для нас странах те основы государственного правления, которые составляют наше собственное незывлемое достояние».

Это достояние и привело монархиста Суворова в Альпы. Его предпоследними словами на смертном одре были: «Поклон мой... в ноги... Царю... сделай... Петр!... ух... больно!». Петр — это князь Багратион, один из героев бессмысленного перехода через Сен-Готард. Другому Петру, Великому, отец Суворова Василий Иванович в течение нескольких лет служил денщиком. Могила Александра Васильевича находится в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры, за левым клиросом, у окна.

Лыжники роятся в Альтдорфе, что суворовцы. Утром они уходят в горы, весело размахивая палками. Под вечер возвращаются на костылях. Эта смена палок на костыли столь естественна, что ее не замечаешь.

Не скрою, что подметное письмо заинтриговало меня. Как найти корреспондентку? Начал с самого простого: поиска русских фамилий в телефонном справочнике. Перво-наперво проверил, нет ли среди альтдорфских абонентов Фертчей и Курнаковых. Дело в том, что генерал-майор Фертч с полком своим и сотнею казаков под командою Войскового Старшины Курнакова были оставлены Суворовым в Альтдорфе для прикрытия вьючных обозов. Уже несколькими днями позже в сражении в долине Муттен Курнакову прострелили обе руки, так что покуролесить он мог до Муттена, а не после. К моему изумлению, в справочнике нашлись и Фертчи и Курнаковы. Последним я тотчас позвонил и, услышав женский голос, сказал по-русски: «Здравствуйте!». То, что мне ответили по-русски — «А, это вы, любезный князь!» — меня почему-то не удивило. Мы условились о встрече.

Еще в нежном возрасте меня мучил вопрос: что же все-таки лучше: свинчатка или кастет. Свинчатка была надежней, кастет красивой. В мужчину с кастетом можно было запросто влюбиться, на мужчину со

свинчаткой — положиться. То ли у Суворова не было детства, то ли он напрочь его забыл, но сомневаться он не умел. Он наверное знал науку побеждать. Нападение — есть лучшая защита... силы артиллерии распределяются вдоль колонны... где пройдет олень, там пройдет и солдат... на голову от росы колпак, на холодную ночь плащ... потному не садиться за кашу... голод — лучшее лекарство... пудра не порох, букли — не пушки, косы — не тесаки, и мы не немцы, а русаки!.. взгляд, быстрота, натиск!.. Богатыри! Неприятель от вас дрожит, но есть враг хуже неприятеля и больницы — немогузнайка, намек, догадка, лживка, лукавка, краснословка, краткомолвка, двуличка, вежливка, безтолковка... слушай, слушай: субординация, экзерциция, послушание, обучение, дисциплина, ордер воинский, чистота, здоровье, опрятность, бодрость, смелость, храбрость, победа, слава! слава! слава!.. быстрота, глазомер, натиск... баба бьет задом, передом, а дело идет своим чередом... ломи через засеки, бросай плетни через волчьи ямы, прыгай через палисады, стреляй по головам, спускайся в город, режь неприятеля, конница — руби, бей на площадях, ставь гаубвахт, руби, коли, гони, отрезывай!.. слава, слава, слава!..

Этот литературный стиль, восходивший к Суворову, пережил свой Ренессанс во Вторую Мировую войну. Походя замечу, что Кампанию 1799 г. в ряде западноевропейских стран называют Второй Европейской войной. Не походя же приведу выписки из методичек времен Второй Мировой: ... смерть, в том числе и тихая, должна подстерегать врага на каждом шагу... наиболее чувствительными к удару ножом местами человеческого тела являются: а) область лица, главным образом, глаза; б) область шеи / сонная артерия — с той и другой стороны — и горло/; в) область сердца; г) область солнечного сплетения; д) область живота; е) промежность; ж) небольшая площадь между нижним окончанием черепа сзади и первым шейным позвонком / спинной мозг/... удар заканчивается резким как бы акцентирующим движением руки в момент соприкосновения ножа с целью... удары в глаза имеют особо важное значение в зимнее время, когда тело защищено теплой одеждой... нанесение ножевого удара должно заканчиваться поворотами ножа вправо и влево... удар должен быть продолжен полукруговым движением от нижнего края затылка до подбородка противника... нож, описывая полукруг, попадает в шею с задней ее стороны и должен быть рассчитан на перерез сонной артерии... к числу виртуозных комбинаций относятся серийные удары ножом по кругу... удушение необходимо комбинировать с ударами головой в лицо противника и с ударами его головы о землю...

Может быть, это несколько манерней, чем у Суворова, но при этом не менее афористично. Ныне мне неловко вспоминать ту соннабулическую остроту чувств и глубину ощущений, которые вызывал у меня в детстве самодельный деревянный кинжал, спрятанный под подушкой.

Мы встретились на кладбище у кирхи. «Мария! — Представилась она. — Мария Курнакова». На вид ей было лет двадцать, сухонькая, в очках. «Представлю-ка вам и других соотичей», — сказала она. Мы пошли вдоль кладбищенской аллеи. «Вот здесь Повало-Швейковские... здесь Велецкие...» «Позвольте, — перебил я, — Велецкий командовал полком в дивизии генерала Ферстера?». «Да, — ответила Мария, — а в дивизию генерала Повало-Швейковского входило четыре полка». Мария остановилась у мраморного бюста теплого пепельного оттенка: «Узнаете?... Нет?... Генерал-лейтенант Аркадий Александрович Суворов». «Позвольте, — не стерпел я, — сын генералиссимуса, как известно любому дошкольнику, покоится в Воскресенском монастыре, иначе Новом Иерусалиме, в 45 верстах от Москвы. Утонул 26 годов от роду в реке Рымник... был женат на Елене Александровне Нарышкиной, по кончине его вышедшей за князя В.С. Голицына». «Инсценировка». «То есть как?». «Да-с. Утоп не Аркадий Александрович, а его фельдшер Наум. Его-то и обрядили в генеральский мундир, а лицо утопленника так распухло, что супруга Елена Александровна в покойницкой чувств лишилась и пришла в себя уже по дороге из Воскресенского монастыря. Аркадий же Александрович вернулся к герцогине Саганской, Катерине Фридерике Вильгельмине Бенигне в Альтдорф, где и опочил на девятом десятке... Да, князь Прутский». «Отчего вы меня так величаете?» «А разве вы не из тех мест? Мартинешти, Рымник, Фокшаны, Серет... а оттуда рукой подать до Хотина, Черновцов, Прута, который когда-то называли “границей рая вечернего...”. «Нет, — почему-то заупрямился я, — я волжанин». «Ну, не судите строго, князь». «Вы знаете, Мария, судя по этому погосту, в Альтдорфе живут или, по крайней мере, умирают только русские». «Вы верно судите. Кроме итальянской прислуги в графстве Альтдорф — все русские». “??? Мария, спустимся в деревню... вы нанесли мне столь глубокие раны, что их надобно промочить вином, хоть черно-тинтовым, хоть злато-кипрским”.

И мы пошли, припрыгивая, говоря отрывисто, вмешивая поговорки и пословицы.

— Разве вы не заметили, князь, что в Альтдорфе нет зеркал?

— Да как же мне это в голову не пришло? Ведь граф Рымникский не терпел зеркал!

Ночью мне приснились два стиха Державина:

Отныне горы в век Альпийски
Пребудут Россовobeliski...

Так вот что имел в виду поэт: вполне натуральныеobeliski на альтдорфском погосте. У меня словно пелена спала с глаз. Я стал иначе

понимать Суворова, его словесные маневры, его желание заслонить Альтдорф и альтдорфцев от железного скипетра Империи. Вот как он страшит Императора Павла Швейцарией: «В сем царстве ужаса на каждом шагу зияли окрест нас пропасти, как отверзтыя могилы. Мрачные ночи, непрерывные громы, дожди, туманы, при шуме водопадов, свергающих с вершины гор огромные льдины и камни...». И это все о райски-курортной Швейцарии! «... Русские перешли снежную вершину Бинтнера, утопая в грязи, под брызгами водопадов, уносивших людей и лошадей в бездны... Слов недостает на изображение ужасов, виденных нами, среди коих хранила нас десница Провидения».

На всякий случай Суворов страшит и митрополита Амвросия: «Провидение забросило нас за облака: отсюда шаг и мы на экваторе, или под полюсом — сторим или замерзнем». /Ср. с Державиным, который за битву Сен-Готард назвал «хохотом Ада», а о самой вершине сказал, что она касается «главой небес, ногами ада»./ Да, в подмогу Суворову бросается Гаврила Державин, вдохновитель операции «Альтдорф»:

Скользим мы бездны на краю,
В которую стремглав свалимся...

.....

Сын роскоши, прохлад и нег,
Куда, Мещерский! ты сокрылся?

Куда сокрылся майор, князь Мещерский, известно. Он был одним из тех офицеров, кто связывал доски Чертова моста шарфами. Тогда-то его и ранило. Последними словами князя были: «Друзья! Не забудьте меня в реляции!». С этим он и упал в пропасть.

Задним числом графство Альтдорф многое проясняет. Скажем, поведение Суворова по завершении Швейцарской кампании. Урон русских простирался до пяти с лишним тысяч человек. И это за двадцать дней кампании! Падшие главы французской гидры сугубо возрождались. Даже Сен-Готарда не удалось отстоять: Луазон выбил оттуда многоопытного Штрауха, оставленного Суворовым. Единственным достижением похода было то, что Суворову удалось унести ноги /"Боже даруй! Достигнуть до границы!"/. Между тем, вел он себя так, словно одержал выдающуюся победу. Хронисты-анналисты отмечали, что в Регенсбурге он явился на бал к принцессе Турн-Таксиской при всех орденах и регалиях, громко хохотал, пикировался. О снятом с него портрете сказал: «Я не смотрел в зеркало сорок лет, но помню, что я тогда был красавец, а тут написан какой-то старик!». По вечерам Суворов устраивал у себя шумные собрания, праздновал русские святки, заводил святочные игры, жмурки, жгуты, подблюдные песни, играл в хороводы, пугал и смешивал танцы и заставлял немцев выговаривать трудные русские имена. В

общем, как он сам сказал 10-ого генваря 1800 года: «Мы здесь плавали в меде и млеке».

Поначалу Император Павел хотел почтить героя: «Благодарю победителя при Требии, Нови и Мутентале, и жалею, что мирнее начинаю новый год, нежели прошедший начал. Спешите ко мне, не мне тебя награждать, герой, но мне чувствовать и ценить твои дела, отдавая тебе должное». Императорским Приказом от 24 августа войску велено было отдать Суворову все надлежащие почести в Петербурге. Для пребывания полководца отводился Зимний Дворец; встретить героя велено было пальбой из пушек и колоколами. Но тут, как гром среди ясного неба, императорская немилость. Историки не в состоянии ее объяснить. Благорасположение сменилось на гнев. Все петербургские почести и приемы отменены. В Зимний Дворец въехал не Суворов, а Принц Мекленбургский. В бедной литовской хате Суворов стонал: «Боже великий! За что страдаю?». Он знал, за что страдал. Он догадывался, что истукан Павел что-то пронюхал про русскую колонию в Альтдорфе, кто-то что-то ему нафискалил. Лишь смерть положила конец страданиям Суворова. Он умер на нескольких руках, в том числе и на руках Державина. Обряд отпевания совершил митрополит Амвросий.

Постучали, и я сказал:

— Войдите.

Вошла Мария. Прямо с порога сказала:

— Вас желает видеть Суворочка... Ее Величество.

Я поклонился. Разогнулся. Подошел к ней и привлек к себе. Мне с первого взгляда понравилась ее, как говорят в Хохляндии, п и д с т а р к у в а т а я молоджавость, ее парафиновая кожа. Я предвосхищал свечную горячность, падатливость, хотелось жевать ее, впечатываться зубами. Менее того, близость с Марией волновала меня этнографически. Еще в младенчестве меня конфузили державинские строки:

На бархатном диване лежа,
Младой девицы чувства нежа,
Вливаю в сердце ей любовь.

Что значит «вливаю»? Я любопытствовал, как миловались, лобызались, содрогались на исходе XVIII в. от Р.Х. Все свершилось, но иначе, чем я предполагал. Мария на секунду отстранила меня, но так изящно, словно это было балетное па. Встала на цыпочки, хотя росточка я был с нее, зажмурила глаза и, пролепетав «не сожигай меня», выпучила губки. В то мгновение, когда мои уста коснулись ее выи, Мария лишилась чувств. Я скинул с нее накидку, подбитую горностаем. После бархатную шляпу «шуте» с перьями райской птицы. Затем последовали: бархатный

помпадур, набитый всякой дамской всячиной, шателэн со связкой ключей, веером и кошельком. Кринолин Марии украшали воланы с цветочными гирляндами. Сам же кринолин поддерживался, как оказалось, еще одной жесткой юбкой, подушкой, проволочной конструкцией, китовым усом, бамбуковыми кольцами и резиновыми шлангами, наполненными воздухом. Я слегка поцарапал большой палец об ус. Из дессу я отметил, хоть уже совсем потерял сердце, гепьер на шнуровке, стягивающий талию, полдюжины нижних юбок белого цвета, корсет, зашнурованный по-английски на спине. Судя по крохотной груди, я понял, что в детстве Марии по ночам накладывали на бюст свинцовые плиты. Разделавшись с вязаными подвязками с пряжками — здесь я пустил в ход зубы — и клювовидными ботинками, я признался Марии в любви не на словах, а по-настоящему. Какие воздушные замки обживала она в это время? Было когда-то такое слово: «досязать» т.е. одновременно досязать и осязать...

На улице нас ждал фаэтон, запряженный парой рыже-соловых лошадей. Мы тронулись и к вечеру добрались до верхней мызы. Я сунул кучеру две ленты, и мы вошли в прихожую. Я скинул соболью шубу. Ее Величество встретила нас звонким к у к у р е к у. Ей было лет четырнадцать. Ее можно было бы назвать красивой, если бы не едва заметная печать вырождения: полное отсутствие подбородка. Но живые косенькие глаза с лихвой окупали это дефект.

— Князь Прутский со своей Пленирой! — Она кинулась целовать мне руку.

— Ваше Величество, помилуйте!

— Нет, нет, младшие должны лобызать стариковские руки!

— Ваше Величество!.. Пошадите мои седины... ну какой я князь?

— А Пленира Вас не оповестила? Наш Гроссе Рат возвел Вас в княжеское достоинство графства Альтдорф с титулом Прутский.

Я припал к ее стопам:

— О, Фелица!..

Она осклбилась:

— Получите в дар украшенную бриллиантами золотую табакерку с 500 червонцами. Работа Иоганна Вильгельма Кейбеля, петербургского ювелира, сына золотых дел цехового мастера Отто Самуила Кейбеля... Как вы изволили, князь, назвать свое повествование?

— «Граф Рымникский».

— Видите, как благозвучно: «Граф Рымникский» князя Прутского.

— Да, ширень да вирень...

— Князь, в такое счастливое мгновенье не до кабацких песен. — И она протянула мне серебряную кружку, наполненную сушеным хлебом с лимонной коркой и поровну английским и русским пивом. — Да, вот

что я хотела прояснить, князь. Вы в повествовании пишете о кровожадности моего Пра-пра. Экий либеральный нонсенс! Вы возбуждаете клеветы. Разве...

— Ваше Величество, я польщен вашим вниманием, но разве ваши маменька и папенька не говорили вам, что читать чужие заметы — дурно?

— Я сирота, — всхлипнула она. — Не обижайте меня... Да, разве вы не знаете, что поляки поднесли Пра-пра почетную саблю и украшенную камнями табакерку с надписью «Варшава — своему избавителю»?

— А разве не сам граф сказал живописцу курфирста Саксонского Миллеру: «Ваша кисть изобразит черты лица моего: они видимы, но внутренний человек во мне скрыт. Я должен сказать вам, что я лил кровь ручьями».

/В этой связи любопытно суждение адмирала Нельсона, писавшего Суворову: «Некто, видевший Вас... сказал мне, что нет двух людей, которые бы наружностью своею и манерами так походили друг на друга, как мы». Суворов ответил: «Глядя на портрет Ваш, уверился я и впрямь в некотором меж нами сходстве»./

— Да, ручьями, а не реками, Прутский!.. И разве не он сказал: «Обывателям ни малейшей обиды, налоги и озлобления не чинить. В поражениях сдающимся в полон давать пощаду»? А кто покровительствовал французским пленным, когда на охотничьих тропах перевала Паник /высота 2404 метра/ их хотели съесть голодные пионеры и егеря?

— Ваше Величество! Вам нет нужды действовать фронтально. Французские пленные были и впрямь выведены по свежавыпавшему снегу и позднее разменены. А плененному генералу Лекурбу, тоже почетному альтдорфцу, Суворов на прощанье подарил розу со словами: «Отвезите это в подарок супруге вашей от старика Суворова!». Лекурб хранил цветок как реликвию.

— Да... о морозах. Вот вы помянули сентябрьский атласный воздух...

— Бархатный!

— Да, атласный, и съязвили насчет «винтер». Но князь, в Очаковские времена зимы начинались уже в августе! Лишь с победой либерализма погода стала либеральной.

— Ваше Величество! Умоляю: только не о политике. Разве мы не в Аркадии, среди пастухов и пастушек? И потом... простите великодушно, Державин под «погодкою» разумел «ветер», «ветерок», а наша Афродита?

— А ваша дочь до цитерских шашней еще не доросла.

Она кивнула, и мы удалились. Краем глаза я заметил, что наш кучер, сидя на козлах, играл на бирюльке, а сельские ратники близ градири резались в ерошки и фараона.

На следующий день после кончины Екатерины трое соратников Суворова были пожалованы восшедшим на престол Павлом в фельдмаршалы /граф Н.И. Салтыков, князь Н.В. Репнин, граф И.Г. Чернышев/. В дни траура радость свою им надлежало выражать публично. Еще спустя 16 дней такой же жезл был пожалован Каменскому. В следующем году Павел обласкал И.П. Салтыкова, Мулина-Пушкина, Бролио. Суворов же удостоился последовательно двух выговоров и был остранин от командования Екатеринославским корпусом. Ему оставалось лишь явиться перед полком, выстроенным на Тульчинской площади, чтобы выкрикнуть, глотая слезы: «Прощайте. Ребята, товарищи, чудо-богатыри!». Он отбыл в почтовой тройке. В дальнейшем Император общался с полководцем через полицейского чиновника, состоявшего при опальном герое в родовом сельце Суворовых Коншанском. По словам биографа Н.А. Полевого, Суворов в Коншанском вставал рано и отправлялся на сельскую колокольню звонить, слушал в церкви заутреню и обедню, в продолжение коих исправлял должность пономаря и дьячка, пел на клиросе, читал Апостол, подавал священнику кадило. По воскресеньям заходил после обедни на водку к священнику.

Пока Суворов возгонял злобу на Павла, Россия вместе с Англией и Австрией заключила условия о войне с Францией с целью уничтожения революции и возведения дома Бурбонов на французский престол. Вот тогда-то Павел и вспомнил о коншанском пономаре. Правда, прежде главнокомандующим над Австрийскими войсками в Италии был назначен Принц Фридрих Оранский, умерший в январе 1799 года в Падуе, в то самое время, когда принимал вверенное ему начальство, которое после предназначалось Эрцгерцогу Иосифу Палатину Венгерскому, а на время предоставлено было Генералу от Кавалерии Барону Меласу, за болезнью же Меласа поручено Генерал-Фельдцейгмейстеру Барону Краю.

В письме Павла, доставленном в Коншанское, говорилось:

Граф Александр Васильевич!

Теперь не время рассчитывать. Виноватого Бог простит. Римский Император требует вас в начальники своей армии и вручает вам судьбу Австрии и Италии. Мое дело на сие согласиться, а ваше спасти их. Поспешите с приездом сюда, и не отнимайте у славы вашей времени, а у меня довольствия вас видеть.

В первых числах февраля к Петербургу под скрип дебелых деревьев мчалась почтовая кибитка, а в ней сидел старичок, помышлявший об одном: заложить основы своего собственного графства среди неприступных пиков Альп. На рассвете петербургские петухи надрывно привесовали старичка.

Отношения между Суворовым и Державиным можно было бы назвать безоблачными, если бы не одно облачко — четыре стиха в оде «На взятие Измаила»:

Война, как северно сиянье,
Лишь удивляет чернь одну:
Как светлой радуги блистанье,
Всяк мудрый любит тишину.

Другие обидные державинские строки /"У нас не стыдно и герою/
/Повиноваться красотам;/ /Всегда одной дышать войною/ /Прилично
варварам, не нам."/ Суворов на свой счет не отнес. Почему? Вот версия
швейцарского писателя Германа Фердинанда Шелла, уроженца городка
Швиц, куда так рвался, но так и не дорвался из Альтдорфа Суворов.
Г.Ф. Шелл /1900-1972 гг./ — автор повести «Последняя любовь Суворова»
/1946 г./, отец актера и режиссера Максимилиана Шелла, создателя
фильма «Первая любовь» по повести Тургенева.

«ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ СУВОРОВА»

/отрывки/

— Как тебя зовут?

— Регина.

— Регина? Королева! Это имя достойно тебя.

— Всякое имя прекрасно, когда оно одухотворено.

— Принеси-ка бутылку вина и три бокала.

В голосе Суворова была такая непререкаемость, что у сестры Регины голова пошла кругом. Это не укрылось от взора бывалого покорителя крепостей. Ведь любовь — это тоже военное ремесло, и побеждает тот, кто отважно нежен. Регина молча принесла три бокала и кинулась за вином.

Суворовым овладела сладострастная истома. Он направился к окну, и эти несколько шагов дались ему не легче, чем переход Сен-Готарда. Регину била дрожь, пока она наливала вино. Он бы охотно сделал это сам, если бы не опасался, что его рука тоже сдаст.

/стр. 56-58/

— Регина, у меня есть мечта.

Она встрепенулась.

— Я бы хотел увидеть тебя еще раз перед возвращением в Россию. Где тебя искать?

— А где вы остановились на ночлег?

- Наверху, в монастыре.
- Я приду туда завтра, выхаживать раненых.
- Суворов пожал ей руку, и это рукопожатие не было безответным.
- Хочешь?
- Хочу, — глухо вымолвила она.

/стр. 71-72/

Суворов безмолвствовал. Он заключил ее в объятия и поцеловал. Они безмолвствовали вместе. Регине казалось, что она достигла вершины жизни, и все будущее казалось схождением вниз.

- Ответ мне прямо, даже если твой ответ будет жесток.

Она подняла голову. Волосы ее были темны, как свежевспаханный чернозем.

- Это почтение или любовь?
- Любовь, Суворов.

/стр. 89-90/

- Регина, я люблю тебя! Меня ждет одиночество. Где искать тебя?
- Здесь, только здесь.
- Обещаешь?
- Да, обещаю, ибо люблю! Солнца сгорают, звезды гаснут, и только любовь вечна.

Глаза Суворова налились слезами.

- Суворов!
- Называй меня Александр!
- Не смею.
- Почему?

Она не ответила.

- Называй меня Александр!
- Александр.
- Еще.
- Александр.
- Еще.
- Александр.

— Почему жизнь начинается только на исходе? Как рыщет по жизни смерть! Но я-то должен быть доволен. Доволен? Жизнь била меня, но в конце одарила любовью. Регина!

- Скажи еще!
- Регина!
- Еще!
- Регина!
- Еще, последний разок!

/стр. 147-148/

Накануне возвращения в Лондон я заехал в Люцерн покопаться в местных архивах и, по счастливому стечению обстоятельств, стал свиде-

телем люцернского карнавала. Каковы же были мое изумление и восторг, когда в общей кавалькаде, где-то между маленькими Муками и большими Теллями, я увидел своих, альтдорфских. Некоторые из них ехали на мулах. Я с одобрением отметил про себя, что муниция и мундиры альтдорфцев — послепавловского образца. Зыряне Яренского и Усть-Сысольского уездов были в картузах с медным крестом; башкиры и мещеряки — в кольчугах, с саблями азиатского типа, колчанами и налучьями с луками; на конных казаках были замшевые перчатки с крагами; у лейб-гвардейцев вместо погон желтые гарусные эполеты; канониры мели люцернскую брусчатку шароварами, подшитыми черными лаями; партизаны шагали, ощерившись охряпниками, ошорашниками и пырялами с зубом; шапки стрелков были обтянуты мехом: у нижних чинов собачьим, у офицеров медвежьим; ратники-ополченцы несли полотняные ранцы и манерки, перекинутые через левое плечо; козачьи шапки из черного меха были без султанов и этишкетов, зато с чешуей на подбородном ремне. Мне кажется, кое-кто из альтдорфцев узнал меня. По крайней мере, я определенно расслышал приветствие: к у к у р е к у. Или это было к у к а р е к у?

Андрей БЫЧКОВ

БИЛЕТ В Н.

И стены в той гостинице были исписаны неприлично все как-то, черным по белому. И повар, сосед, чистил по утрам ботинки куском оленьего мяса. А Он... Он попал в это дело, ибо искал молнию, да, именно молнию — изломанный и моментальный вспых света и ярости, что, опережая двиганья тяжелых грозовых масс, обрушивается, соединяя на мгновенье небо и землю.

Он.

— Будем? — спросил повар.

— Иди лучше пописай.

— Я-то пописаю. А потом будем?

— «Абу-Симбел»?

— «Абу-Симбел», а что же еще? — сказал удивленно повар.

— «Абу-Симбел» не буду, — ответил Он, с тоской глядя в форточку на безоблачное небо.

— Будешь, — засмеялся повар. — Хочешь, пойдем в ресторан ко мне? Мы в котле еще не пили.

— Да пили мы в котле, ты забыл.

— Нет, не пили.

— Да пили, ты совсем без памяти? С летчиками еще, забыл?

— «Абу-Симбел»?

— «Абу-Симбел».

— В котле?

— В котле.

— Послушай, как твоя фамилия? — захохотал вдруг повар. — Моя фамилия Он.

— Да, моя фамилия действительно Он, — сказал Он. — Но молния должна ударить сегодня, и я хочу быть трезвым, когда в меня ударит молния. Нельзя мешать удовольствия. Да и что может быть выше удовольствия, когда в тебя ударит молния?

— Ну ладно, черт с тобой, — сказал повар.

... неделю назад с бутылкой портвейна на первый ряд, а с двух сторон — буряты в кожаных пиджаках, они пили что-то из термосов. «Что пьем?» — спросил еще Он, едва фильм начался. «Чай», — ответили, усмехаясь. «Ну-ну», — разорвал в темноте пальцем пробку со своей,

палец еще, что надо. «Нет повести печальнее на свете...» А когда запрокинул только, всего-то четыре глотка, сзади вдруг за плечо:

— Посмотрите, сильно там у меня?

Да-да, и Он оглянулся и увидел человека, наклоняющего в полутьме к нему голову. Свет, отраженный с экрана, выхватил застывшие, обледенелые космы и разъятую темную рану. Человек медленно поднял голову и посмотрел Ону в глаза. У человека была кровь и на лбу, и в ней блестели титры с экрана. Как с экрана посмотрел этот человек и сказал Ону тихо:

— Пойдемте со мной.

— А как же кино? — грустно заметил Он. — Ведь там про любовь...

— Идемте, — сказал человек и поднялся.

И тогда Он почему-то подумал о молнии, внезапной и торжественной, яростной и прекрасной, слепящей и замораживающей, она пронизывает и возносит, она отнимает и дает, должно же где-то быть хорошо, очень хорошо, навсегда, навсегда... И тогда Он поднялся, сам не зная почему, поднялся и пошел вслед за тем человеком, пригнувшись, под пшиканья бурятов, на фоне начинающейся на экране иллюзии, подогнув голову так, чтобы конус кинолуча, что видит даже и пыль в зале, не коснулся его волос, волос Она.

— Я знаю, что вы врач, — сказал тот человек в фойе, а его лицо было словно выкопано лопатой из-под земли. — Прошу вас, закройте мне это... Вы должны зашить! — закричал он внезапно. — Должны, вы же врач!

— Я никому ничего не должен, — сказал Он. — А вам менее всего. И потом, с чего вы взяли, что я врач?

— Но вы хотите любви, — сказал человек, заглядывая Ону прямо в глаза и пряча усмешку, и Он опустил взгляд и лишь через мгновение вызвал в лицо весь цинизм, который должен защищать душу.

— С чего ты взял, дерьмо, что я врач? — спокойно сказал Он и жестоко рассмеялся, а потом достал из кармана свою бутылку и отпил, брезгливо прикрыв глаза.

— Ну простите, — ласково сказал тогда человек с разбитой головой. — Но если вы зашьете мне это, то и я помогу вам. Вот, — он достал какую-то неряшливо сложенную бумажку из кармана. — Фу черт, опять клей в кармане раздавил!

— Что это? — спросил Он.

— Это билеты, — сказал человек, осторожно разлепляя бумажку.

— Куда билеты?

— В Н..

— Куда-куда? — переспросил Он.

— В Н., туда и обр...но. Слетаете, развеетесь, найдете, чего вам необходимо... Только зашить надо хорошо.

— Хорошо, — сказал Он. — Я зашью. Обратный билет не нужен.

Чужая жена и ее малышка. Да нет, ее муж здесь ни при чем. Просто Он думал, может быть, с ней ему будет хорошо, с кем-то должно же быть еще хорошо. Ее глаза, ее мольба: «Ведь в этом нет ничего плохого, правда?» Как девочка. Она изменяла тогда в первый раз. «Правда», — сказал Он, целуя ее в легкость ресниц. Она бросила мужа и жила у него со своей маленькой дочкой. А потом Он понял однажды, что не любит ее. Нет, Он не лгал, Он хотел полюбить ее, но так и не смог... Чужая жена и ее маленькая девочка. Да нет, ее муж здесь ни при чем. Она работала на кружевной фабрике, Он как-то пришел к ней с ее дочкой, и они нарядили малышку в чужие кружева, а когда раздевали опять, малышка заплакала... В тот вечер, когда Он купил портвейн и понял, что больше не вернется, она держала девочку на руках, покачиваясь в такт музыке. Женщина не знала, что Он стоит в дверях и смотрит на их танец. А девочка положила голову с соской во рту ей на плечо и смотрела на него не отрываясь (она видела, как он вошел). Женщина танцевала спиной к Ону и смотрела на шторы, и когда повернулась, то ничего не сказала, потому что увидела, как печально Он смотрит на нее, и все поняла, и она даже не отвернулась опять, а просто отвела взгляд. Спина девочки. Маленькие обнаженные икры. Галоши. Они забыли тапочки в квартире ее бывшего мужа, и девочка ходила в галошах. Он слушал, как девочка подсасывает, молчит, а потом опять подсасывает. «Я сейчас вернусь», — сказал Он. Билет в кино было купить легко.

— Я знал, что ты придешь, — сказал, отваливаясь от пара плиты, повар. — Ты не мог не прийти.

Плоские замороженные туши быков на полу, их сбрасывали в люк, словно дощатые щиты. Блеск огромного начищенного котла.

— С чего ты взял, что я не мог не прийти?

— У тебя были такие глаза, — засмеялся повар.

— Какие «такие»?

— Такие.

— У всех у вас такие глаза, — сказала, наклоняясь над котлом посудомойка. — Пидарасы.

— Баба Маша, не шуми, — прикрикнул на нее повар. — А то чаем обварю навсегда.

— Во-во, — сказала посудомойка, перегибаясь обратно в котел, так, что на белых блестящих ляжках стали видны низкие мужские сатиновые трусы. — Себя лучше и обвари.

— Вот мы тебя, баба Маша, — сказал, гогоча, повар. — Твой дед и ахнуть не успеет.

— Вот я тебя самого, — сказала посудомойка, доставая из котла оранжевое ведро.

Повар бросил что-то в низкий пар на огромную квадратную сковороду и быстро отклонился, пропуская облако черного чада. Из мойной гремели вилки, ножи, было видно, как кто-то в бесцветном халате сталкивает их с подноса в жестяной короб.

— Ну что, будем? — повернулся повар к Ону.

— Ни облачка, — печально ответил Он.

— Коньяк завезли, — доверительно сказал повар. — Ты иди в зал. Мне нельзя пока, смена еще. Я минут через сорок закончу и выйду.

— По котлам чтоб не лазили больше, пидарасы! — крикнула, выходя в мойную, баба Маша.

— Чтоб вы все сдохли, — мрачно сказал Он.

— Ну, спрашиваешь, — заулыбался повар. — Заказывай. Я расплачусь. Баба Маша, а баба Маша, вот я тебя.

Они сидели уже часа полтора.

— Не будь дураком, Он, — сказал повар, вернувшись из буфета и разливая еще. — Когда надо, она тебя сама найдет, твоя молния. Что ты, как мальчик, чтоб тучи что ли непременно, дождь, гром? Пей и будет тебе молния.

Сквозь сигаретный дым Он посмотрел в ясные, двоящиеся алкогольные глаза повара — янтарный отсвет коньяка, загадочный блеск. Тряхнув волосами, спросил:

— А кто ты?

— Я?

— Да, ты.

— Я, может, и есть твоя молния, — сказал повар, прищурясь.

— А-аа, — сказал Он и посмотрел в рюмку. — Ну, тогда надо за тебя выпить.

— Будем, — бодро сказал повар.

Они чокнулись и выпили и разлили еще.

— Она была хорошая женщина, добрая, но я ее не любил, — сказал Он.

— Если не любил, забудь, — сказал повар. — И если любил, забудь.

— Забудь, — повторил Он, вспоминая.

Он опустил лицо, и повар тогда закричал.

— Забудь! — закричал повар.

Он вздрогнул и посмотрел повару в глаза.

— Я не повар, — сказал повар, глаза его были чисты, как лед.

«... где-то ворона... каркала... Далеко, а потом близко... Над ухом... А теперь опять далеко. Была близко, а стала далеко... Покачать головой... То справа, а то слева... Как стерео... Открыть же глаза... Надо, надо разлепить глаза, если глаза... Где? Же я где?... В голове, от тела отдельно... Шкаф. Стол. Другая никелированная кровать. А-аа... Свешиваю-

щийся повар. Окно... Но кто же в комнате? Кто? Отдельно все от тела... Кто это окно?... Я... Все это я.

Я.

И облупленный стол, и кеды, и стул..."

Он все же приподнялся. Повар храпел. Он закинул голову и посмотрел бессмысленно на потолок. «Солнце, воздух и вода — это, братцы, ерунда, — обгорелой спичкой враскоряку было написано на потолке. — Только спирт и онанизм укрепляют организм.»

«Вот повар, — бессмысленно опустил Он голову с взглядом на распластавшегося поверх кровати повара. — И повар — тоже я... А повар — молния... Значит, и я, и я... И тот человек с разрубленной башкой, которого зашивал над тазом... Все это молния... Она уже... уже началась... И значит скоро, очень скоро любовь.»

— Прости, — сказал вдруг человек с песочным землистым лицом, покрытым корнями морщин. Это был именно тот человек, которому Он только что зашил голову сиреновой ниткой. — Что-то не очень получается.

— Что? Что? — испуганно закричал Он, оглядываясь.

Никакого шкафа, никакой кровати и никакого повара, а только этот человек все в той же кухне, над тазом, в который сливалась, дребезжа, марганцовка, и где размокали, расплзаясь, ватные тампоны.

— Что ты делаешь, дерьмо?! — закричал Он в гневе. — Да я сейчас башку твою подлую вот этими ногтями опять разорву!

— погоди, погоди, — забормотал человек. — Сейчас, сейчас, еще раз. Ты только не волнуйся, все будет хорошо.

— Гнусный колдун!

— Да тихо! — властно сказал вдруг этот человек, поднимаясь с табурета и нависая над Оном.

— Я... — начал было Он.

... в той гостинице были исписаны неприлично все как-то, черным по белому. И повар, сосед, чистил по утрам ботинки куском оленьего мяса. А Он... Он попал в это дело, ибо искал молнию, да, именно молнию — изломанный и моментальный вспых света и ярости, что, опережая двиганья унылых грозовых масс, обрушивается, соединяя на мгновение небо и землю.

Он.

— Будем? — спросил повар.

— Надо сначала пописать.

— Пописать-то попишем. А потом будем?

— «Абу-Симбел»?

— «Абу-Симбел», а что же еще?

— Ну черт с тобой, давай по чуть-чуть! — закричал Он, взглядывая в полураскрытое окно.

Вдалеке, над домами, было темно. Вырастало, поднимаясь над Н., черное небо. Невидимые, едва фосфоресцирующие струи перемешивали грозовые массы, готовые петардные разряды. Подбирались свинцовые клубы, заворачивались темные зигзаги. Гулы громов были неслышны почти. Чернела чернота. Блики молний, далекие еще и неясные, были легки и зловещи. Черная скатерть грозы накрывала тихо и быстро. И уже стала отчетливо видна ее серебристая бахрома. Словно косые седины свесились на пустые бессмысленные лики, непроницаемые, безответные, равнодушные, казнящие ли, возрождающие... Внезапно фронт встал. Вся огромная, вполнеба, тяжелая глухая черно-стеклянная масса, начиненная быстрыми сильными брызгами, осколками видящих молний, плотными и слепыми потопами воды, каркающими, злорадными грохотами громов, — застыла, непонятно как и чем еще удерживаемая от низвержения. Стало тихо совсем. Легкий дуй-бриз осторожно приподнял на цыпочки занавеску и, как после долгого прощального поцелуя, так же медленно отпустил. Впереди, над черной прорубью замершей в неподвижности грозы, стремилось светлое белое облако. Оно было подобно призрачному фрегату, гонцу, несущему неземную весть.

— Смотри! — засмеялся и заплакал Он. — Смотри...

— Закрой окно, — сказал повар. — Ты еще не знаешь, что здесь бывает. В прошлом году пошибало опоры. Пятнадцатиметровые опоры валялись перекрученные, как проволока.

— Нет, — сказал Он. — Это идет моя надежда.

Он поднял стакан, наполненный вязким и желтым алкоголем.

— Выпьем, повар, за мою любовь!

— Ты что, дурак? Еще никак не вырастешь из розовых трусов? — продудел в нос повар, наливая себе. — А я тут такого нанюхался...

— Молчать! — сказал тогда громко Он и ударил кулаком в стену.

Повар замолчал и поставил пузатую бутылку на край стола.

— Кто не хочет умереть от жажды, — тихо сказал Он, — тот должен уметь напиться и из грязного стакана. Так говорил Заратустра. И вот и я, пью с тобой, пью... И там, далеко, я тоже долго все это пил. Но мое время пришло. Я дождался своего священного времени. Не в первый раз, так во второй. Не во второй, так в тысячу сто второй... Я бросил все, что не любил. Я оставил все, за что еще когда-то держался. И теперь я могу то, что хочу. Тебе покажется, что я пьян или сошел с ума, но я трезв сейчас, как вот это стекло. Я трезв, потому что я пил как свинья всю свою пьяную жизнь. Но я трезв, повар, и я тебе не лгу. Я могу убить быка, вот этим кулаком, видишь? Я могу убить и тебя, и кого угодно, но мне нет в этом нужды. Фарс. Кто-то думает, что все это фарс. Гипноз и издевательство. Но это есть, повар. Есть!...

Удар грома сшиб божьих коровок и мух со стекла в забитом окне, они зажужжали, падая, перевертываясь, перебирая муравьиными проводочными ножками и затихая. Свежий влажный порыв скользнул под занавеску, словно вынося ее на своей могучей груди. Она изогнулась и задражала, опускаясь.

— Один человек, — сказал Он. — Хотя он, наверное, хотел мне добра... Короче, один человек, неважно, как свела меня с ним судьба, он дал мне билет сюда, в этот ваш чертов поселок. А потом он пытался меня загипнотизировать, или, как это, не знаю, как называется... Но у него что-то не совсем все получалось, и тогда он...

— Да тихо! — властно сказал вдруг этот человек, поднимаясь с табурета и нависая над Оном.

— Я... — начал было Он.

— Я, ты... Что ты опять в эти игрушки?!

Он взглянул в лицо Ону, и тот в ужасе отшатнулся, ибо это была грязная, в пятнах слипшейся крови, морда медведя.

— Видишь, что я могу? Так что не надо брыкаться.

— Зачем ты все это делаешь со мной? — спросил Он.

— Я учу тебя, ведь ты хочешь любви, а не много, кто еще в этом мире хочет любви. Потому я и выбрал тебя.

Тогда Он вздохнул, помолчал немного, глядя в таз, а потом спросил:

— Что это за история с Н.? Я был там или не был на самом деле?

— Нет, пока еще не был, — ответил этот человек. — У тебя, как оказалось, не слишком много силы, а для большой любви нужно много силы, — он засмеялся. — Ведь ты же, конечно, хочешь только большой любви? Не бабу же Машу?

Хохоча и нелепо бросая голову от плеча к плечу, человек стал раскачиваться на табурете.

— Кто это рассек тебе башку, если ты такой всемогущий? — спросил Он, сплевывая в таз.

— Кто, кто.. не ты же, — вытер слюну этот человек. — Один мой враг. Сильный враг, как и я.

— Неплохо же он тебя, — сказал Он.

Человек взглянул на него долго и тяжело, ответил:

— А ты, впрочем, ничего, годишься, — и поднял ногу, и медленно наступил на край таза.

Розовая жижа выбросилась ему на носок и хищным плоским животным разбежалась по полу дальше.

— Ладно, — сказал человек. — Возьми эти билеты, — он помолчал. — На самом деле они, как это ни странно, настоящие. И лети в это Н., — он снова помедлил. — Теперь без фокусов. Возьми на этот раз и обратный билет. Возвращайся. Ты мне и вправду чем-то симпатичен.

Блеск молнии выхватил из темноты стулья и стол и две сидящие напротив окна фигуры, оставляя лишь негативы теней по стенам. Казалося, что молния внезапно вошла и взяла граненные стаканы, посеребренные часы на поднятой руке Она, никелированные дужки кроватей; устремленные в окно белки и зрачки этих двоих...

Разломившись, молния заставила отразить себя даже то, что никогда не возвращало обратно ни грана света — даже коричневатое-черное замызанное с прилизанным шерстяным начесом старое гостиничное одеяло словно подвспыхнуло и встрепенулось в том же порыве, что и обнаженная до последней ниточки занавеска. Пронзив, до мелочей прочитав содержимое комнаты, молния чуть дольше (а может, так показалось Ону) протрепетала в поверхности алкоголя, что был налит в его стакан.

— А вот и невеста, — сказал тихо Он, закрыл глаза, оставляя в себе блеск отражения, и выпил, не чокаясь с поваром.

Тогда гаснущую, едва уже фосфоресцирующую полость тишины расколлот вдруг страшный удар грома.

— Закро...! — закричал было повар, выбрасывая пальцы к распахнутому окну.

Но Он его опередил, барсом вспрыгивая на подоконник. Второй удар, дробя вслед за первым все, что попадало под низвергающийся ад, — шкаф, гостиницу, жестяные коробки стоящих на площади машин, деревья, домишко, асфальт, бегущих людей, — заставил все же присесть вскочившего на подоконник Она. Но в следующее мгновение Он уже хищно спрыгнул на притихший, жалостливо наклоненный газон и побежал через площадь, хохоча и увертываясь от быстрых, тяжелых и редких, и потому не всегда еще точных, копий дождя.

Дмитрий БОЛОТОВ

СТИХИ

* * *

1

Куда бежит горячая вода
По города луженым жилам —
В какое нет? В какое никогда?
В какое неизвестно старожилам?

Сантехникам известно... но они
Хранят о нем могильное молчанье.

Проглатывай горячее журчанье —
И сам его храни

2

Все речки Петербурга черные,
Во всех них воды дребезжат,
На дне их косточки точеные
Преудрученные лежат.

По берегам торчат перила,
Взрастая из гранитных клумб,
Во все луна свой рог вперила,
И все залив смотал в свой клуб.

Все речки Петербурга черные,
Во всех них воды дребезжат,
И, встав на корточки, ученые
Коты визжат! Коты визжат!

* * *

В оранжевых дворах трясут ковры,
Белеют дети возле мусорного бака —
Подрагивает график их игры,
Где дружбу нежную легко сменяет драка.

Одуванчики качают в траве
Весенними сединами, лысея,

Сирена рыдает на корме,

Длится рассеянная одиссея...

* * *

Смешные Джоны хлопают ковры,
Смешные жены штопают шпалеры,
Тугое эхо входит во дворы —
От башен отлетает ошалело.

Курносица сморкается в чулок,

Пуговица ветхая пылится —

Верлену, верно, было отчего
Слезами беспричинными залиться...

* * *

В феврале свернулось молоко,
Оттого-то в марте было кисло,
И до мая было далеко,
И июнь отнюдь не так уж близко.
Август воздух густо замешал.
Завалилась осень, не замешкав.
Выпал в кресло, завернулся в шаль:
Золушка, а там и Белоснежка.

В декабре глядели в темноту.
Темнота и вправду загляденье.

Сквозь нее тропинку проведу
Я в январь — мои ночные бденья,
Мой маршрут, сменяемый легко
Баш на баш, а можно и без баша.

В феврале свернулось молоко.
В феврале белеет простокваша.

ЧОРНОСЛОВ

Не знаю, из каких широт
Я пишел-мышел-вышел,
Но чернослов я рыл, как крот,
Иначе бы не выжил,

И чернослов срывал и ел,
Не размочив водичкой,
Когда крошиться слово-мел
В петличке шло с гвоздичкой.

Когда зарюют в чернослов
Мое гнилое тело,
Я буду зритель чернослов,
Бесстыжих до предела,

Когда сжует меня микроб,
Чернорабочий смерти,
Упрутся волосы-укроп
В упрямяство черной тверди.

.....

В родных широтах хорошо,
Не выхожу наружу,
Молчанья черный порошок
Ни звуком не нарушу,

В родных широтах ни души,
И мы-то здесь как гости.
Хароша медные гроши
Проглатывают в горсти,

Я знаю, весь я не умру,
Все это понарошку,
Когда б Хароше на корму
Откормленную кошку,

Когда ж, как смерть моя жирна,
Из пасти из зубастой

Черномурлыканье она
Выдавливает пастой,

Черномурлыканье ее
Я слушаю, кипучий,
Забыв, что естество мое
Лишь порошок сыпучий —

Он с чернословом вступит в смесь
И, с судорогой рвоты,
Я шишел-мышел-вышел весь
В народные широты.

* * *

Луна холодной ладонью
Вплывает в темную Неву,
Когда возлюбленную донью
За талью крепко обниму...

И, чувствуя на лбу горячем
Звезды язвительный плевков,
На мутном дне Невы маячим,
Русалкам глядя за чулок.

* * *

Женщина за швейною машинкой
Монотонной двигает ногой,
Не боясь случайною ошибкой
Повредить работе дорогой.

Ловко тканью управляют пальцы,
Прыгает послушная игла,
На паркет полупрозрачным панцирем
В палец толщиной пыль легла.

Был ли дар случайным, дар напрасным...
В хладных крыл, мой ангел заводной,
Стрекотании однообразном
Распылились звезды до одной.

Собака лакает из лужи,
В которой сияет бензин,
И лужа все мельче и уже,
Уж только полоска грязи

Осталась от лужи, виляя
Пугливым остатком хвоста,
Собака спешит, ковыляя,
Куда-то в чужие места.

Теперь источает сиянье,
Заметней всего в темноте
На некотором расстоянии,
Бензин у нее в животе.

Я был огромным белым сфинксом,
Полузасыпанным песком
На побережье абиссинском,
На берегу черноморском.

Я рылся мраморную лапой
В из моря высохшем песке,
Вдруг прошуршал спиной крылатой —
И скрылся в горнем далеке.

О море с запахом мужчины!
Ему не портили чела
Прибоя грубые морщины,
И солнца жалила пчела.

Я был обломком белой пены.
К проклюнувшейся желтизне
Метнулись вздыбленные вены
С двуглавой птицей на жезле.

ПУБЛИКАЦИИ

Е.КРОПИВНИЦКИЙ: «Я — ПОЭТ ОКРАИНЫ...»

Евгений Леонидович Кропивницкий — фигура безусловно уникальная в истории российской культуры XX века. Поэт, художник, даже композитор: в юности написал оперу «Кирибеевич», которая нравилась самому Глазунову. Е.Кропивницкий прожил очень долгую жизнь в искусстве. Воспитанный серебряным веком, начинавший в живописи во времена расцвета классического авангарда, в поэзии — вместе с поздними символистами, он стал одним из ведущих деятелей нового неофициального искусства 50-70-х годов.

Были и другие поэты и художники серебряного века, пережившие большевистский террор, дождавшиеся хрущевских послаблений режима, жили еще великие Пастернак, Ахматова. Они с симпатией относились к новому оттепельному искусству, само их присутствие вдохновляло, способствовало скорейшему восстановлению культурной памяти, прерванной «связи времен». Как известно, Пастернак привечал юного Вознесенского, у Ахматовой был свой круг приближенной молодежи во главе с Бродским. Но все же никто из доживших до «оттепели» художников старого «закала», включая великих, не стал для нового искусства тем, чем стал Е.Кропивницкий. Он был не просто учителем (а учителем он тоже был прекрасным). Е.Кропивницкий — один из создателей нового искусства, равноправный — вместе с молодыми — участник художественного процесса. Он как бы и режиссер, и ведущий актер, «играющий тренер», не просто «носитель традиций». В послевоенные годы творчество Е.Кропивницкого переживает настоящий расцвет — и в живописи, и в поэзии.

Может быть, отчасти это связано с тем, что в молодости огромный творческий потенциал поэта просто не успел полностью реализоваться. Е.Кропивницкий действительно не стал заметной фигурой авангарда 10-20 годов. Но в художественной жизни того времени принимал активнейшее участие.

Евгений Кропивницкий родился в 1893 году в Москве. В 1911 году окончил Строгановское училище. В 10-е годы много занимается живописью, усваивая опыт авангарда — от супрематизма до кубизма. Как живописец Е.Кропивницкий был близок к творческим исканиям художников круга «Голубой розы» и «Бубнового валета». С П.Кузнецовым, И.Машковым его связывала многолетняя личная дружба. После революции начались трудные времена, семье Кропивницких много приходилось переезжать с места на место: жили в Вологде, Глазове, Тюмени... Ранние работы сохранить не удалось. С 1924 года Е.Кропивницкий обосновывается в Подмоскovie, в деревне Виноградово, рядом со станцией Долгопрудная, где и живет до самой смерти в 1979 году.

Поэзия для Е.Кропивницкого никогда не была побочным занятием. Художники часто пишут стихи. Стихи крупного художника — как, например, М.Шагала или В.Сидура — всегда интересны, но обычно они все же лишь дополнение, иллюстрация к пластическому художественному миру, а не самоценная языковая реальность. Не так у Е.Кропивницкого. Его поэзия стала событием, литературным фактом сама по себе. Да и сам он, по-видимому, считал себя поэтом даже больше, чем художником. Во всяком случае, об этом свидетельствуют близкие ему люди — сын, Лев Кропивницкий (тоже художник и поэт) и один из ближайших учеников — поэт Генрих Сапгир.

Стихи Е.Кропивницкий писал с ранней юности, до революции даже печатался в периодике. Дружил — и «поэтически», и лично — с Арсением Альвингом и Филаретом Черновым — младшими современниками символистов, поэтами, до сих пор по достоинству не оцененными. А.Альвинг, кстати говоря, был одним из составителей «Кипарисового ларца» И.Анненского — книги, особенно повлиявшей на дальнейшее развитие русской лирики. Вот стихи Е.Кропивницкого 1918 года:

Печально улыбнуться:
Прощайте, господа! —
Заснуть и не проснуться
Уж больше никогда.

И кануть в вечность мира,
И больше уж не быть.
А звездная квартира
Была и будет жить.

И это царство Бога,
Извечных сил чертог...
Не будет жизни срока,
Бо вечен только Бог.

«Печально улыбнуться» — так, кстати, называется книжка стихов Е.Кропивницкого, изданная в 1976 году в Париже А.Глезером, — единственная прижизненная книга поэта. Действительно, для Е.Кропивницкого очень характерна эта интонация грустной иронии, определяющая по сути основную тональность его поэзии. Уже здесь хорошо заметны и характерные примитивистские тенденции: в гротескном сочетании элементов «высокого стиля» — «чертог», «вечность мира», архаичный славянизм «бо» — с нарочитыми «неуклюжестями» вроде «жизни срока» или «звездной квартиры». Все это потом окажется очень важным.

В конце 30-х годов в поэтике Е.Кропивницкого происходит резкий поворот. Декадентская отвлеченность окончательно вытесняется быто-

вой конкретикой. В стихи врывается шумная, пестрая советская современность. Игровые начала, тяготение к гротеску мощно актуализирует-ся совершенно новой фактурой:

У забора проститутка,
Девка белобрысая.
В доме 9 — ели утку
И капусту кислую.

Засыпала на постели
Пара новобрачная.
В 112-й артели
Жизнь была невзрачная.

Шел трамвай. Киоск косился.
Болт торчал подвешенный.
Самолет, гудя, носился
В небе, точно бешеный.

Формируется оригинальная примитивистская поэтика, в чем-то пересекающаяся с обэриутами — в первую очередь с Н.Заболоцким и Н.Олейниковым. Острые наблюдения, шаржированные бытовые сценки, ироничные размышления облакаются в праздничные одежды традиционного, порой нарочито велеречивого стиха, пародирующего и по-своему возрождающего жанры баллады, оды, элегии, часто даже в классических «твердых» формах — сонетов, триолетов, терцин...

В основе феномена примитивизма — особое «наивное» мировидение, «инфантильность», «детскость». Об этом писал применительно к Хлебникову Тынянов, это и у обэриутов, и у Е.Кропивницкого, и у его последователей. «Наивная» позиция оказалась очень плодотворной для художников. Не для всех, конечно. Тут нужен особый талант — талант игры. Е.Кропивницкий им обладал в полной мере. Он описывает грубую реальность грубыми словами, включенными в прекрасную оболочку строгого стиха. Для него как бы не существует разницы между «низким» и «высшим». «Наивный» автор никогда не вмешивается в описываемые события, он их только регистрирует, «протоколирует», занимая позицию добровольного летописца, стремящегося к максимальной конкретности и объективности.

Впрочем, не всегда Е.Кропивницкий оказывается столь эмоционально непроницаемым. На самом деле он хоть и посмеивается, иронизирует, но любит тот мир, о котором рассказывает. Еще бы — он в нем живет:

Я — поэт окраины
 И мещанских домиков.
 Сколько, сколько тайного
 В этом малом томике:
 Тусклые окошечки
 С красными геранями,
 Дремлют «мурки»-кошечки,
 Тани ходят с Ванями...

Ну и, конечно, не равнодушен Е.Кропивницкий к природе. Живописует он ее теми же лубочными красками — яркими и чистыми:

Цветики увяли,
 Листики опали,
 Дни похолодели,
 Окна запотели.
 Улетели птички,
 Отсырели спички.

Почти вся пейзажная лирика Е.Кропивницкого — прекрасные стихи для детей.

Поэзия Е.Кропивницкого оказала решающее влияние на многих из нового, послесталинского поколения. Живопись, впрочем, тоже. Еще с военных лет в художественной студии дома пионеров у Е.Кропивницкого учатся Оскар Рабин и Генрих Сапгир — в 50-60-х годах им предстоит стать одними из лидеров московского неофициального искусства. Чуть позже с Е.Кропивницким знакомится И.Холин, до этого знакомства писавший стихи чуть ли не под Исаковского и Шипачева. Потом будет лианозовская группа, «за организацию» которой Е.Кропивницкого исключат в 1963 году из Союза художников, хотя как раз «организации» никакой не было. Бурная культурная жизнь хрущевской оттепели. Сдержанное, но твердое сопротивление брежневщине.

Нельзя сказать, что именно Е.Кропивницкий был в центре нового нонконформистского искусства. В центре все же были другие — те же О.Рабин, Г.Сапгир. Но Е.Кропивницкий был в основе, его творчество определило очень многое. Он был мэтром, патриархом, но и сам умел учиться у своих учеников. В 60-70-х годах, например, в некоторых его стихах появляется особый лаконизм, афористичность, возникшие, на-верное, не без влияния монументальных миниатюр И.Холина:

Длинные стихи
 Читать трудно
 И нудно:

Пишите короткие стихи —
В них меньше вздора
И прочесть их можно скоро.

Живопись Е.Кропивницкого с 30-х годов вполне перекликается с его поэтическим миром. Городские окраины, неприязательный (а по сути нищенский) быт воплощается в строгих, точных пластических формах, в которых, конечно, чувствуется, узнается та же интонация. О Е.Кропивницком писали, что в живописи он лиричнее и метафизичнее, чем в стихах. Мне так не кажется. Поэт сам сказал о себе: «Мои стихи сугубы, — реальные, но не грубы...» Вот по степени «реальности», подлинности, а значит и по степени «метафизичности», его поэзия и живопись не отличаются.

Примитивистская поэтика основана на речевом гротеске — особом средстве художественной выразительности. Речь в поэзии может гротескно преобразиться на разных уровнях: на лексико-семантическом (то есть на уровне слов и их сочетаний) — так было у Хлебникова, Хармса, Введенского, позже — у С.Красовицкого, Э.Лимонова, или на стилистическом — когда гротескно сталкиваются, пародируются элементы разнородных стилистик — так было у Н.Олейникова, отчасти — Н.Заболоцкого, а потом у Е.Кропивницкого и его учеников — И.Холина, Г.Сапгира, еще позже — у тех, кого называют концептуалистами. Но все это только внешняя сторона дела. Суть — глубже.

Усложняются традиционные художественные отношения в поэзии. Прямой, открытый лирический монолог модернистского типа (символизм, акмеизм, да и футуризм) не принимается. На место монологической серьезности приходит диалогическая игра. Изменяется сам статус автора, тип художественного сознания. Эти изменения — вовсе не автоматическое следствие гротеска. Скорее, наоборот. Хлебников, заложивший языковой фундамент для обэриутов, остается еще вполне монологичным лириком с прямым пафосом «будетлянства». С другой стороны, и гротеск — не единственное средство «диалогизации» поэтического мира. Но вот мягкий, порой едва заметный гротеск в стихах Е.Кропивницкого оказался в результате мощным катализатором для новой поэзии, во всяком случае «левого» ее рукава: конкретизма, поп-арта, соц-арта, концептуализма — вплоть до нынешнего «иронизма». Молодые поэты чаще всего мало знают о стихах Е.Кропивницкого. Они учатся у Пригова и Рубинштейна, как раньше учились у Холина и Сапгира. Но начиналось все — именно с Е.Кропивницкого, с его стихов о проститутках и пьяницах, с его печальной и мудрой улыбки.

Владислав КУЛАКОВ

ЕВГЕНИЙ КРОПИВНИЦКИЙ

* * *

Была в трамвае давка:
Краснел сердитый нос;
Ругалась бородавка,
И басом кто-то гавкал,
Как хриплый старый пес.

1938 г.

* * *

Не люблю я крика,
Не терплю я вопля:
— И-го-го-го — гопля! —
Не люблю я крика.
Для чего орете,
Горло зря дерете?
Говорите тихо,
Чтоб вас взяло лихо!

1939 г.

* * *

На палке пугало торчит,
Пугая воробьев.
Малинник спит и сторож спит
Геннадий Воробьев.
Рогожа старая — шалаш —
В нем сторож Воробьев.
Как хорошо — малинник наш —
И наш, и воробьев!

1940 г.

Лимон

Благородный плод лимон.
Желт, красив и кисел он.
От лимона аромат,
Из лимона лимонад
Делать очень ты искусен.
Чай с лимоном очень вкусен.

23 февраля 1954

Убийства

Не убий.

Библия

Всех, кто нам мешает жить,
Мы пытаемся убить:
Убиваем мух и вшей,
Тараканов и мышей.

Убиваем просто так
И в убийстве видим смак.
Вот мальчишки бьют кота,
Бо убить у них мечта.
На войне людей мы бьем
И победный марш поем...
Все, кто смеет, — бьет с плеча,
Сладострастно гогоча.

30 июля 1954 г.

Наваждение

Экое мученье:
Жизнь — и тут же тленье,
И опять рожденье.
Прямо наважденье!
Вопрос без ответа:
Для чего все это?

1957 г.

Голос смерти

Смертные создания,
С вами наказанье.
Очень вы капризны,
Прямо до комизма.

Не хотите помирать —
Жить хотите и страдать.
Вот когда я разозлюсь,
То до вас я доберусь.

Я устрою вам войну,
На врага взвалю вину,
Пошлю землю защищать,
Чтоб в земле вас погребать.

ноябрь 1957 г.

Встреча с Холиным
Вот и ландыши. Дыши
Ароматом их. За садом
Соловей поет в тиши,
Петухи поют за скатом.
Кажется, пройтись пора.
Выхожу — навстречу Холин.
Он, как водится, доволен,
Хоть и не кричит ура.

4 июня 1962 г.

Начальник

Наш начальник слабоумен,
Лает, лает как барбос.
Жуть! — во все сует свой нос.
Наш начальник слабоумен,
Но заносчив, зол и шумен,
Сколько бед он нам принес!
Наш начальник слабоумен,
Лает, лает как барбос.
Если нет его — мы рады —
Легче, легче нам дышать
(Так его и эдак мать!).
Если нет его — мы рады:
Задымим мы самосады —
Без него нам благодать.
Если нет его — мы рады —
Легче, легче нам дышать.
Как начнет от нас тиранить —
Просто, просто пропадай!
(До чего ж несносен, ай!).
Как начнет он нас тиранить,
И трещать, и барабанить —
То и слышишь песий лай.
Как начнет он нас тиранить —
Просто, просто пропадай!
Эх, бежать бы без оглядки —
Да куда, куда уйдешь?! —
Бедность; прорванные пятки...
Эх, бежать бы без оглядки,

Да на брюках все заплатки
(Беспокоит даже вошь!)
Эх, бежать бы без оглядки —
Да куда, куда уйдешь?!

1942 г.

В слободке

У заборов четко слажен
Бородатых топот. Были
Молодцы из лавок ражи.

Окружили крысу. Били
Сапогами (вся орава) —
Били, били и убили.

Топотали влево, вправо
И басами гоготали.
Развеселого все нрава.

После дуру увидали:
Машку Коневу, косую —
Беспардонно осмеяли.

Ларионыч молвил: «Всеу!» —
Да куда! — потехи ради
На козла надели сбрую.

Вечерком — гулять, в прохладе.
Под гармошки завыванье
К воротам ходили Кати.

К ней бы выйти на свиданье! —
Подмигнет — полюбишь сразу...
Всех красивой на гулянье.

Вкось, у Карпова лабаза,
Шепот: тискают бабенку:
«Слышь, постой, пусти, зараза!» —

Ночь. Избенка за избенку,
Прячась, пятится за ели,
Убирается в сторонку.

Эй, гуляй! Шуми, похмелье! —
И всем скопом прут к молодке.
И-го-го! и эх! — веселье...
Вот что делалось в слободке!

1945 г.

Зёмлечерпалка
На шоссе землечерпалка
Рушит землю валко:
Ухает и ахает,
Бухает и трахает.
Неустанно бойки-скоры
Тяжкие моторы:
Трахают и бухают,
Ахают и ухают.
Беспрерывная работа:
Своевольный кто-то
Ухает и ахает.
Бухает и трахает.
Надоскучили моторы,
Их скворчанья скоры:
Трахают и ухают,
Ахают и бухают.
Не уснуть в домушках люду,
Гул идет, покуда:
Ухает и ахает,
Бухает и трахает.

9-10 авг. 1952 г.

Из стихов 1963 года

* * *

В пору ту
Мы ведали беду:
Ели лебеду.
Лебеду ели,
Чуть не поколели.

* * *

С парнями ходила:
Зародила.
Родить не родила:
Сделала аборт:
Попутал черт.
Ах, черт! —
Опять аборт.

* * *

Жили-были,
Водку пили,
Посуду били.
Результат такой:
Один в могиле,
Другой заболел,
Третий чуть не околел.

Из стихов 1964 года

* * *

Все хвалят вас...
Но что такое «все»?
(Какая унылость!).
Кто эти «все»,
Скажите на милость?..

* * *

На пляже
Парень ражий:
Бритые усы,
Уродские трусы,
Майка полосатая,
Ноги волосатые.

* * *

Сева,
Ева,
Холин.
Ими мир доволен —
Они реальны
И оригинальны.

* * *

Зданий новых кубы
Сугубы.
Кубизм осуществился.
Вот Сезанн бы удивился,
Что кубизм осуществился.

Из стихов 1965 года

* * *

Возрождение в стихах футуризма
Полно комизма.
Бекать,
Мекать,
Задавать шарады
Иные рады...
Откровенно говоря —
Это зря.

* * *

Дама слушала стихи мои.
Стихи мои
Показались ей непоэтичными,
Необычными,
Слишком натуралистичными,
Даже неприличными...
Откровенно говоря
Я стихи читал ей зря.

* * *

Стихи мои сугубы —
Реальны, но не грубы.
Не пошлы,
Не дошлы —
В них нету злобы,
В них нету лиха,
В них нету вопля
(Вроде: «Гопля!»),
И читать их надо тихо.

Совет поэтам

Длинные стихи
Читать трудно
И нудно.
Пишите короткие стихи.
В них меньше вздора,
И прочесть их можно скоро.

1965 г.

У киоска

Пили пиво у киоска.
Иванов напился в доску.
Не поняв как дальше жить,
Начал он всем морды бить.
Но его столкнули с ног.
И избили, кто как мог.

*1970 г.***Груши**

Принес сосед груши
И молвил: покушай,
Из сада свово,
А сладкие — во!

Сосед мой безбожен,
А я осторожен:
Его не послушал
И выкинул груши.

*1970 г.***Прогресс**

В 20 лет свинью прирезал.
В 40 лет жену зарезал.
А потом он резать мог
Кого хочешь, без тревог.
Резал он кого угодно
Очень ловко и свободно.

*1970 г.***Разновидность**

На миру убить — разбой.
На войне убить — герой.
Как начальники велют —
Так вот все и говорят.
А на самом деле как?
Да, наверное, уж так.

1970 г.

Муженек

У меня есть муженек,
И от мысли он далек,
Что ему я изменяю
И любовь его меняю
На любовь соседа нашего
Карп Иваныча Простоквашева.

1970 г.

Обыватели

Обыватель Иванов
Был такой же, как Дроздов.
Был похож он на соседа —
Тот же нрав и те же лета.
А сосед его Смирнов
Был точь-точь, как Иванов,
Был похож и на Дроздова,
Впрочем, так же на Петрова.
Обыватель же Петров
Был точь-точь, как Иванов.
И ничем не отличался:
Так же пил и так же дрался.

1973 г.

Венец творенья

Так вот венец творенья — вот! —
Огромный вспученный живот,
Глядят глаза, торчат носы,
Обриты бороды, усы,
Вся эта плоть: зады и груди —
И всем одно названье: люди.

27 августа 1973 г.

Павел УЛИТИН

ФОТОГРАФИЯ ПУЛЕМЕТЧИКА

Едва ли не вся жизнь покойного писателя Павла Павловича Улитина (1918–1986) состояла из чтения и писания. Только дважды пришлось сделать перерыв: в 1938–40 годах для шестнадцати месяцев в Бутырской тюрьме, откуда писатель вышел совершенно искалеченным, и в 1950–55 годах, которые он провел сначала в Таганской тюрьме, потом в ЛТПБ (Ленинградской тюремной психиатрической больнице).

Улитин работал очень много. Архив писателя чрезвычайно объемён, а ведь это сравнительно поздние вещи: в 1962 году в его квартире был произведен обыск, во время которого было изъято все, им написанное, включая черновики и записные книжки.

Произведения Улитина с трудом поддаются жанровому определению. Это не романы, не повести, не рассказы, не эссе. Постепенно Улитин создал собственную прозаическую форму, к которой как-то приложимо слово текст. Он, впрочем, этого слова не любил, а свой метод называл «стилистика скрытого сюжета». И действительно, в любом, самом герметическом и по виду спонтанном тексте этот «скрытый сюжет» присутствует. Обнаружить его непросто. Улитин не готовил свои вещи к публикации, а круг его постоянных читателей был довольно узок. Более того: никто не гарантировал ему, что тот обыск был последним, что написанное им не станет материалом какого-либо очередного Дела. Все личное, автобиографическое поневоле шифровалось, и это тоже постепенно становилось частью метода.

Можно понять, учитывая все эти обстоятельства, что выбор произведения для первого знакомства с автором был очень затруднен. Мы остановились на «Фотографии пулеметчика», вещи 1965 года, в основном из-за относительной проявленности того самого «скрытого сюжета». Это, конечно, не мемуары, и большая часть текста не нуждается в специальном комментарии.

Стоит, однако, расшифровать кое-какие упоминания и сокращения.

НОД — наш общий друг (имеется в виду критик А. Асаркан).

ВТ — внутренняя тюрьма.

Айтниана — Юл Айтн — так, на английский лад, автор транскрибировал когда-то свою фамилию и взял ее в качестве литературного псевдонима.

Печать номер пять — сургучной «печатью №5 КГБ при СМ СССР» были опечатаны рукописи, изъятые у Улитина во время обыска 1962 года.

«МВ» — «Мутная вода», рукопись Улитина, изъятая тогда же.

Три товарища — сотрудники ГБ, проводившие обыск, — полковник, старший лейтенант и лейтенант.

Д.Г.Л. — Д.Г. Лоуренс.

Ф.М.Д. — Ф.М. Достоевский.

Из.Из. — Изольда Извицкая.

Ленинская народная партия — студенческая подпольная группа, за принадлежность к которой Улитин был арестован в 1938 году.

Шурик Шелепин — сосед Улитина по студенческому общежитию, будущий глава КГБ при СМ СССР.

Остальные загадки придется разгадывать читателю.*

----- • -----

Высокомерный парень смотрит с зачетной книжки 36-го года: едва заметная улыбка, чуть-чуть прищуренные глаза. Женщина-фотограф с умилением свой взор остановила. Я перехватил ее взгляд. Она была ничего. Я даже подумал кое о чем. Но платонически. У высокомерного мальчика были другие заботы.

Тот дом снесли. Видимо, он стоял на старой Тверской, но кажется, что где-то на углу Кузнецкого, рядом с книжным магазином, в котором потом работал НОД, а до этого я купил трехтомник Белинского цвета электрик.

Итак, забота была — Белинский. Нет, Белинский появился в 37-м году, в 36-м году забота была — короче говоря, было много всяких других забот. И уж, конечно, девушка с умом Белинского в 36-м году была не нужна: он был сам себе и Маркс, и Тургенев, потому что оба родились в 18-м году 100 лет назад. А совместить Тургенева и Маркса в одном лице — легче, чем плюнуть. С этого и начнем.

Будет Айтниана или Айтниада? — спросил раз художник Подаревский. А почему бы и нет? Даже Миндин в этом не сомневался. Итак, в первые 6 месяцев была создана репутация лучшего теоретика. Академик! — презрительно бросал Абрам Кузнецов. Ничего не понимает в музыке! — презрительно думал Иосиф Тарантов. Но здорово хорошо описал природу, — говорил Сергей Чертков. Прочтет от корки и до корки, — писал Алексей Леонтьев. Как называется ваше новое произведение? — спрашивал Сальников, чтобы тут же записать. — «Ранде-ву!» — ?? — Я пошутил, рассказ называется по-русски «Свидание».

— Уже тогда? — изумилась СБ.

— Да, уже тогда. Я поднимаю вашу перчатку. Мне она не кажется очень чистой.

Утренняя стенограмма еще на рассвете была жива и трепетала, но вот вошло солнце над правительственным домом, и слова идут в архив. Устаревают мгновенно. Вот тебе и чудное мгновенье. И 4 засмотренных

* Публикуется с незначительными сокращениями. Интервалами отделяются одна от другой страницы авторской машинописи, которые у Улитина являются самостоятельной единицей текста. Сохранена орфография и композиция оригинала.

ракурса. И пушечный эффект. Что привлекает — то и отталкивает — на улице Коровина — постоянство вкуса.

У него забота только одна — чтобы было как у людей, а то вот, пожалуйста, все как будто как у всех, а показать нечего, а они не верят, а некоторые думают: все наврал!

Печать номер пять.

Тихие ракурсы кватроченто играют в залах музея на Волконке. Про украденную картину помнит только милиция. Ходи, броди без дела и без цели, помни луну и грош, книги у букинистов на набережной Сены в Париже, картины в Лувре, и ненароком налету набрести на свежий дух синели.

А что такое синель?

А это такая сирень. Какая разница, все равно — СВЕЖАЯ МЕЧТА.

Женофоб провожает усталым взглядом косяки индивидов, а радость только одна — новый друг.

Кузина просвещала мальчика-несмышленища.

Как же так? Неужели? Один раз и сразу ребенок? А 10 раз — это 10 детей, так мало? Нет, не так. Когда сделал ребенка, можно уже сколько угодно. А-а-а, так оно лучше.

Мир и дружба между Н.

А вот бежит фаллоцентричный индивид.

Почему у харакири нет продолжения?

Так же, как и у «ню» на потолок антресолей. Не тою стороной повернулся наш старый друг. И пижон не забыл ауто-да-фе. И комната в Москве в сейфе.

Ксения — это в общем подарок, а Ирина — мир, а Петр — камень, а Софья — мудрость, а Александр — что?

Беседа с говорящей собакой без Ольги Шапир через 9 лет не состоялась.

Поворачивает человечество и так и эдак, как медаль, с обратной стороны, начинает рассматривать и с лицевой стороны, все ищет чего-то, все ищет одного вида, одной мысли. Как будто можно рассмотреть медаль со всех сторон и дать общий вид в трех измерениях, как на чертеже: вид сверху, вид сбоку, вид снизу, а это вот поперечное сечение. У мысли так не бывает. У символа-картины, тем более. Все это продолжает чудаческую линию 37-го года. Есть одна мысль, есть одна идея, есть одна правота, есть один путь, есть один человек: или Сталин или Шухарин. Я за Сталина. Как будто _____
_____ только одно.

Мир жаждет единства. Человечество жаждет управляться Одним Человеком. Миром править должна женщина. Белый Дом разбомбить через толщу земного шара, а потом примирить разобщенные народы и две системы в руках Одного Человека. Ну тут пошел весь бутырский комплекс.

Н. Драчинский занимается чем положено.

А прочитывается все равно только самый крупный шрифт.

Молодые теоретики. Вот один с едва заметной улыбкой в уголках рта, прищурил глаза, очень высокомерен, и какие, собственно, у него осно-

вания? Тут страницы (две) из «МВ» (55). Тут возврат к Писареву в 34-м г. А еще лучше к Пушкину и Антонникову в 30-м г.

А без копий я никому не даю. Я жду 3-х товарищей. Или такие шутки стали?

Женофоб продемонстрировал отрицание прустянки. Как всегда, то очень помогает, то очень мешает. Все «очень».

Продолжается. Даже чужая точка зрения у грустного мальчика. То же самое. Горечь первых земных утрат тут оборачивается ножом в руке. Нож в воде не просматривается. Нож из-под Сталинграда хранится в институте криминалистики. Везде что-нибудь хранится. Вот только в сейфе на Неглинной пока пусто. Ложный маневр у Марселя Прево. Последняя ночь в подвале после бомбежки и первая ночь саботажа с бесконечными митингами, первый переплет — Лев Толстой, самые короткие рассказы, а кухня в это самое время просвещала. А мы купались вместе только один раз. Опять как в «Замке» Франца Кафки: первое приближение было самым близким, а потом все дальше и дальше, а в конце недоумение: да был ли вообще Замок? А может замка и не было.

Я был* в долгу у прежнего мальчика: нить оборвалась. И прогулка в Сокольниках, и Сивцев Вражек, и она под руку с Фединым, шеф благоволил, и Сурков на трибуне в ИФЛИ: критикует хорошо, но лучше своих стихов не читал. А он этого терпеть не может: для него это вражеский голос, вот и с Маяковским так было. А я связан с троцкистами. Ничего, пройдет, будешь теперь проффоргом. А мои друзья арестованы. Ничего, ты же не арестован. Выборы в аудитории №13. Высокий длинный парень дает себе самоотвод. Стоит раскачивается и говорит все против себя. А реплики из зала самые деловые и веселые: ничего, не отвертишься от общественной работы.

Что вышло из этого фигуриста? Погиб? Жив? Орловский знатный барин? Тамбов на карте генеральной? По улицам Рязани? С мальчиком из Воронежа?

А знаешь, что они о нас пишут? Нож в зубах, большевик-бандит, едят младенцев сырыми, не зажаривая, спят все под одним коллективным одеялом.

У входа в лес.

Первая запись в первой тетради — а их было 19 томов — в 15 лет. Были попытки и раньше. В 6 лет под диктовку мамы были сделаны первые сочинения, а потом легко пошло, как по шаблону: заглянул в первые записи, и дуй в таком же духе. Брат, увидев дневник мальчика 6 лет, усмехнулся и

* В рукописи «была» — вероятно, опечатка (прим. ред.).

сказал что-то язвительное в адрес мамы. Что мальчик писал сам, он в это не верил. Все мамины штучки. А он от мамы прячет переписку. Она не касается его чисто личной интеллектуальной жизни. Пока. Он сразу догадался. Зеленых чернил нет. Значит, этот голос относится ко второму полушарию земного мира — там, где нет тропических бабочек Амазонки и вообще не тот мир. Мир делится на две части — первая и главная — это МСД, а все остальное, что не МСД, — это неинтересно.

Те-те-те-те! Было четыре «ТЕ».

Такой эпизод.

Может, это даже будет способствовать, уже по одной склонности к противоречиям. Фраза только одна: что-то там было.

Хоть один человек вспомнил братьев Гранат. И 10 гранат не пустяк. Такой Железняк. Братьев Пантелеевых никто не вспомнил. Федина вообще никто. «Братьев Карамазовых» она уже читала, как и Пушкина, и ничего нового для себя там найти не надеется. Известный исследователь Америки Михаил Михайлович Зоценко в своем капитальном труде «Баня» открыл Америку, взял мочалку и пошел в Сандуны. Там висела на колу мочала.

На одних валентных свойствах двух глаголов он построил целую диссертацию, а у нее было 222, а с нее требовали как на докторскую. Беллочка ошиблась. А бог с ними. Она уже успокоилась. Не бреди ее душу. На ночь глядя, тем более. А юмор хорошо только с утра пораньше.

В переулке тот же тополь, но по-весеннему свеж, умыт, чист. Праздник всегда с тобой. Гертруда Стайн всегда со мной. Все начинается снова. Мы возвращаемся к 40 лет назад. Все это нам нужно, чтобы попасть в то время, когда нас не было. Это самое интересное, потому что скоро нас не будет.

Вот когда будет твое 60-летие, тогда я досижу до конца.

Прошел год 2002-й, и ничего не случилось. Год как год. А к новой цифре через месяц привыкли.

Половина земного шара соскочила с орбиты, но жизнь продолжалась.

На новой орбите ничем не хуже.

Веселая Земля (теперь в виде двух космических кусков, Запад и Восток) все так же летела по Солнечной Системе. Член Солнечной Системы с 2002-го года только еще начинал учиться ходить и с Янушем Корчаком еще не познакомился.

И Леонтьев, и Лащенко, и Наровчатов, и Есенин, и Багрицкий, и Маяковский, а потом 22 волны новейших поэтов. Все титаны. Все борются с гигантами. Все гении. Когда среди гениев попадается талантливый человек, ну тогда совсем здорово.

Финансист загрустил. Пройдет. Стоик, кинь ему кость. А то титаны не обращают внимания. А он скушает. Пусть гложет. Пусть обрадуется. А вурдалак — это кто-то еще. А он думает: ну вот, а про меня забыли.

Руда низкого качества, жатва в пути, слишком много побочных продуктов успеха (еще раз ППУ), да вы дочитайте сначала, а потом уничтожайте. А ты запомнил, что там было?

У самого себя отбивает хлеб. У самого себя украл кусок хлеба. Сроки поджимают.

Вот она,
крылатая победа с перебитыми крыльями,
НИКА (не видел ни разу).

Из скромного домика возле чугунных ворот Бутырской тюрьмы в апреле 1940-го года вышел молодой парень на двух костылях. Он проковылял до Савеловского вокзала, взял такси и подъехал к Бутыркам. Вертухай вынес чемодан. Шофер поинтересовался: а сестра примет? Она у меня хорошая. Она мне деньги каждый месяц.

Конькобежец получил костыли.

Вот идет идеалист с перебитыми ребрами. Мало тебе ребер, собака, перебили в Бутырках!

Айхен-крюккен-трэгер онэ кройцен унд бриллиантен.*

И тюрьмы родины гостеприимно распахнули свои чугунные ворота.

Сладкий запах успеха у Татьяны Самойловой в этот год — все время одна фраза: где же вы были раньше? И на Потешной тоже не оставили в покое. Все предлагают дружбу. Каждый сам ему приносит и спасибо говорит.

Листья. Сухие листья. Новые листочки.

Смрад.

Истлеют падью листопада.

Генерал Листопадов из дивизии Доватора помнил «Алекс» в Берлине. И вонючий курятник в Дюссельдорфе: там держали 4 дня на одной воде.

А в соседней камере сидел Рокоссовский.

А Туполева посадили за Мессершмита.

Сладкий запах успеха, как вонь падали, — аромат чужой судьбы — привлекает косяки индивидов. Вот опять бежит фаллоцентричный индивид. Он бунтует только против девок. А борется против своих идейных противников насчет «не в ту дыру палец».

У Д.Г.Л. не все на эту тему, но с вас достаточно, прочтите «Любовника», и вы будете в общем в курсе.

До чего смешно, все говорят одно и то же: давай дружить, а?

* Дубовых-костылей-носитель без бриллиантов и крестов. (примерно) (нем.)

Как они все любят описывать импотентов, и у всех почему-то это называется или отмщение, или возмездие. Даже Сельвинский. Даже Шолохов. Уж об А.Толстом молчу. О Ж.-П.Сартре и говорить нечего.

Ритуал рассчитан на вечность. Это хорошо. Да уж куда лучше. Лицейский стол навыворот. Не люблю, когда интеллигенция говорит о Бетховене. Чьи это слова? Ее. Она не любит этого: в ее словах всегда кто-то хочет найти кого-то за ее спиной. За ее спиной никого нет. Вы это наматываете себе на ус. Она — это она, и никого больше с ней не надо. Она сама по себе. А вы ей понравились своим хорошим отношением ко мне. Полюби меня за мою красивую любовь к другому. Она деловито проделала рискованный акт. Две подушки: на одну лечь, другой накрыться. Высшая степень чисто женского восхищения. Прошло 7 лет. Заиграла мутная вода. Потом детектив. Потом уж развод с Симоной де Бовуар. А «Мандаринов» мы так и не прочитали.

А чревоугодница не чурается и чисто чекистских чувств. Она все-таки работает. Книга уже написана. А карманный формат — это второй том. Не считая всего остального. Не считая.

Театральный подъезд, тут чувствуется жизненная сила. Мощь длинноногой супруги: тоже доверчиво улыбается. У нее только времени не хватает. Сама тоненькая, а диссертация толстая, в 3-х томах. Царь Соломон был восхищен.

Упала с грохотом книжная полка от пола до потолка, он подумал: началось!

Слова уводят в закоулок давно забытых времен, а нам надо вернуться к тому времени, когда нас не было, чтобы увидеть то время, когда нас не будет, а это будет очень скоро.

А мир все тот же.

В Афинах был бы Периклес. А в Риме был бы Брут. А Римма? А Рэма? А Рома?

Аромат отпугивает.

Когда в осеннем саду (21 октября 1921-го года) белобандиты казнили учителя-агронома и его товарища-кооператора, сад был тот же. Жесткий век — абстракция, и «Саламбо», и Лиз Тейлор через раскопки памятных мест Иудеи еще раз утверждают цветение деревьев весной на рассвете. Вот взошло солнце. Для вас все так же солнце встанет сиять огнем своих лучей.

От палачей до палачей.

Чей?

Это значит, назови фамилию.

Дед был казак, отец — сын казачий, а ты знаешь — кто? Знаю. 25 раз слышал. Шолохов всю жизнь повторял шолоховские шуточки.

Линия горизонта на рассвете в городском пейзаже в двух шагах от Кремля — будет одна воронка (см. кусок Москвы отвалился, как отрезанный ножом) — это же крыши, дома и еще раз крыши. Крыши большого города. Ноги Парижа. БНПЖ. Ближе, мой Бог, хоть и через крест, но ближе к тебе, мой Бог. А я ближе тебя.

Черный флаг развевался на доме правительства в праздничный день. Черным казался на фоне восхода. Не слышно переклички петухов, не мычит корова, не ржет кобыла, не кричат лягушки. А в степи стоит неумолчный, нескончаемый, усыпляющий, монотонный треск кузнечиков. И хождение по мукам, и 3 ночи на Спиридоновке, и «Четвертый Толстой» через непростого несоветского Бунина (там про племенных жеребцов и глаза вождя — жжжжуть), но главное — обмотать голову полотенцем и дать еще один вариант.

Ему важен был сам процесс переработки. А его раздражают варианты. Ты будь добр, дай окончательный текст и ничего не меняй, а то тут и без этого запутаешься.

И конечно, Буало про царя Пирра. Пиррова победа ничем не хуже поражения Кунктатора. А он еще и прокрастинатор. А он еще и компрачикос.

p.329 Nowhere in America can you find a cleaner set of filth than we produce. An ugly word never appears.

Then we went to bed again, if you know what I mean.

It conveys everything but doesn't say anything.

То же самое.

That's the problem.

INSPITE THE ABSENCE OF CONFIDENCE AND TRUST EVERY STEP IS TO BE BASED ON CONFIDENCE AND TRUST.

So much for this item.

Зиновий Сандлер написал в 38-м году рассказ о портрете Сталина. Поэт Коган сказал: пошлятина! Сандлер сказал: совокупились? Коган был взбешен. В «Комсомолии» висел дружеский шарж: поэт Коган в роли Париса в тигровой шкуре и с голыми ногами, а рядом — «Ухожу, как Парис, за своею Еленой, за своею безумной тоской ухожу». Шел 38-й год. Еще никто ничего не знал ПРО. И 8 декабря 1938 года никто ничего не узнал. Жирным синим карандашом на ордере на арест Берия поставил две буквы «ЛБ».

ЛТПБ было потом.

Зиновий Сандлер пришел в 37-м году вместе с Лащенко и Наровчатовым. Был интерес к теории литературы в трамвае маршрута № 40 от Усачевки до Дворца Советов. (ЧДСВ РИК? — цена 40 коп!)

ГОЛОС НМ:

— А пошлите вы его в Публичную библиотеку.

НОЧЬ В ЛЕНИНГРАДЕ

а тут летит АвтоЖИР

тогда еще не было слова «вертолет».

тут место для цитаты из Валентина
Стенича, переводчика романа Дос Пассоса «1919».

Крупными буквами:

ВАМ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК КОГДА-НИБУДЬ ХВАТАЛО БАБ?!

*А тут рисунок:
БАОБАБ*

А мальчику не хватало девочек.
Почему во множественном числе?
Потому что ОДНА у него была.
И на всю улицу Горького
впяты белые ноги породистой
женщины.

Он ее уже любил.
Девичий голос: ой, милый, ой,
что ты делаешь, ой, милый,
ой!!!

А тут вертихвостка
вертит хвостом.

НОЧЬ В МОСКВЕ
Ритмические звуки в
полной темноте.
Какое-то чавканье.
Странные звуки.

НОЧЬ В ЛЕСУ
Отвези меня, шеф, в Останкино.
Я взгляну на корпус 8,
комнату 2.
Жили в Киеве два друга.
Удивительный народ.
А что значит наоборот?

Крупным планом штамп:
ФОНТАНКА 44

Фонтаны бьют.
Курится фимиам.

Пальчики играют: слишком много было аплодисментов, переходящих в бурную овацию. Потом ссора: где ж ваши пулеметы? где бомбы? говенная была ваша Ленинская народная партия! сами вы Г! Но я не переходил на личности!

НО ВЫ ОСКОРБИЛИ ИДЕЮ??!!

Фотография пулеметчика с четвертого взгляда поражает опасной игрой с огнем. Днем с огнем не сыщешь фотографию полковника. При чем тут театр? А при чем тут Кафка-драматург?

Фотография пулеметчика — первый снег с последнего взгляда — я люблю пережитые были в грустный вечер близким рассказать, но ракурс не тот.

Вот стоит бритый солдатский затылок литвождя РСФСР, тут вход для избранных, и надпись «Трибуна», но для нас играет только табличка на Арбате: «Военный ТРИБУНАЛ Московского военного округа».

В аквариуме витрины режутся декоративные рыбки.

Полковник юстиции Титов подписывает человеческий документ. И подпись расстрелянного вилась струей из простреленной головы. И писатель, написав последнюю книгу в камере ВТ, выбросился в окно. И подпись недобитого лениниста — аккуратна и каллиграфична, как у первого ученика. И подпись главного психиатра НКВД СССР — как на Нюрнбергском процессе. Сидели бы они (Гebbельс, Геринг, Риббентроп) в «Ротонде», никто б на них не обратил внимания. Вот вам Илья Эренбург. Не ждите большего.

Подпись президента Штатов на паспорте в Южную Америку у Владимира Набокова: начались каникулы, пора охоты на тропических бабочек, мы едем по Амазонке.

Серое жесткое тюремное одеяло и слезы над миской сухой каши: девушки вели себя совсем не так. Тоже были разные.

У цветущих вишен для первого снега не хватает пятого колеса.

Он не знает, надо иль не надо сны свои рассказывать в стихах. А. Леонтьев в мыслях погиб под Гвадалахарой, где комиссары интербригады склонились в пыльных пилотках. М. Кольцов смотрел на Испанию сквозь чужую кровь на своих очках. Яростней, чем прежде, вновь. Ю.Трифонов встретился с новой Испанией в степях Казахстана. Уэска для него не пустой звук. И голос Сельвинского 1937-го года: все это ерунда — стихи Сурков, Пастернак, аплодисменты, переходящие в бурную овацию, — по сравнению с последней телеграммой. В новом сером костюме, тщательно отутю-

женном, вышел на трибуну и, сделав пренебрежительный жест в сторону поэзии, зачитал текст телеграммы из Испании. Зал ревел от восторга.

Мы шли в шеренги студенческой дивизии, с винтовками на плече, локтем чувствуя запах судьбы, и косили взгляд на Сталина. Строки Анри Барбюса были как Ветхий Завет. Кровь дрожала на Красной площади. Но вот поворот налево на улицу Разина, ряды смешались, винтовки скособочились и чувство локтя исчезло. Вы заметили, что у Сталина такая же шапка, как у Павла?

Первый снег в Останкино совпал с первым звучанием голоса Сталина через репродуктор на съезде по поводу Конституции. Он говорил “е”се-се”сер”, и всех охватывало недоумение. Никогда раньше не слышал его голос.

Взрывы зенитных снарядов в небе 1942-го года будут потом. Сколько стояла Парижская коммуна? Вот где руны у старика.

Тогда надо ставить и свое имя, как лыко, в сторонку, а это противно, как подписывать у следователя навязанный тебе протокол.

Тогда надо выбрасывать все имена. Тогда вообще ничего не надо. Выкрасить в красный цвет и выбросить.

Умом мы жили и пустой усмешкой? Да, мы жили умом, но усмешкой жили вы, а мы только потом догадались. Как ограничить себя только днями первых 6-ти месяцев в Москве 1936-го года?

Любовь Орлова играла эту роль.

Девушка спешила на свидание.

Мы покупали французские словари.

Шурик Шелепин еще не ушел с головой в комсомольскую работу.

Яков Миндин еще не разошелся с Павлом Улитиным: продолжался период философической дружбы.

Люся Лозинская предложила билеты в театр, Павел Улитин, нахал, отказался. Такие они, из провинции. Не знают и не понимают, что дружба начинается с билетов в театр.

И замысел критического труда появился только в конце первого семестра, а трехтомник Белинского был куплен в том магазине весной 37-го года.

Фотография студента из той фотографии, которую потом снесли, сохранилась в старой зачетной книжке. Галя увидела карточку на столе в деканате, но спросить побоялась.

Она готовила валенки для предстоящей посадки.

Следы женских каблуков — первый снег в Бутырках 38-го года — на дорожках дворика для прогулок: она или не она?

И чего это всех девушек привлекают враги народа?

Ну, поцелуй меня хоть один раз!

Она отдавалась, а он был влюблен в другую. Подъезжая под Ижору, он взглянул на небеса.

Никто не знал, что была третья. Она-то и была первой. Такой тихоня-академик-критик-теоретик! Кто бы мог подумать? Вопрос во время обыска на Усачевке: почему у вас так много девушек? Сколько полагается.

Оружие есть?

Опять ненужные слова чужих ритмов выброшенного сюжета. Это же про резидента.

Первый день в Москве — не надо ничего придумывать. Он как вчера. Но все время идет перестановка. То работают потусторонние соображения, то идет перебивка позднейшими кадрами.

Первый раз на Усачевке и первая ссора с девушкой: она простила, но у меня была нечистая совесть. Опять Москва отняла тебя у меня. Опять. История повторилась через 20 лет.

Мертвые остаются молодыми.

Молодые остаются жестокими.

90 минут кино — как ветер: ушли кадры, замелькали люди и лица на улице, левые и правые и центр (из английской комедии) ближе, чем второй взгляд на первый снег.

У цветущих вишен возле плавательного бассейна совсем отвлекающий разговор. Вот вам реакция новейших поколений: им нравится З.Сандлер и казарменная острота военрука. Идет металло-арбузный институт!

Поэты, теоретики и эстеты с винтовками в 36-м году — все гении и все гады вышли из ИФЛИ (так вы тоже старый ифилИтик?) — чуть-чуть похожи на потомков издания 65-го года, но больше на подпольщиков-народников и революционеров Пятого Года. Третьего пути нет!

В Сокольниках раздели Ленина.

Потом к рисунку лыж на борту лыжной куртки приглядывался с подозрением тюремный офицер НКВД на вечерней поверке в Бутырской тюрьме. Ему всюду мерещилась свастика.

Свастику искали всюду. И находили. На картинах в Третьяковке. На школьных тетрадах вдруг кто-то прочитал: долой ВКП(б)! да здравствует троцкизм!

Это он убил Кирова?

Латинист (добрый старик) спросил, показывая на значок ворошиловского стрелка, под которым были вышиты скрещенные лыжи: это что значит? Это ворошиловский стрелок. А лыжи что значат? А лыжи ничего не значат. Лыжи были случайность без значения. Хотя потом на финском фронте зимой 40-го года заиграли и лыжи.

Комсомольские вожди ИФЛИ вошли на урок латинского языка в противогазах и сфотографировали надпись на доске: Аве, Цезар, моритури те салутант. Потом фотография была в стенной газете ИФЛИ «Комсомолия».

На этих ритмах далеко не уедешь. Пусть торжествует элегия Массне. Пусть долгоиграющая пластинка с голосом Эдит Пиаф через эскизы Тулуз-Лотрека, перебив Малый Иллюстрированный Ларусс, настраива-

ет на вишневые сады в конце января. Хотя нас волнует гроза в начале мая. А думать мы должны про советскую нацию и советскую расу.

И все это на советском языке.

Все равно читается только самый крупный шрифт.

И к Ромену Роллану в Бутырках возвратиться надо своевременно или чуть-чуть позже. Но не раньше.

И к акварельным словам про величие и историю современника нет возврата. И тридцатитомник Ленина. И Писарев, присланный из Москвы. И поблекший Добролюбов.

Сколько раз можно спотыкаться об один и тот же камень?

Кто бросит камень в этот пруд?

Он и бросил.

Он написал записку антисоветского содержания. Так объяснила арест Нина Гаврилова в письме к матери арестованного студента.

Текст записки все ифлийцы, присутствовавшие на лекции политэкономии у профессора Дворкина, помнят наизусть.

Доктор Тарубаров наклонился и сказал: не волнуйся, профессор Дворкин арестован. Я так и до сих пор не знаю, правда это или нет.

Страницы за страницами утренней стенограммы идут в архив: не работают на линию фотографии пулеметчика. Накал пропал. Заяц и тут не растерялся. Заряд потрачен впустую. Палил в чистое небо, как в копейку.

И волна запаха по дороге с рыбалки не туда играет. И датских девок белотелых не ласкал товарищ Гамлет на скошенном лугу. Гамлет решал вопросы. Все мы решали вопросы. Письмо из туберкулезного диспансера. А кончили — чем?

Опять было потом.

Вот черт.

Не могу.

Нет.

Так, так, так, — говорил пулеметчик. Так-так-так, — говорил ПУЛЕМЕТ.

ЕЩЕ

14 СТОЛЕТИЙ

ДО КРИКА

«БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ».

В. Росляков:

— До той минуты еще так далеко, что ее еще может и не быть.

Но она была.

НО ОНА БУДЕТ.

Трезвый голос:

— Если он уцелел и процветал, так он не сохранил фотографию П. А если бы он сохранил, то он бы не уцелел и не процветал.

Речь о сценариях кончилась.

И 10 гранат не пустяк.

А договаривает все граната.

И снова бой.

Ограбленная молодость твоя.

Кто защищал великую идею?

Бутырский пленник:

— Значит есть все-таки люди, которым дорог ленинизм?

После Анджея Вайды и Збигнева Цыбульского:

— Суковатая палка — память о неразделенной любви к ленинизму. И снова пулеметчик торчит у погоревшего жилья. И плохая песня на хорошие слова Багрицкого. И неудачная иконография с поэтом Коганом через журнал «Советский экран». И память о Зиновии Сандлере через фильм «Первый снег». И хохот мальчишек в зрительном зале.

Все горит, атомный удар уже нанесен, а все смотрят и смеются. Пускай под атомный распад в Москве проходит лето. Пусть торжествует детектив над трупом рядового Коржавина. Хай живе гай и хвалыночка! Петри, хайль!

А я еду на Выставку (достижений народного хозяйства) ловить карпиков на прудах Выставки. Мне ассигновано 50 копеек на червей, 1 рубль на лодку и 50 копеек на удочку. Целый час я смогу чувствовать себя рыболовом.

А все равно лучше всех 1925-й год.

Вот к нему мы и возвратимся. 31.5.65

Дедушка, а чего вы не катаетесь (на коньках)? Я свое уж откатался. А-а-а.

Мы еще не жили, а уж нам сказали: пожили, пора.

Пожили! пора!

Пора.

новые ракурсы

П. Улитин погиб под сапогом вертухая в Бутырке.

Так и запишите.

Из Бутырки на костылях вышел совсем другой человек.

31.5.65.

ПЕПЕЛ

от пылавших

мозговых извилин

ссыпался, холодный, потух, и опять пустота.

Одна веселая и многозначительная фраза по телефону:
— Вам бы от нас что-нибудь, а уж мы от вас как-нибудь!

И я ничего не понял.

Короче, или Дамы, или Гусары.

Театр Вахтангова: серебряный бор, черные птицы, идиот, миллионерша, живой труп, ну и конечно, дамы и гусары.

Вчерашний ракурс затмил пушечный эффект. А пушечный эффект затмил одно ослепительное видение. А видение было только один раз в жизни. А видение было ярче тысячи солнц.

Новые ракурсы.

Орбитальная ракета заслоняет полплощади. Так пикирующий бомбардировщик отбил охоту читать Гете. Пишите или мы вам отбили охоту? А Шпенглер и Шопенгауэр — только подставка, чтобы заглянуть в щель женской купальни.

Ритмы «Над вечным покоем».

А им нужны барабаны и трубы. А им нужны оратории и кантаты. И марши. Опять лишь марш в эфире.

А я на рыбалку.

Тут же на Арбате за 3 копейки продается Наровчатов. У него на портрете свирепый вид, но вы же знаете Сережку! Пес, девчонка и поэт Наровчатов — купить, конечно, дешевка, но киоск закрыт.

Тут же «Москва»: как много в этом звуке, а журнал — пустота и скука, одна мУка, ничего себе, ничего другим.

То ли дело ТРИБУНАЛ.

Сочинитель, сочини мне сочинение про то, что меня ожидает. Вот тебе «мысли для меня» по-французски, Марк Аврелий за 45 копеек из Парижа. Все равно прочитывается только самый крупный шрифт. См. вырезку с фотографией гигантской пишущей машинки. А рядом — карманная.

Трибунал, аквариум и религия. Не считая Вахтангова. Не считая.

Теперь это называется Военный трибунал московского гарнизона. Тут свирепствует любимец ГВП. Какое отношение ты имеешь к Гарнизону? А самое непосредственное. Тут хранится самое полное собрание дайджестов по самым погибшим сочинениям в архиве военно-полевого суда. Разве у нас сейчас война? Почему военно-полевой суд? Вот и я так думал. Вот и они так думали. А военно-полевой суд не чикается: или оправдывает, или расстреливает.

У витрины зоомагазина на Арбате толпа рассматривает декоративных рыбок.

— А давай тебе купим аквариум, ты в нем будешь удочкой ловить рыбу.

— А ты в нем будешь уху варить.

— Но они же несъедобные!

Все перемешалось: первый снег, расстрел, залп гвардейских минометов, стихи, винтовки, левые, правые и центр, «у каждого народа такое правительство, которого он достоин» и «чума на оба ваши дома».

Кто куда, а мы в кино.

А все остальное выброшено за борт.

На улице Веснина, если от зеленых тополей поднять взгляд вверх, увидишь небо, и высотный дом, как корабль, летит налево, значит, облака плывут в Абакан.

Брожу по старым улицам, вхожу в комнаты, которые давно не существуют, слышу слова, вижу людей, и нет желания их воскресить.

Первый день — да, первый месяц — да, но не больше. Пропал интерес. Будто к старой повести давно зачитанного классика. Ух ты, а небо пылает! Не оживить. Не освежить. Ушло.

Как Марк Аврелий по-французски.

А казалось бы: что прошлое, что будущее, — какая разница! Увы, не вы! Одни и те же только шутки у разных людей в разное время. Как писать акварелью огурец. Как рисуюн пером. Комиссия ученых текстологов во главе с профессором Фердыщенко трудилась над Достоевским.

Или гнется или ломается.

НО Я так думаю! Вот ужас. Наивный человек: не знал, что у всех так. И что сам сможет думать совсем иначе. А искал «только одно». Только одну идею. Только один путь. Только одного вождя.

Соловей проснулся. Капает вода из водопроводного крана. Шуршит счетчик.

Шуршание счетчика сразу переносит в 30 лет назад. И тут ничего не расскажешь. И тут то же самое. Странная вещь.

От Пентаграммы твоя боль? А Секстет — радость?

Восход солнца над Москвой, линия горизонта в городском пейзаже: крыши и антенны телевизоров, а небо пылает. Городской пейзаж у Достоевского — 2 строчки — реакция на целые страницы у Тургенева. Как у Чехова. Стремление оттолкнуться. А вот и Беккет и Ионеско в своих отношениях к английскому и французскому.

Один Франц Кафка почитателен к немецкому.

Растекается, затухает. Язык кино. Как чужие сны.

Как ФМД — первая любовь — через 20 лет.

А старики соблюдают нейтралитет. БЛЮДУТ свои стариковские интересы. Гамма, еще что-то и колорит. Девочка в белой кофточке из музея на Волхонке. Отдыхаешь на проблеме досуга. Валяй!! Сам не люблю это слово в чужих устах.

Отработанные кадры опять возвращаются. У новых слов та же судьба. Что-то запоминается, что-то остается, а все остальное уходит, как облака в Абакан. А картинка в мозгу стоит и стоит. Потом приходит пустота. Потом приходят новые ракурсы. А потом опять — возвращение к забытым словам и отработанным кадрам.

Как чтение Достоевского 20 лет спустя. Возрождается чужой вкус, но все равно срабатывает отталкивание. Кипение эмоций — да, чужой ха-

рактер — да, но тот же язык. Забытые слова — да, но все это уже было и еще будет. И будет еще не раз.

Почитать Достоевского, полистать Чехова, открыть Олешу — ни дня без строчки — и — как 20 книг для чтения с машинкой: милый-милый смешной дуралей. Дело ведь не в количестве! Прошло, как то пройдет всецело, что ты и дышишь и живешь. Всех чаще мне ОНА приходит на уста.

ТА ТЕМНОТА

Свет и пустота.

А у них свежий взгляд на свет, гамму и колорит. Им все это еще предстоит.

20 раз по 20 листов испорченной бумаги: никакая цветная тушь не оформит, не пробьет, не отсортирует. Тут все как-то иначе.

Калитка в стене.

Игрок.

Не в рулетку, а в крокет.

А ближе всех игра в слова.

Та же логика и та же диалектика. От всех тревог всех поколений останется одна сказка. А новые мозговые извилины будут пылать под напором новых слов и старых вопросов.

Умы.

Умыкнули метод.

Водоворот.

Вихрь.

Смерч.

Гроза.

Буря.

Визг.

Ломаная линия.

Зигзаг.

Вам придется идти путем зигзага. Ломаная линия молнии. Как тот нахал: водородный взрыв? белый гриб? не видел, не знаю. а вы видали? Видал. Во сне.

А потом СМЕЕТСЯ.

А потом еще что-то.

А потом ОПЯТЬ.

Ни одного слова про фотографию пулеметчика. И не надо. Выбросить. Забросить. Оставить. Отставить.

У Бисмарка насморк.

Он не пускает мыльные пузыри. Он не бросает слов на ветер. И еще один «он».

Синедрион. Камилл Фламарион. Аполлон. И еще один «-он». Все занимаются одним и тем же.

Страшно хочется увидеть иконоборца, но если он действительно да, то от него скорей бежать: опасный человек! Страшно хочется иметь вождя, но еще страшней, если вождь от тебя что-то потребует. А он не вождь. А он не диктатор. А он не тиран. А он не Христос. А он не Бог. А тогда бейте кумиры. Крошите идолов. Презрение срabатывает в ту и в другую сторону. И тут и там отталкивание. Если да, то опасный человек. Если нет, то ничтожество.

Что это такое?

Пчела жужжит за 5 минут до пробуждения. За 5 секунд, я хотел сказать. В эти 5 секунд все и происходит.

Как 90 томов чужих сочинений в доме. И поставить некуда. И прочитывать некогда. И не наша забота — влезать в чужую шкуру. Нам и своей не хватает. И шкуры и заботы.

Отработанный пар пошел гулять по чужим мозговым извилинам.

Ветер.

Но иногда ветер освежает.

Некто в сером пиджаке испортил слово «затворник». Опять пошли сукинсынистые интонации.

Чего больше всего желает, того больше всего боится.

И хочется, и колется, и маменька не велит.

Искусство и любовь, любовь и искусство, а природы меньше всего. Дамская повесть, но в 18 веке выражались изысканней. Галантный век потому что. Стоицизмом их не прошибешь. Тут все стойки. И аскеты. И аскеры стали отшельники. Анахореты! В борьбе за это.

От «Каина и Артема» до «Пепла и алмаза» — и тут пропасть чужих уловок. Но есть хоть ракурсы. Но есть что-то освежающее.

10 незабываемых минут.

К о н е ц

ф о т о г р а ф и и

п у л е м е т ч и к а

Предисловие и публикация М. Айзенберга.

Зиновий ЗИНИК

ПРИВЕТСТВУЮ ВАШ НЕУСПЕХ

Памяти Павла Улитина

Тюрьма, сума и сумасшествие — самые запятые мотивы русской литературы, и главный вопрос в том, как от них отвязаться, если забыть их окончательно невозможно. Павел Улитин сумел уйти от тюрьмы — в невменяемость, изъясняясь со следователем цитатами из английской поэзии и переняв стиль тюремных допросов как авангардную литературную манеру. Он не превратил тюремные кошмары своего прошлого в превратные картины будущего в назидание тем, кто на обломках самовластья забудет наши имена. Признанный невменяемым, он спасся от лагерей, но не от инсулина за тюремной решеткой. Но он не стал называть свою болезнь души — свою отчужденность и неприспособленность к жизни, свое нежелание присоединиться к коллективу и к литературному застолью — инакомыслием духа, и не рассуждал о безумии как официальной печати, заверяющей гениальность. И о тюрьме, и о сумасшедшем доме он говорил с высокой иронией человека, сознающего, что тюремная стена и тюрьма сознания протягивается не только через все страны, но и через все столетия, и в каждом из них можно найти собеседника. Но самое главное: он выпутался из самого страшного биографического клише, уготованного ему историей, — судьбы хрестоматийного героя советской литературы.

Он родился на Дону через год после Октябрьской революции, в станице Мигулинской, в семье землемера. Отца своего, Павла Филипповича, он почти не помнил. Тот погиб, когда ему было три года. Его зарубила белая банда, и матери, Ульяне Ивановне, единственному врачу в станице, пришлось самой пришивать голову мужа к туловищу, чтобы похоронить. Павел Павлович рассказывал, что первое его детское впечатление было: он проснулся среди ночи и увидел плачущую мать с головой отца в руках и горшок, полный крови. (Я вспомнил об этом, когда узнал, что во время похорон, по словам его друга, поэта Юрия Айхенвальда, «голова Павла как-то сбилась на сторону, я пытался ее поправить, но тело оказалось другим, не поддавалось. У меня так и осталось в мышцах рук ощущение этой бесповоротной неподатливости».) Казалось, молодой герой «Тихого Дона», переехав в Москву как студент ИФЛИИ вот-вот станет героем романа «Русский лес», если бы он, в ту эпоху «истинный ленинец», не послал анонимной записки лектору по общественным наукам о противоречиях между словом и делом в лозунгах сталинизма. И не угодил бы за это в тюрьму. Но даже в этом шаге все еще жила литературная выправка его тезки по роману о том, как закалялась сталь.

Этой стальной выправки не сломила бы и тюрьма — сколько героев его поколения, при всей своей страдальческой судьбе, с готовностью переняли язык сталинской эпохи с его пафосом и морализаторством? (Ему не удалось избежать лишь последствий своего крещения в детстве: его, далекого от какой-либо церковности, хоронили по православному обряду, и на лоб положили полоску бумаги с молитвой — не им написанной.) Далеко не божественная, скорее жуткая в своей бестолковости борьба за выживание оставила свои библейские следы и на его внешности: например, в виде хромоты. Но даже инвалидная палочка хромающего после тюрьмы человека обретала, вместе с беретом, некую театральную бутафорскую веселость: это был берет завсегда парижского кафе, это была палочка лондонского денди. Он всегда гляделся отчасти как пришелец.

Он, собственно, и был везде пришельцем. Даже родители его в казацкой станице были не из местных, а приезжие русские. В Москве он тоже был «приезжим». Его мытарства по общежитиям в годы студенчества и по чужим квартирам, переезды — с ощущением: навсегда! — в Москву и обратно, в донскую станицу, не превратили, однако, географию разлук в единственное движение души. Ему вообще чуждо было линейное, вроде железнодорожного расписания, мышление: разная география, как и разные эпохи соседствовали у него, особенно в поздний период, в одной фразе, на одной странице. Он как будто боялся застрять на месте, оказаться прикованным к одной тюремной стене, к одной эпохе, к одному продавленному дивану. События разных лет, соединяющиеся словесно в его пересказе в одну смысловую линию, происходили как бы одновременно. А если учесть, что он помнил конец прошлого разговора многие годы спустя, времени для него тоже не существовало. В той же степени чуждался он и линейного сюжета: сюжет подразумевал одну ведущую идею, цельную идеологию (хотя бы на время романа), а всякая внешняя идеологическая окончательность ему претила. Или же он был просто-напросто неспособен на подобную цельность?

Что же, когда и как сбило его с толку, с хорошо протоптанной стези советского героя? Что заставило его отказаться от ходов советской речи и, в конечном счете, от литературы в общепонятном, общепринятом смысле? «Как славно здравый смысл народа звучанье слов переменил: недаром, видно, от ухода он вывел слово уходил»*, любил он цитировать

* У Тютчева: «Как верно здравый смысл народа
Значенье слов определил:
Недаром, видно, от “ухода”
Он вывел слово “уходил”».

тютчевскую эпиграмму. «Мне пора уходить», говорил он перед уходом. Разговорное клише превращалось в экзистенциальный каламбур. Перед своим окончательным уходом он дописывал письмо матери — туда, откуда не возвращаются. Когда и как случился перескок в «невменяемость», в заумь, в другой язык? Был ли это перескок или постепенный уход, тем более сознательный, что даже в 70-е годы документы самиздата вызывали у него грустную усмешку именно потому, что были написаны «о том же и тем же языком» — языком противника.

В его уходе в другой язык (в буквальном смысле тоже: он исписывал страницы иностранными цитатами), как и во всей его литературной деятельности, есть чисто биографические причины — вне зависимости от идеологических резонов. Это не значит, что он, в духе русских символистов или Оскара Уайльда, путал жизнь и литературу — в конечном счете, его ежедневная жизнь была рутинной, скромной, вполне упорядоченной жизнью частного преподавателя иностранных языков на дому. Однако эта литературность его биографии и биографичность его литературы — скорее от постоянной, почти физиологической потребности просветлять каждый свой шаг, свой поступок словом. Нас пытаются запугать анонимной беспросветностью этого мира. Поразительное умение найти точное слово, фразу, цитату для самых подавляющих депрессивных поворотов своей судьбы создавало удивительное ощущение просветленности всего его облика. Он пытался отыскать названия анонимным пугающим нас вещам, пытался в мировой литературе проследить цитаты чужого опыта, чтобы не сойти с ума от ощущения уникальности собственного страдания, избавиться от ощущения одиночества и якобы неповторимости советского убожества. «Давайте встретимся», — говорил он в телефонную трубку. — «Я пойду вам навстречу. Слышите?» Он шел на встречу. Он хотел увидеть себя в других и других в себе. «Самого себя» он не искал: он им был.

Он носил в себе другой, иностранный язык с детских лет. Его мать, образованнейшая по тем временам женщина (выпускница Высших женских курсов в Петербурге), обучала его немецкому. Хотя «Фауст» в оригинале был его настольной книгой, немецкий, как это часто бывает с языком школьной поры, оказался именно тем языком, который он знал хуже всего: в отличие от французского, на котором он свободно изъяснялся, и английского, который стал его вторым родным; в смысле владения английским он был практически двуязычен. Тем не менее, немецкого оказалось достаточно, чтобы именно цитатой из «Фауста» отбрызнул солдат Вермахта, когда, во время оккупации станицы Мигулинской, тот стал подозревать в Улитине советского военнослужащего, демобилизованного в связи с ранением. Ранение (хромота) было результатом увечья во время допросов и отсидки в карцере Бутырской тюрьмы перед

войной, но, видимо, с точки зрения немецкого солдата знание языка «Фауста» само по себе реабилитировало Улитина, ограждая его от каких-либо подозрений в связях с советской властью. Как достаточно оказалось, десятилетие спустя, нескольких английских фраз, чтобы изобразить из себя иностранца перед милиционером у проходной в Американское посольство в Москве, куда Улитин попытался прорваться (в жуткую эпоху — за три года до смерти Сталина), с анекдотической авоськой в руках, набитой собственными рукописями. Этот шаг был, как сказал бы Виктор Шкловский, материализацией метафоры: это была попытка прорыва в другой — анти-советский — язык, в буквальном смысле — через границу. Вместо этого он угодил в еще одну метафору — за границу иного рода — за рубеж нормальности советского бытия: он был помещен в Ленинградскую тюремную психбольницу. Но и там он сумел переплести жизнь и литературу — в буквальном смысле: овладел ремеслом переплетчика в мастерских больницы (трудотерапия), где переплетал не только классиков, но и стенограммы его разговоров с новыми друзьями-сокамерниками.

Все, что известно о нем, рассказано им самим. Все, что он рассказывал, действительно произошло. Неизвестно, однако, происходил ли тот или иной конкретный эпизод с ним или с кем-то еще. Я помню, как он говорил о случайном столкновении в тюремном коридоре с еще одним подследственным, которого тоже вели на допрос. Он увидел, по его словам, передвигающийся скелет и ужаснулся. Только позже, ночью в камере, до него дошло, что в глазах встречного он, очевидно, выглядел точно так же. Я многие годы пересказывал другим эту историю — в ней была символика той эпохи, тем более пугающая, что не нуждалась в интерпретациях и расшифровке. Пока, наконец, не наткнулся на точно такую же встречу в тюремном коридоре на страницах «1984» Джорджа Орвелла. Речь идет не о плагиате: просто Павел Улитин предпочитал говорить о собственном опыте чужими словами. Может быть, многократные требования многочисленных следователей на протяжении многих лет расписаться под протоколом допроса отбили охоту изъясняться искренне, лично о себе, своими словами? Недаром его реакция на подпись великого инакомыслящего под очередным посланием вождям — была: «Неужели ему еще не отбили охоту выписывать свою фамилию под протоколом?»

Он наизусть знал почерк и манеру расписываться десятка русских классиков. Его анти-сталинская записка лектору на втором курсе ИФЛИ (впоследствии Литературный институт им.Горького), послужившая непосредственной причиной его ареста, была послана анонимно. Но кто-то идентифицировал почерк. Не с той ли поры сличение почерка и вообще каллиграфические упражнения стали его страстью? Его позднюю прозу следует скорее созерцать, нежели читать в традиционном смысле слова.

Оригиналы рукописей Улитина — это еще и своего рода визуальное искусство. Вид рукописи тут не менее важен, чем сами слова: тут все играло роль — расположение текста на странице, мозаика из подзаголовков, полиграфических вставок, напоминающих талмудическо-теологические средневековые трактаты с комментариями на полях, с рукописными вклиниваниями и росчерками. Эта проза — как произведение изобразительного искусства; хотя бы поэтому ее нельзя превратить в манифест или в дидактическое наставление будущим поколениям. (Я снова вспоминаю полоску бумаги с молитвой, положенную на лоб покойного.)

«Еще раз напишешь — убью!», зачитывал мне Улитин еще один пример каллиграфического искусства: предупреждение мелом на стене арки своего дома. «Это наш дворник: стирал заборные надписи, а потом надоело — решил сам взяться за перо». При его судьбе трудно было не воспринять эту цензурную угрозу дворника на собственный счет.

Завораживающая сила и очарование Улитина в постоянном соскальзывании, впрыгивании литературного слова в разговорное, наших поступков в его пародийный пересказ. Он был в огромной степени литературным эстрадником — когда случайные выкрики из зала тут же загоняются эстрадным комиком перед микрофоном в комментарий с подмостков. Его литература творилась на ходу — и тому есть не слишком веселое объяснение в его мемуаристике: не надо заводить архива, над рукописями трястись — и не только из высоких пастернаковских соображений — архив все равно будет отобран при обыске. То, что осталось от него в зафиксированном виде, напомнит постороннему читателю пересказ чужого сна, или подслушанный обрывок телефонного разговора, чужое письмо без адреса и адресата. Слова в подобном жанре интригуют своей интимностью, но одновременно отталкивают своей видимой или невольной зашифрованностью: мол, у нас свой разговор, не суйся, все равно ничего не поймешь. Это как огласовка в древнееврейской Библии: значки остались, а музыка ушла от нас навсегда. Это как запись балетных ходов хореографа: никто еще не научился их записывать. Улитина надо было видеть — скажем в лучшие годы в кафе, а позже у него дома за бутылкой вина: обложенный записными книжками, с закладками на нужных страницах, с листочками, где выпечатаны были заранее заготовленные цитаты-шпаргалки, со страничками английских романов и почтовыми открытками, не считая картинок с подписями, вырезанных из иллюстрированных журналов. С бокалом кислого вина в одной руке и с авторучкой в другой (чтобы тут же записать промелькнувшее в разговоре слово, которое станет ключевым для будущего разговора, разговора в будущем о прошлом) он не говорил, а танцевал на пуантах цитат из прошлого, подхватывая сиюминутное высказывание собеседника как литературную цитату из классиков.

Может быть, именно эта сиюминутность в обращении с вечностью, это мгновенное, у всех на виду превращение разговорного слова в литературное, сам акт сопоставления случайного и ничтожного с историей у тебя на глазах — то есть, по сути дела, улитинская иллюзия легкости самого акта творения — страшно заразительны. Он каждого умел превратить в героя. Каждый, благодаря улитинским страничкам, становился выше в собственных глазах, прыгал выше головы. Когда тебя или твоего знакомого цитируют, это создает ощущение эпохальности мгновения, в котором ты оказался по воле судеб. Проза Улитина с ее апологетикой читателя как личного собеседника, это протест против литературной ксенофобии — страха перед чуждостью. Это чужие слова, воспринятые на свой счет. Отсюда — стремление к повтору, к эху однажды сказанного слова в других обстоятельствах и на другом языке. «Слово — это судьба слова», любил повторять он. Улитин помнил ваши слова двадцатилетней давности и мог повторить их именно тогда, когда вам показалось, что вы стали другим: ваши прежние слова стали для вас литературой. То, что читалось двадцать лет назад как личный документ, стало литературой, которая, в свою очередь, станет личным документом для будущего читателя.

Параллели его стилистических ходов с советской ситуацией соблазнительны своей клинической убедительностью и напрашиваются сами собой. Уже в 60-е годы, в разгар хрущевской оттепели, был арестован в Минске неизвестный Улитину ревностный поклонник его таланта: он переписывал от руки машинописный вариант его романа «Анти-Асаркан». У Улитина был обыск и были отобраны все его законченные произведения. (Обещали вернуть. Оставили телефонный номер: для справок. Сказали: позвонят. С тех пор Улитин никогда сам не подходил к телефону. В его последнем, записанном перед смертью, сне мать просит его позвонить ей по телефону — на тот свет?!) Не в этом ли причина того, что вместо книг он стал создавать «подборки» из отдельных страничек? Стал шифровать конкретные имена, играть псевдонимами, подменять реальные реплики в стенограммах разговоров со своими собеседниками — цитатами из английской классики, или наоборот, подставлять, ради розыгрыша, в страницы классики имена своих друзей. А вдруг то, что мы читаем сейчас, — не стилистический эксперимент зрелой поры, а страшная необходимость, продиктованная попыткой вспомнить несколько уничтоженных, навсегда исчезнувших романов? Всплывает цитата, вызывает эхо старых слов, сказанных по тому же поводу в иную эпоху, отзывается словами вчерашнего собеседника, и все это заворачивается в одну бесконечную гримасу недоумения перед непосильностью задачи: восстановить мгновение, отобранное при обыске, раздавленное сапогом?

Связный пересказ эпизода из его прошлого было крайне редок. В большинстве случаев, особенно когда присутствовал третий лишний, это был водоворот недовороненных историй, мемуарных обрывков, цитат, литературных аллюзий и реминисценций, короче — его собственная проза, зачитанная, наговариваемая вслух, на глазах у собеседника. Сам стиль подачи был настолько завораживающим, что фактическая сторона мало занимала. Отдельные эпизоды и инциденты прошлого возникали лишь по ходу разговора — лишь как отклик, как реплика на сказанное тобой слово, как мимоходом сочиненная притча, порой длиною в одну фразу, для прояснения мелькнувшей мысли, мотива, намерения собеседника. Историографические отступления в собственное прошлое лишь подчеркивали интимность разговора; этими отскоками в «эпохальность» он превращал личный разговор в историческое событие. История как будто творилась у тебя на глазах. И этот ненавязчивый призыв-приглашение к застолью истории подтверждался непременно письменно: в почтовой открытке, в страничке письма ты вдруг замечал вкрапления собственных, тобой забытых реплик недавнего разговора, и твое слово, оттененное речью другого, начинало звучать значительно и эпохально. Проза Улитина — это приглашение, бесплатный пропуск в собственную эпоху, куда нас не пускали не только тюремные решетки цензуры, но и намордники обличительных эпопей. Но пропуская нас в историю эпохи обманными ходами, он запутывал и историю своей собственной жизни.

Он создавал условную, почти театральную атмосферу общих тайн и секретов, и в этой затабуированности — освященности ритуалом — совершенно обыденной ежедневной рутины и — одновременно — в уходе от этой зашифрованности в прямую речь — суть его литературного жеста. Прелесть этого жеста в том, что Улитин постоянно провоцирует тебя на ответ, на интимность, конфессиональность, заставляет все воспринимать на свой счет. С почти наркотическим самозабвением, с андрей-беловским надрывом в общении, он предавался этому опаснейшему из занятий: не боялся обратить личный разговор в прямое выяснение отношений — хватал уползающую реплику за хвост, зная, что в голове — ядовитые зубы. «В этой стилистике — только ссориться», недоумевал на первом этапе общения с ним поэт Михаил Айзенберг, последний и самый внимательный из близких собеседников Улитина. Отсюда такая двойственность в отношении к нему тех, кто был с ним близок: невозможно думать и вспоминать о нем, не «сочиняя» — переписывая, перестраивая, перебирая в уме — заново разговоры с ним. Иногда сожалеешь, что не записывал сразу: но в действительности записывать было нечего — стенограмма существовала лишь в уме и постоянно перезаписывалась.

Когда я уезжал в эмиграцию, он пригласил меня на прощальную встречу. Достал три бокала (третий — для вечно отсутствующего «глав-

ного» собеседника), поставил между нами бутылку кислого вина и сказал: «Можете задавать любые вопросы». Я ждал подобного момента открытости десять лет. Мы сблизились в середине 60-х, под занавес «эпохи кафе» (кафе «Артистическое» в Камергерском переулке), куда, кроме нас, продолжали ходить лишь те считанные люди, которые эту «эпоху» совершенно не замечали. Я внимал ему с бессловесной одержимостью идолопоклонника из подростков. Слушатель постепенно превращался в собеседника, Подросток — в Версилова: он подарил мне слова о диалектике моей бессловесности тех лет. В атмосфере московского интеллектуального сиротства он открывал архипелаг неведомых мне имен, где в его пародийных пересказах отношений Белого с Блоком, Уайльда с Андре Жидом или Джойса с Беккетом мне мерещилась разгадка отношений Улитина с его заклятыми друзьями и ближайшими врагами. Его прошлое казалось мне Олимпом — иной, неведомой страной; он был для меня — за границей, и в каком-то смысле я эмигрировал из Советского Союза в разговоры о его прошлом, в его несостоявшееся будущее. «Отделение старшего детства» — гласила вывеска на заборе детской больницы напротив его дома в Савельевском переулке. «А у нас тут — отделение младшего маразма», — повторял Павел остроту своей жены Ларисы. Люди в России быстро стареют. Я уезжал от страха перед смертью на отделении младшего маразма.

Какие вопросы я мог задать? Это был как раз тот случай, когда всю его жизнь надо было поставить под вопрос, когда вся жизнь и была вопросом, тайной, загадкой, не формулируемой в виде вопроса. Она же была и ответом, если бы этот ответ можно было прочесть одним махом. Наш вопрошающий взгляд — это тяга к исчезновению в душевном опыте другого, в душевном опыте, который кажется ясным и соблазнительным в своей цельности, лишь когда вглядываешься в него со стороны. Это желание пережить иную для тебя загадочную жизнь без страдания ее переживания — без ежедневного отбывания срока этой жизни — прямо так, сразу, с налета, в одно мгновение. Бутырки до войны и Таганка после, тюремная психбольница и обыски на воле, сломанные ребра и порванные сухожилия, спайки в легких и дичайшие приступы депрессии, полная литературная безвестность — неужели при всем при этом возможно сохранить самоиронию и чувство дистанции по отношению к собственным страданиям, неудачам и невзгодам? В отличие от многих своих современников и сокамерников, он умудрился не превратить свою биографию ни в назидательную байку, ни в обличительную жалобу.

«Он ловил свои ритмические мгновения за машинкой, а мне казалось, что он ловит тополиный пух; по-моему, тополиный пух следовало оставить в покое, правильнее заниматься исследованием (выдумыванием) деревьев» (Ю. Айхенвальд). Пух можно не только ловить. Его можно

поджигать. Но Улитин не хотел и не мог заниматься исследованием. Ни деревьев, ни людей, ни животных. Он занимался названием. Названием неназванного и неназываемого. Именно не запрещенного, а неназываемого. Даже в свои «плохие» периоды, когда он целыми днями валялся на диване, отвернувшись к стене, с английским романом в руках, его мрачность и злость не выходили за рамки личных счетов — с друзьями, со всем миром и человечеством, если хотите; но он не искал тайных врагов, не поддавался соблазнительному опьянению «темным вином» (Ф.М.Достоевский), сварганенным из идей всемирного заговора, не отождествлял себя со всей Россией и не считал, что русскую литературу калечат пришельцы. Ему претила демагогическая закваска российской культуры, с ее педагогическим одергиванием и библейско-пророческими взвизгами (не оттого ли русская литература так затягивает в себя евреев?). В интонации его прозы — отказ мыслить масштабно, в едином сюжетном строю, от имени и по поручению. Отсюда — культ необязательности, временности, культ черновика, одержимость каллиграфией на бумажной салфетке, тяга к перу и китайской туши на необычной бумаге, короче — склонность увековечить именно случайное и неповторимое, бессознательно, засевшее в памяти. Это не поиски оригинальности, а уход от общепотребительности.

Он каждого своего читателя превращал заразной легкостью, тополиным пухом своей прозы — в писателя. Но этот писательский зуд в большинстве случаев и был не более чем зудом — проходил, как проходит у детей ветрянки: в отличие от настоящих оспин, ветрянки не оставляет следов. Решив увековечить оспины своей судьбы, большинство поклонников его таланта переставали быть читателями, но писателями они так и не становились. Оставалось ощущение опустошенности, как от всякой встречи с великим человеком — и еще неясная обида и стыд за эту опустошенность, злость на себя, и не отсюда ли — замалчивание его фигуры, его роли в твоей биографии? Я могу назвать с десяток имен, и старше меня поколением, и младше на десяток лет, на кого улитинская манера письма действовала как наркотик, гипнотизировала долгие годы. Куда делись все эти мальчики и девочки, превратившиеся в многострадальных мужей и великовозрастных гимназисток? Почему они забыли это ощущение легкости и ненавязчивости улитинской трепотни, и вместо этого подключились к суровому литературному труду — за славу, деньги и почести? Почему они ни разу за эти годы не назвали его имени? Почему же все эти поклонники, эпигоны и преданные слушатели (чьи имена я отказываюсь называть в наказание за их тактику замалчивания), почему заклятый друг и лучший враг (чье имя мне было запрещено называть, поскольку его носитель, видимо, вообразил себя Богом), почему весь этот круг приближенных Улитина тут же отстранялся от

него, начинал неопределенно-бормотать, впадал в состояние «младшего маразма», чуть ли не отрицать знакомство с ним в московских светских кругах и никогда не упомянул его имени в серьезных литературных сборищах и редакционных посиделках? «А что он пишет? Что услышит, то и запишет», — безразлично пожимали плечами посторонние.

«По Прочтении Уничтожить», — так Павел Павлович Улитин расшифровывал свои инициалы: ППУ.

В нем не было чисто российской идеи перевоспитания — ни младших поколений, ни властей. Он не верил, что один человек может духовно возвыситься над другим. И поэтому его не боялись. Он не был учителем, и потому не требовал законной доли в истории твоей души: его легко было вычеркнуть, вырвать страницу его прозы из твоей памяти. «Что же останется?» — в конце концов спросил я. Ответ сводился к следующему: «Останется легенда». Выяснилось, что и легенды забываются. В манускрипты Леонардо да Винчи столетие спустя лавочки завертывали сеledку. Рукописи, может, и не горят: в них завертывают сеledку. И это еще завидная судьба для рукописей.

Никакой репутации — а тем более литературной — помочь нельзя: однажды сформировавшись, она пребывает неизменной. Можно помочь лишь ее носителю — самому литератору — вне зависимости от его репутации. Русская культура (в отличие от английской, выстраивающей из кирпичиков стилистического новшества еще одну скромную литературную нишу) могла бы увидеть в Улитине нечто большее, чем чисто литературный эксперимент: чуть ли не целую духовную школу. Видимо, подлое отношение к человеку искупается, в некоторых исторических ситуациях, коленопреклоненностью в отношении литературы. Однако Улитин, выйдя из литературы, захлопнул дверь перед носом и единственно возможных для него в России потенциальных благотворителей — духовных радетелей. (Прилипшая ко лбу покойника в гробу полоска бумаги с молитвой — не пропуск в литературу.) Ему никто не помог. И тем не менее он, сознавая свою литературную легенду, продолжал работать на нее вне зависимости от собственной физической беспомощности, моральной несостоятельности или какого другого банкротства: он сознавал, что наша личность, наша литература больше и выше нас самих. И в этом чуть ли не святость его скромности. Он не становился в позу обожженного гения, а продолжал раскидывать на ветер и подкидывать себе седникам слова и идеи с прежней легкостью, чуть ли не подростковой безответственностью.

Существует некая загадочная дистанция, отделяющая личное письмо от страницы романа, дистанция, чьи пределы и непреодолимость всегда

будут загадкой. Но каждому пишущему хорошо известно, что чем меньше эта дистанция — тем свободней дыхание литературы. Стиль Улитина — сокращать эту дистанцию до мыслимого предела, ободря и подзуживая самых робких и отверженных рекрутов русской словесности. Если цепочка личных отношений читателя с автором не прерывается, то сюжет в этой прозе — сам процесс ее чтения и ее сочинения: это не литература, а само ее становление, ее вольное дыхание; это не разговор о *чем-то* — это само и есть *что-то*, разговор, формирующийся избранным кругом читателей. Вход в этот круг свободный. Приглашаются все. Но не все остаются. К сожалению, или к счастью, в литературе приживается лишь то, что повторимо и повторяемо, что, как утильсырье, можно использовать дважды. Я боюсь, что Улитин в русской литературе не приживется. Он — не приживальщик: его нельзя использовать в качестве рассыльного по разным духовным надобностям. (Никто не знает, когда, кто и где прочтет полоску бумаги с молитвой на лбу покойника.) Можно лишь стать его собеседником и получать в ответ на вопросы письма, не дающие ответов на вопросы.

Когда собеседников вокруг не оставалось, он уходил из кафе и отправлял самому себе по почте цитату из тютчевской эпиграммы: «Приветствую Ваш неуспех, для Вас и лестный, и почетный, и назидательный для всех».

Лондон, 1985/1991

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Нина ВОЛКОВА

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ВЕТЕРИНАРИЯ

Когда собака больна, чувствуешь тоску и старую вину за приручение. Мне не защитить ее от смерти, собака умрет, умрет раньше меня. Трудно смотреть ей в глаза. И как можно было наказывать, обижать, ведь нам так недолго быть вместе. Собака похожа на лес: глаза из чащи, вечная гайна.

Надо звать ветеринара, человека странного ремесла. Какую силу духа и бесчувственность надо иметь, чтобы завязать собаке пасть и делать свое дело, не замечая визга, стона и многопудовых метаний. Так палач терзает живое тело, чтоб помочь неизвестной душе; ведь больной зверь только опасное и безобразное тело; один хозяин знает, какая в нем любовь и прелесть, а сейчас оно визжит и норовит откусить руку со шприцем. Ветеринар должен быть тверд в вере, как палач. Душа его — загадка, загадочней собачьей.

Наш врач именно такой. Это круглая дама неопределенных лет, в розовой кофточке, с сильным западноукраинским акцентом. Она сразу ставит диагноз, излечивая человеческую душу; призрак смерти отлетает до будущего раза. Лечение начнется чуть погодя. Сейчас будут рассказы. Глаза у дамы — большие, темные, немигающие, вампирские; а рассказы все — про жизнь на грани смерти. Может быть, это знак ремесла, мемуары палача; призрак смерти отлетел от собачки, но недалеко, он комически кривляется за пышным плечиком, он дома. Наша гостья — из края упырей. Ее зовут не как-нибудь, а Мирандолиной Игнатьевной. Имя подходит как влитое, как черные глаза, как розовый наряд. Она была бы похожа на хохлушку из Гоголя, милая бабенка; если б не жуткий вампирский взгляд.

Истории бывали обязательно. Как другой заикается или картавит, М.И. вставляла в свои речи случаи. При ней непременно убивали, умирали или, чаще всего чудом, спасались. А она всегда была не свидетелем, а участником события.

За вечер рассказывалось пять-шесть-десять... — нет, невозможно подсчитать, сколько историй; за три встречи складывалось собрание сказок. Ни разу она не повторилась. Истории рассказывались легко, на раз, по ассоциации со словом в разговоре, с угощением, с городским происшествием... Нет такой темы, чтоб М.И. отступила.

Замечательно, что все рассказывалось без малейшего, свойственного русским, например, сказочникам сопереживания. Сопереживание, на мой вкус, девальвирует историю, подсказывая расхожие эмоции. Нет; М.И. рассказывала отстраненно и выразительно; округло, как Горбачев, жестикулируя. В ней жил чудесный восточный повествователь, составитель каких-нибудь «Историй из кабинета господина Ляо».

Вот одна из первых историй — история про скальп, рассказанная к слову о медицинской находчивости:

Однажды М.И. присутствовала при пьяной драке. И один из участников нечаянно сорвал другому скальп. Жена же скальпированного не растерялась и пришла на месте скальп обратно, простыми нитками. «И что бы вы думали? — спросила М.И. — все прошло, приросло без следа...»

При повороте беседы то ли на спиртные напитки, то ли на борьбу с ними, то ли просто на милицейские подвиги была рассказана история про растерзанного. На родине М.И., в краю упырей — в Закарпатье — свадьбы многолюдные и пьяные. Случилось в антиалкогольную кампанию, когда нельзя было так оттягиваться: пришел в самый разгар свадьбы милиционер и обнаружил самогон. К милиционеру подошел жених и хотел гостеприимно угостить и уговорить — да зачем-то поднял вверх бутылку. Милиционер решил, что его этой бутылкой собираются бить, выхватил пистолет и наповал убил жениха... И тут тысячи свадебных гостей набросились на него — М.И. руками и глазами изобразила, как набросились, сделала паузу — "... и потом его долго собирали по частям, не могли собрать, так его растерзали, у нас ведь огромное количество гостей на свадьбах".

Ничто так не смешит, как бесконечные рассказы о расчленениях. Но гипноз вампирских глаз сильнее; даже умирая от смеха, вы все равно киваете, качаете головой, поддакиваете и как бы ужасаетесь в положенных местах под непонятым немигающим взглядом.

Следующая страшная история, на редкость профессиональная, была рассказана в ответ на слухи о бешенстве в городе. История об ужасной ошибке.

Последний случай заражения бешенством произошел с женщиной-врачом, заболевшей по нелепой собственной ошибке. М.И. назвала ошибку, да я не помню, в чем она заключалась. Заразившуюся поместили в клинику и снимали на кинолентку, потому что случай редчайший. «А вы знаете, что такое бешенство?» — М. И. задала риторический вопрос. Бешенство не лечат. Человека просто изолируют, сажают в стеклянный бокс и привязывают ремнями к койке. Стадии болезни развиваются и сменяются внезапно, и никто не может знать, когда больной собственно взбесится.

Он опасен для всех — и поэтому привязан. Только еду передают ему в стеклянную клетку через окошечко да приводят студентов учиться. «Мне особенно обидно, — говорила привязанная женщина-врач, для студентов или для кино, — что все произошло по моей глупой небрежности и что я сама подробно знаю, как со мной будет дальше». А дальше будет кошмар. На последней стадии, сказала М.И., больной разрывает и разгрызает себя самого.

М.И. была похожа на вакханку, рассказывая сей рассказ.

Она испытала это почти на себе. Давно, в юности, в казахских степях, она как-то отстреливала стадо бешеных быков. Там часто встречается бешенство, светски рассказывала М.И. за кофе с сигареткой, суслики его переносят. И лисицы, и стада заболевают. И вот стадо мчится от поселка к поселку, убивая все живое на своем пути! Пришла телефонограмма, и всему медперсоналу выдали ружья. «А я в жизни не стреляла! Но сказали: надо, Мирандолина, стрельнешь, — и пришлось...» И вот стадо мчится. Жителям в домах велели лечь на пол и не двигаться, М.И. и ее соратники изготовились. «И что бы вы думали? — Отстреляли всех! Всех».

После отстрела М.И. и испытала, что такое стеклянный бокс с окошком. Всех застрельщиков положили в карантин, делали знаменитые 40 уколов, а перед входом врача раздавалась команда: «Лечь! Привязаться ремнем!», потому что, объяснила М.И., бешенство опять же начинается внезапно, и привязанный больной не так опасен — пока он выпутается, врач успеет убежать.

Слава Богу, бешенство М.И. миновало, и она совершила много подвигов, о которых так приятно рассказывать за вечерней беседой. Следующая история — про силосную яму.

В Закарпатье везде угощают и потчуют. Однажды ездила М.И. по каким-то местным делам и дворам вместе с главным врачом, председателем и механизатором. В последнем дворе, ночью, все мужчины были страшно пьяны, а М.И. — трезвая. (Нет, это история не сексуальная, как можно бы предположить, а героическая). Главный врач вышел во двор и провалился в силосную яму, где, как сказала М.И., снег, солома и ледяная вода, — стал тонуть и кричать. Вышедший на помощь председатель тоже туда упал, за ним, в свою очередь, механизатор. Теперь все гибнут в ледяной воде и зовут М.И. «Всех вытащить я не могу, тяжело — сказала она, — а ждать нельзя, вода ледяная, пока одного вытащишь — другие утонут. Что делать? И я решила: вытащу главного врача, он мужчина маленький и нужен мне. Бросила веревку, ташу, а он только повторяет: “Мирандолина, Мирандолина”. А те тоже цепляются! Я им кричу: подождите!.. Так вытащила врача, потом председателя, а потом они механизатора вытащили».

В этих историях, как всегда в сказках, таинственно замалчивается способ. Только что было невозможно, конец, смерть — как вдруг все

легко разрешается. На редкий невежливый вопрос «как же??» М.И. повторяла последнюю фразу, с царской улыбкой поднимала подбородок и обводила слушателей черным-черным взглядом — и все верили в чудо. В ее геройстве обнаруживалось не только вампирское хладнокровие, но и сказочная традиционность, почтение к чинам и вечному порядку. Может быть, это профессиональное панибратство со смертью. Однажды она рассказала о таинственном разделении: «Кошка видела свою смерть, и сейчас знает, что спаслась. А собака? Нет. Собака видит только чужую». М.И. говорила так серьезно и жутко, что нам почудилась она, кошачья смерть, выпрыгивающая в форточку.

Вокруг истории чудесного спасения троих было кстати рассказано: о способах приготовления сливовой и грушевой водки на родине; о понятии «москаль» — москаль не тот, кто русский, а тот, кто ленится и пьет; географический москаль неминуемо попадает в москали, потому что не может выдержать бескрайней доступности вина; и дочь его никто замуж не берет — ибо позор, пятно на чести семейства...

Историй о чудесном спасении было три. Хотя все истории М.И. были о чудесном спасении, эти три — настоящие, годные для документа на медаль. Все три имеют единую традиционную схему: много человек, потерявших реальность и неминуемо гибнущих, — одна спасительная М.И., сохранившая трезвость и способность действовать; стадо и пастух.

История на горной дороге. По горной дороге, по серпантину, М.И. ехала в машине с двадцатью рабочими. Все рабочие, включая шофера, были пьяны. «Вы представляете, какие у нас в горах дороги?» — М.И. изобразила ручкой. Слушатели кивнули. Вдруг пьяный шофер совсем отключился и упал головой на руль. Что делать? «И вот я, — сказала М.И., — просто перегибаюсь через него, берусь руками за руль и рулю... У меня нет ничего, ни тормоза, ничего, только руль! И хорошо, что тормоза не было, — нажми я на тормоз — и сразу в пропасть!.. Воздушное ГАИ, конечно, заметило нас, скомандовало всем машинам прихватываться, освободить дорогу... » Все освободили дорогу, и М.И. с помощью руля через неживого шофера свела машину вниз по серпантину. Внизу их ждали пожарные, скорая помощь, милиция; ожившего шофера сразу же свинтили. «А я, — сказала М.И., — была в таком шоке, что всех отстранила, ничего не стала объяснять и прошла лесом ночью одна одиннадцать км. пешком до дома...»

Третья история про трансформаторы. Летом на целине все курят — и вот видит М.И., что на огромной скорости едет грузовик, набитый студентами, прямо на два трансформатора. А там тысячи вольт, верная смерть, если притронешься! А все-все в машине отключенные и отключенные. М.И. мгновенно решила: «Я открываю дверь кабины, выбрасываю, — она показала жестом, как котенка, — выбрасываю шофера, сажусь за руль и за секунду успеваю повернуть и вписаться между

трансформаторами!.." За этот подвиг М.И. получила-таки официальную награду — кажется, воду в безводной степи или что-то в этом роде, соответствующее необыкновенности и трезвости героини.

Героические истории были вызваны отнюдь не видеобоевиками, а тем, что М.И. имела автомобильные права « с правом вождения только по полевым дорогам». Она не продемонстрировала документа, но пришлось поверить на слово. История их получения привычна и, на фоне остальных, скучна: выучилась водить по обязанности в институте на футбольном поле, сдавала экзамен на дороге с железнодорожным переездом, на самом переезде заглох мотор перед приближающейся электричкой, инспектор не мог помочь, потому что сошел с ума от страха, посинел и застучал ногами — но в последний миг М.И. переключила скорость и съехала с рельсов за несколько сантиметров до поезда. После чего инспектор и сказал: даю вам права, но водить будете только по полевым дорогам! — и так в правах и написал.

М.И. преподает имперскую географию; запад, север, юг; всегда восток. Она перемещалась по законам кочевья, как стада, которые лечила, или наоборот — с востока западной Европы на запад Азии, с гор в пески и в снега, из степей в северную столицу. Она убедилась собственными ногами, что в пустыне должно носить не туфли, а тапочки или что бросать курить вреднее, чем курить. Как она попала в Ленинград? Неизвестно. Нет, называть ее предмет географией неверно, скорее этнография.

На целине было очень жарко и безводно. Когда М.И. получила свою награду в виде бочки воды, она несколько дней ежевечерне прямо в одежде погружалась в нее, что возбуждало не зависть, а презрение у соседей-казахов — ведь мыться можно только проточной, стекающей водой.

На Севере день начинался с выдачи водки всем аборигенам от восьми лет. Женщине там страшно почетно выйти замуж за калеку, а к тридцати пяти годам все умирают. Зимой же — тоска. Долететь туда естественно, только вертолетом, а почту и посылки раз в сто лет вертолет сбрасывает не глядя, куда-нибудь, найдут — хорошо, не найдут — ничего не поделать. Кругом ничего нет, даже радио нет, только снег и ветер; М.И. запасалась от тоски книгами. (Книги — это единственное, что кажется невероятным в ее рассказах. Нельзя вообразить М.И. за чтением. Она сама — книга, каких уже не напишут в России; с подвигами, чудесами и свадьбой в конце).

Где-то еще на юго-востоке, в том же ли Казахстане или рядом, вода так дорога и люди так социально сознательны, что в любое время коллективно выбегают под каждый дождь собирать воду. Однажды М.И. стали будить среди ночи — а она возвращалась за полночь, вставая в шесть утра без выходных и праздников, — звать на ночной дождь. Она

не пошла и назавтра ей вынесли выговор на комсомольском собрании за недостаточную самоотверженность.

Тут надо вспомнить этнографический случай о вступлении в партию. Партия была коммунистическая, и М.И. очень в нее хотела. «Я очень во все верила. Сознательная была, не поверите, — поверите, — так хотела, что, не поверите, — и тут поверим, — весь “Капитал” прочитала. И вот пришла в обком и сказала: хочу вступить, принимайте. А они мне говорят: нет. Сейчас нет разнарядки. Не можем... Я им говорю: как? Я от души, а у вас разнарядка? Тогда мне и не надо. Забрала заявление и ушла, и так было обидно — я от всей души «Капитал» прочитала — а у них разнарядка. А через месяц бумага приходит: приходите, есть разнарядка. Я им говорю: не-ет, теперь уж я не хочу... И не пошла. Так и не вступила».

Не вступила М.И. в партию.

Три четверти этнографических рассказов касались еды: гастрономия.

У казахов М.И. гастрономически пострадала. Похожий случай, помнится, произошел с другим кочевым гражданином этой империи. У М.И. это научный рассказ, основанный на том, что жир разжигается только при очень высокой температуре. Хозяева угощали М.И. в первый раз местными блюдами и подали нечто огненное, что было ею принято за горячий бульон. Казахи запивали этим остальные кушанья и приглашали ее присоединиться. Но М.И. ждала, чтоб немного остыло. Когда же она отпила остывшее блюдо, ее постигло неожиданное несчастье — бульон оказался бараньим растопленным жиром, не только гадким на вкус, но и образовавшим во рту и в горле мерзкую пленку... «Представляете, какой ужас? — сказала М.И. — И убежать нельзя, обидишь, и запить нельзя, и избавиться от нее нельзя, потому что температура кипения жира выше — как я высидела там, не знаю!..» Я тоже не знаю — способ избавления М.И. как обычно не рассказала.

Интересно, что и гастрономические сказки несут печать трагедии. Или ветеринар везде осенен черными крыльями? Неприятно бывало с едой и в родном краю. «У нас есть обычай, — рассказывала М.И. — приносить в гости свою еду. Там ее все, и хозяйева, и гости, едят, — а домой с собой уже уносят хозяйскую. И вот пришли из-за границы (про границу позже) родственники и принесли крапивные пельмени. А крапивные пельмени, пока горячие, очень вкусные, а холодные, двухдневные... Я же этого не знала и как взяла за столом один в рот...» — дальше М.И. показывала без слов, и все было ясно.

Но как компенсация — в Закарпатье делают сливовую водку. В саду ставят бочку и бросают в нее все упавшие с дерева плоды. Без всяких дрожжей. И вот когда она готова — слова опять бессильны.

А на севере едят удивительную рыбу. Поймавши, ее складывают в яму, которую сверху закрывают, не помню чем. Дают рыбе слегка про-

тухнуть. Слегка, но пахнет она чудовищно. Надо преодолеть себя и положить ее в рот — запах исчезает, остается божественный вкус.

Однажды М.И. неожиданно выбилась из прелестного восточного холодного тона и взволнованно рассказала нечто лирическое — о первых танцах. Это было во времена хлебного голода, когда хлеб покупали — для Пасхи — за несколько месяцев, хранили высушенным, а потом оживляли в печи в мокрых полотенцах. Простой муки тоже не было. М.И. должна была, только увидев, что она продается, занимать очередь и бежать домой... Она как раз шла, нарядная, на свои первые танцы, когда увидела эту очередь. (Паузой М.И. обозначила трагедию). «А! Не скажу ничего!» — решила она и пошла танцевать. Не надо думать, что она решила легко... Но в очереди-то ее заметили и доложили домашним. «Как меня потом побили!» — сказала М.И. не столько горестно, сколько с ностальгическим сознанием справедливости побития.

Танцы сменяют еду; может быть, любовь победит смерть. Рассказы о интимных приключениях еще более таинственны, склонность к недомолвкам и внелогическим ходам понятно усиливается в этой области. К тому же большую часть М.И. рассказала будучи слегка пьяной после удачно, слава Богу, проведенной операции. Это, должно быть, сотая часть истории ее сердца или тела, потому что с каждым новым визитом количество вскользь поминаемых хотя бы мужей возрастало и география приключений расширялась.

В винном тумане М.И. долго рассказывала — ее вампирский акцент удесятерился, сложно было понимать, — как в юности на нее покушался шофер, что подвозил ее перед или после экзамена в родной город из соседнего, как он хотел куда-то ее завести с ужасной целью, а она поразила и победила его знанием маршрута, запутала самого, и, узнав дом дяди М.И., к которому-таки пришлось ее доставить, шофер задрожал. Наутро он явился к ней не имея на себе лица и предложил свои услуги на всю неделю пребывания в городе, бесплатно, только бы о ночном случае не узнал дядя. А кто же был этот дядя — осталось тайной. Наверное, главный упырь местности.

«А три года назад, девочки, — и М.И. засмеялась, как девочка, — я влюбилась. Так влюбилась! А он младше меня на шесть лет...» Дальше история туманно размыта. Главное, что кончилось их счастье — а счастье было — грустно. Однажды молодой возлюбленный не пришел ночевать. Явился утром. «Где ты был?» — спросила М.И. Он не ответил. «Уходи», — сказала она твердо. «И он четыре часа сумку собирал! И так и не сказал, где был. И все». И все.

Еще более туманна история о том, как М.И. рожала свою первую, умершую дочь где-то в горном роддоме, оказавшимся разбойничьим гнездом. (Смерть дочери, кстати, произошла тоже в результате истории. Есть какая-то совсем странная болезнь, которая переходит на человека,

о чем человек не догадывается, а потом выражается в смерти родившегося ребенка... Кажется, так. М.И. очень светски рассказывала об этой болезни и только вскользь добавила с улыбкой: я ведь так своего первого ребенка потеряла). В рассказе о роддоме были совершенно непонятные, с большим количеством местных терминов, подробности о каких-то болгарках, которые имели официальное право с шестнадцати лет любить любых мужчин — а мужчины не имели права им отказывать... И вот когда эти загадочные болгарки рожали детей, преступный главный врач роддома детей продавал. Причем продавал как-то особо преступно. «Хороший был очень человек, — сказала М.И., как помнится, — его расстреляли потом».

Один из мужей М.И. был поэт. Он ночью писал стихи и будил ее, чтоб прочитать. «Представляете, какая у меня была жизнь? Мне в восемь вставать на работу, — а он меня будит. Слушаешь, — а если засыпаешь, — обижается. В общем, кончилось все тем, что я делала операцию догу и просто на него упала. Дог, конечно, погиб... Что я хозяевам врала, и не помню!.. а все из-за стихов».

Однажды на вечерний звонок к ней мужской слегка пьяный голос весело ответил: Мирандолина Игнатьевна не может подойти, она вышла замуж, у нас сегодня была свадьба, а сейчас она в аэропорту до утра!

Почему она после свадьбы в аэропорту до утра, а новый муж этим так счастлив — Бог весть. «У меня все родственники за границами, и все за разными», — рассказала она как-то по обыкновению таинственно. Так и должно быть. Она бывала везде и со всеми в родстве; она тот гражданин, о котором пели в государственных песнях, и о котором стоило петь; Золушка от Карпат до тундры, иностранка, жена поэта, прохлопанная мечта партии; вампир. Кажется — огромная, могучая, а присмотришься — маленькая, не больше ста пятидесяти пяти. Империя — это ветлечебница. Мы плохо делали операции только тогда, когда ночью слушали стихи. Такая розовая женщина. Ее трудно застать дома, но в конце концов она придет, успокоит ваше сердце, вылечит вашу кошечку, закурит, выпьет, расскажет про новое чудо. Она пугает лишь непривычных, потом станет интересно, и только иногда кровь застывает, когда поймаешь на себе немигающий сосущий взгляд влюбленного упыря.

Последняя история, короткая:

«У моего дяди граница прямо на огороде. Здесь еще можно сажать, а там — уже все, нельзя, нейтральная полоса».

КРИТИКА, ЭССЕИСТИКА

Николай КЛИМОНТОВИЧ

УЕДИНЕННОЕ СЛОВО*

Представляю бледного и худого мальчика с бледно же голубыми глазами, робкого и аритмичного, неуклюже шествующего в своем кукольном бархате, маленького принца среди серо одетой голодной провинциальной толпы первых послевоенных лет. Он держится за руку бабушки, принаряженной, в вышитом воротничке на залатанном платье. Единственный человек, с кем тепло и защитно: «Когда бабуся меня заставляла мыться, а там в ванной были черные тараканы, и бабуся увидела, как я горько плачу, и тоже села со мной и заплакала, и стала просить прощения», — но сейчас рядом с ним она похожа на нянюшку, ведущую барчука — в оперу. Эта сталинская помпезная сибирских нищих лет опера, где Садко взаправдашно опускался под воду к детскому ужасу толпы, не раз откликнется в нем. Это был театр, завораживающий сказкою; в этом зрелище был особый имперский шик, блеск ампириной роскоши. На первый взгляд парадоксально, но именно на этой почве — знойной томности сталинского искусства и египетского величия зрелищ — вырос дикий цветок, «кривой кактус по принятым у нас понятиям» его артистичнейшего дарования, его эгоцентрического писательства.

Только стиль порождает стиль.

«Вспоминаешь, что первый раз в жизни подъем от искусства был ни от чего другого как от таких же песен в школе, я был мальчиком для вызывания слез на конференциях сторонников мира, мой голос звенел как колосок», — записал он после столкновения с одним из нынешних апофеозов, в котором безухий либерал не слышит ностальгической теплоты в мишуре византийской идеологической пышности.

Человек вкуса и слуха, он восхищался «грубостью, с которой не сравнится никакая тонкость»; эстет, он умел наслаждаться вульгарностью. Отсюда многие мотивы и имитации в поздних текстах, уличное, чуждое его комнатной натуре, непристойное и богохульное. Сызмала свидетель стиля баснословной эпохи, когда дома культуры строились, как греческие храмы, роскошно-топорна была музыка массовых действий, а гайда-

* Сокращенный вариант этой статьи был опубликован в «Литературном А-Я», №1, Москва-Париж, 1985 г.

ровская проза дышала густой мистикой, он писал незадолго до смерти: «Какой есть Закон и Порядок Родины, такой он и должен быть. Порядок для людей художественного взгляда всегда фатально прав. Мы привязаны к нему, он нужен нам: в нарушении его нерв наших художеств». Зная слабость свою как силу, минутами он любовался тупой мощью, как слабостью, чувствуя в ней что-то созвучное, иррационально родственное. Без сомнения, есть тайная и прочная связь в его рафинированной герметичной поэтике, его стремлении к утонченной созерцательности с грубым и бравурным, чуждым всякой потаенности, выпяченным и лобовым, чем так богато дарила его наша жизнь.

Другая сторона, другая чеканка его детского времени: нега. Холеная Тарасова, мхатовские крепостные джентльмены, с которыми изменяли мужьям жены сталинских соколов, небрежно-манерная с голосом простуженным, будто на рысках в мороз каталась с шампанским, Шульженко, шикарная цыганка, наложница из трехэтажного терема над прудом во Внуково, Церетели, киноленты для народа, снимавшиеся в Алма-Ате в годы войны, с героями, испытывающими самолеты, теперешними космонавтами, и героинями, поющими в опере, южный акцент самого паши, наконец. «Я с детства ранен Пантофелью-Нечецкой. Только женщины могут спеть про розу и взор прекрасным женским голосом. Только музыка родит музыку. И немного жизни». Ранить в сердце можно только через сладкопечество, и именно сталинское время преподнесло ему первые чистые образцы золотоголосия. Потом он будет числить себя только и исключительно поэтом, Певцом, понимая служение Слову, как ношение вериг и сладостно-мазохистское перебирание четок, как подвижничество с одной стороны, с другой — как всedневное изящное вышивание одного нескончаемого тончайшего узора, выведение одной и невозможной сладчайшей ноты. Но, окончив школу в пятьдесят лет, семнадцати лет он решает стать актером кино.

Юный провинциал с иноческим лицом и бледными руками одержал победу над приемной в кино комиссией. Рассказывал, что первые три года обучения книг вообще не читал, полагая, что книжность уводит от непреднамеренного лицедейства, и это была попытка отказаться от рубашки, что всего ближе к телу. Когда же разочаровался в актерстве, вернулись книги и появились собственные стихи. В Москве в библиотеках, в старых журналах, в подстрочных ссылках, в рукописях и изустных преданиях проступали очертания мира, который, казалось, канул, как Китеж: кузминской, ремизовской, вагиновской прозы, крученыховской юродивой зауми, обзриутских стихов, «Улисса». «Первые лет пять я писал одно стихотворение по месяцу по два; а один раз писал стихотворение полгода — и при том только им и занимался, не гулял, не отвлекался, а только полгода его сочинял и кое-как сочинил. И никому бы того не рассказал, что у меня с таким трудом выходит. А сейчас восхищаюсь, какие у меня были незауряд-

ные задатки к усердию». Здесь не преувеличение, он добивался невероятной филигранности в своих ранних стихах, по духу акмеистских.

О своем первом осознании себя в сфере чувственного, внезапном, как обморок, без долгих потных рук и подглядываний сквозь процарапанные замазанные окна, кажется, письменно нигде не упоминал. Но это и было именно то «немного жизни», что оплодотворило его голос. Позже свои счастливые минуты избегал описывать, нерв его узоров на любовную тему всегда был в неразделенности или ненайденности, в любовном томлении. Но то искусство, в жизни его многие любили. Другое дело, он фанатически отстаивал свои упорные одинокие занятия, тишину и затворничество, прогоняя от себя любящих, понимая плоское счастье как мышьяк, сторонясь его и из того уже извлекая дополнительную выгоду для писательства, приправу одиночества.

Его ждала благополучная карьера и в актерстве, и в академических занятиях, и на преподавательском поприще и в театральной режиссуре, но он упорно отклонялся от любой прямой, поворачиваясь к одному ему видимой цели, для иных — призрачной, с точки зрения внешнего успеха — вполне безнадежной. От каждого своего занятия он брал необходимое для потаенного пути, во всем достигая, впрочем, скорых и блестящих результатов, но, словно выполнив мирской долг, с нескольких шагов возвращался на свою единственную стезю, сберегая силы для Служения. «В чем назначение жизни такого (именно) человека. Назначение своей жизни он видит в искусстве (словесном). И укрепляется тем, что в самом Ев. от Иоанна вначале было Слово. И Слово было Бог. И вот его жизнь, его богатство, его успехи тоже в слове, а ни в чем другом».

К 73-му году, когда мы познакомились, от ранних своих стихов он уже отказался, сохранил лишь сценку с пассажиром. Написаны были «Духовка», «Вильбоа», вольные стихи, два рассказа в лицах и короткая пьеса «По канве Рустама». Он писал с двадцати лет, но по собственному его летоисчислению, шел лишь четвертый год истинно его творчества. Таким образом, его книга, целиком выверенная и выправленная, окончательно скомпонованная за несколько месяцев до смерти — результат двенадцати лет труда. Он отыскал для нее заглавие ироничное и болезненно-горькое, кажущееся единственно подходящим к его жизни и писаниям — «Под домашним арестом».

«Духовка» — первая проза. Рассказ традиционен по дистанции между рассказчиком и автором. Для автора важно: показать волнующегося человека, уловить интонации рассказа; само волнение и страсть героя значительнее, чем волнующий предмет; для рассказчика же вне предмета словно ничего нет: «Во вторник шел в поселок за хлебом, вижу на пригорке со спины, я еще Лене заметил»... Рассказ непосредственен, но в нем код для чтения поздних вещей.

Другой код — в ранних же театрально условных вещах: «Один такой, другой такой» и прочих. Здесь важна сама возможность перипетий, а не перипетии как таковые. Но сценарий еще остается конкретным, и попыт-

ка преодоления единственности именно такого сцепления именно таких событий — в максимальной их условности и непреднамеренности, доведенных до предела, до иронии по отношению к самой сюжетности текста, к необходимости отбора положений, действующих лиц, к ограниченности пространства сцены.

В стихах нет автора и героя, нет дистанции между ними. Нет сцены и нет персонажей, а всякое положение включает в себя множество других, многозначно. Но есть иное ограничение: формальная стихотворная преднамеренность. Поэт вымарывает и зачеркивает, обрывает строчку посередине, вписывает другую наискось, а то вдруг застывает, страница остается чистой, но этот свой продукт — испорченные вымарками и набросками листы — он отбрасывает в сторону, лишь беря из них нечто, что уложится в окончательную постройку, если и свободную от рифм, размера и строфики, то разбитую на периоды и ритмизованную. Поведение Поэта безусловно, между ним и бумагой — зазор, он не свободен для своего труда и вынужден воспроизводить условную форму. Но если отбросить ограничения, лишь фиксировать слова, которые льются, или лишь сочатся, или вовсе застывают на губах, то такие страницы сложатся в то, что он назвал «Роман». Конечно, здесь надо помнить, что Поэт это не человек, говорящий стихами, а тот, «жизнь которого в слове», а Роман, результат непреднамеренного письма, — тоже такая форма, игра, но ставка в ней — годы и дни, ибо игра эта и есть жизнь.

После «Романа» он освободился от опаснейшего искусства, вернее, от нескольких: вычурной акмеистской формы, традиционных форм повествования, лирической и в лицах, от связанности внутри верлибра. Но путь этой свободы смертельно опасен для Поэта, через словесные руины и неоформленный черновик он ведет к жуткой и притягательной бездне чистого листа, неписания ничего, безмолвия, а то, что его называют наоборотным термином формализм, есть чистое недоразумение. Остановиться над пропастью молчания и повернуть обратно — и значит пройти последнее искушение для пишущего. Бездна не поглотила его, прожженный, он отвернулся и зашагал прочь, записав после «блЮнчли», последнего слова «Романа»: «Итак, Вера, спасение, покаяние, откровение». И дальше уже цитированное: «Назначение своей жизни он видит...».

Он писал, как и жил — аскетично. Писал-жил без пауз и отпусков свою книгу, писал поначалу ручкой в тонких ученических тетрадках, сидя в кресле и подложив книгу, которую держал на коленях, или лежа в постели. После него остались десятки тетрадошек, исчерканных вкривь и вкось, бисерно заполненных, неудобочитаемых, и теперь, к несчастью, безвозвратно пропавших. Из них он потом кропотливо изымал драгоценную породу, но и в отсеянном им песке осталось, бесспорно, множество крупниц златословия.

Все написанное после «Романа» можно читать как единый текст, разбитый на восемь рубрик (он не включил сюда три странички из соображений

безопасности, отдельно названные, письмо Аксенову — текущая переписка чаще всего оказывалась вкрапленной в текст, пьесе «Дзидь», законченную в ночь перед смертью). При беглом чтении может родиться подозрение к жанровой вторичности этих текстов по отношению, скажем, к «Опавшим листьям». Писатель Розанов записывал свои догадки на даче, на подметке, в седьмом часу вечера, так это и напечаталось. Здесь никакой условности, никакой игры, никакой полифонии. Не так в этом тексте. Отдельные фрагменты произносятся всякий своим голосом. Вне зависимости от того, написан ли отрывок от третьего лица или от первого, содержит ли обращение к читателю, к самому себе или лишен адреса. Подчас разложен на голоса даже один фрагмент, а то и одна фраза. У каждого голоса своя тема, скажем, тема задетой чести: «О, ведь меня оскорблял, как мог, а я молчал. Делал вид, что ничего не происходит. Он мерзавец, бандит, но я ведь никак ему не ответил». Или в другом месте: «Она только и знает как кривить свою телячью морду-говно и визжать, чтобы другим было невыносимо противно, если тебе нужно выплеснуться, найди себе стенку — побейся». Автор один, темы близки, голоса разные. Но в каждом случае прежде всего важен жест, важна интонация человека задетого или оскорбленного, важна поза. Весь текст, все полифоническое представление — из этих микрожестов интонаций, этих движений и поз, из мелькания множества масок и выражений лиц. Голоса перебивают друг друга, теснятся, сразу за голосом, скорбящем о «дорогой посуде», рассуждения: «Семейство однополых дело блядское». Это говорит человек рассуждающий, стоящий в позе рассуждающего, в позе писателя Розанова, к примеру. Но тут же и обрывается, меняет позу, сбрасывает маску, вздыхает: «А дай ему волю, так все, он сядет на шею и начнет болеть, чтобы о нем заботились». Автор собою дает всем голосам пищу, дирижирует ими, своею авторской волей компоует. Все черпает из самого себя, воображаемые ситуации не нужны, кроме случаев, когда имитируется поза человека воображающего. Условность здесь так сильна, что временами текст кажется безусловным, слова — непреднамеренно сказанными, словом перед нами личный дневник. Это — цель всей игры, эта наша иллюзия — взлелеяна искусством писателя, всей гаммой его таланта — от виртуозного владения синтаксисом до понимания психологических нюансов.

Как ни странно, этого зачастую не понимают и пишущие и слышащие люди. Его проза ими читается как отчет о прожитом им, как записная книжка, а в расчет не бралось, что, как и во всяком писательстве, в каждой строке есть зерно взаправду происшедшего. Но это значит мало, ситуация преобразена, спедализована или замутнена, утаена наполовину или расказана с той детальной откровенностью, которой сама истовость не позволяет оставаться правдой. Изгнанная простота и кажущаяся безыскусность его речи обманывала и тех, кто знает, что Пушкин в жизни не говорил стихами, полифоничность не замечалась, отсюда происходили самые досадные недоразумения. Тончайшая игра смыслов, оттенков, граней

игнорировалась, а многие фразы и описания воспринимались в лоб, особенно если цеплялись за расхоже-либеральные или ханжеские предрассудки. Справедливости ради следует сказать, что он обожал самый площадный эпатаж, как никто чувствовал стихию балагана, и, зная способность своей манеры притворяться простодушной, пользовался этим, подразнаявая доверчивого слушателя запретными руладами, выводимыми голосами в его текстах с невиннейшим видом и открытым жестом. Но сам же провоцируя возмущенные крики, огорчался, когда уловки достигали цели слишком легко, а предложенная игра встречалась улюлюканьем.

Не стоит и говорить что он был слишком многомерен, чтобы питаться духовно хоть в чем-либо — ненавистью. Он был смиренен, но не всеяден. Он был одарен легким и счастливым остроумием, не сарказмом, не издевкой, не иронией, а именно способностью яснодушной улыбки, скорее печальной. Он не был эллином, а человеком аскезы и спиритуальности. Светло-плотские тона были чужды ему, описания плоти служили ее преодолению. Видимо потакая плоти, обнажая грубые формы похоти, он деромантизировал ее и оборачивал против самой себя. Гомосексуализм его был во многом формой воздержания, всякое отступление от обета целомудрия наказывалось самым чудовищным препарированием самого летучего греха, на который эллинский взгляд посмотрел бы как на сладкий поцелуй. Дрожь и упоение он испытывал лишь в служении, в подвижничестве, в самоотказе — здесь связь между его гомосексуализмом и христианскими мотивами. Он не был моралистом, но все брызжащее, извергающее, пахнущее здоровым потом, пьяное и рожающее было чуждо ему, воспринималось не как подлинное, но как игровое — и здесь исток направленности немногого витально-стихийного в нем — в театральное. В плоть можно лишь играть, как можно притвориться женщиной, но смысл любви — в самопознании, в духовном возвышении, в эгоцентрической конденсированности: «Послышалось, как открывают дверь, и вошел я. Я подошел ко мне, мы обнялись сухими осторожными телами, боясь быть слишком горячими и налезть друг на друга, такие близкие люди, знающие про друг друга все, настоящие любовники. У нас с ним было общее детство. Только не может быть детей».

Сталинское детство, перипетии любовные, считанные бытовые ситуации — вот, собственно, все, что он перенес на свои страницы непосредственно из жизни, в то время как о многих и многих сторонах не упоминал. Важнейшая — его христианство, о котором писал косвенно. Православие было для него национальной верой, но не знаком — он не был славянофилом, — неразрывно связанной со всем русским. Он любил церковные книги, превосходно знал Библию, перечитывал молитвословия и жития святых, все было созвучно его положению в жизни, его вынужденной аскезе и затворничеству. Пышная атрибутика византийского культа, сам церковный запах, потрескивание свечей — все шло его ощущению мира, его

этическому пониманию красоты: «Все, что в бусах, бумажных цветах и слезах, все у Бога под сердцем». Красота — незащищенная одухотворенная слабость, красивая не тем, что с ней будет, тем, что есть...

В его углубленной жизни, в его облике, в его отношениях с людьми были несомненные черты избранничества, святости. И при его смирении, при глубокоом осознании им гордыни (как смертного греха) многозначны его слова: «Должно было произойти немало событий в мире культуры и в мире природы, чтобы образовался я. Ко мне надо относиться суеверно».

Свою смерть он точно описал: «Вдруг вам после болезней внезапно так хорошо, как не бывает и не может быть и это не в человек. силах вынести. Вся дрожь лучших минут вашей жизни, всей вашей невозможной юности, все соединяется в одну немыслимую минуту, как при первой любви, как при надежде на новую, как перед первым приездом в Москву, как во всевозможные случаи, бывшие в жизни, — все в одну минуту, этого невозможно выдержать, ваше сердце разрывается и вы умираете. А все, кого вы любили и кто любил вас, вспомят из разных концов земли и из под земли о вас в эту минуту». Он умер жарким июньским днем на улице Пушкина в Москве от сердечного приступа, неся к машинистке листки только что законченной пьесы. Листки рассыпались по горячему асфальту. «Ничто так точно не показывает человека, как то, как он умер и в какой момент». Он умер, дописав то, что хотел, «после уж нечего будет писать», окруженный учениками — учениками-актерами, учениками-музыкантами, учениками духовными и литературными, к которым причисляю себя. Стертое словосочетание «сын своей эпохи» по отношению к нему звучит двусмысленно. Он был сыном ее по некоему закону отталкивания. Поэтика его зрела не на гребне жалкой полусвободы послесталинской поры, воспитавшей многих и старших его по возрасту, а под грохот и стук фараонова войска. Это не случайное замечание. Брутальный бард, скончавшийся годом раньше и бывший лишь двумя годами старше, Высоцкий, тоже начался там же, в сталинской коммуналке, в городском перенаселенном дворике, куда возвращались амнистированные, принося барачные песни и лагерные апокрифы. Первый взял от тех лет внешний стиль, зик и негу, второй — боль и достоинство. Они были полярные двойники, всенародные и вненародные певцы, и недаром с юности были знакомы, недаром некоторые стороны их судеб общие. Даже литературная безвестность одного рифмуется со всеохватной славой другого, равна ей, взятой с обратным знаком.

Певцы умирают в конце эпохи. Сегодня они умерли, и эпоха кончилась. Мы вступили в новое время. В неведомых новых днях будут читать Книгу, на которую закон и нравы нашего дома наложили арест, и трудно надеяться, что когда-нибудь арест будет снят. Сквозь призму редкого артистизма книга эта показывает нас и время наше не похожим ни на один способ. Автор перерос и преодолел свою эпоху, его книга адресована в будущее.

Вадим ЛИНЕЦКИЙ

ОБ ИСКРЕННОСТИ И ЛИТЕРАТУРЕ

(К 40-ЛЕТИЮ СТАТЬИ В. ПОМЕРАНЦЕВА)

Статья В. Померанцева стала вехой в истории советской литературы, или, что то же, в истории советского общества. Призыв к искренности был, как известно, воспринят как призыв к подлинным, настоящим проблемам, к отображению жизни, а не партийных схем. Это был один из этапов того освобождения, которое получило название «десталинизации». Статья дала толчок, вызвавший к жизни литературу «оттепели». Ее значение закрепил Солженицын: в «Раковом корпусе» фигурирует книжка «Нового мира» со статьей Померанцева. Всем этим и объясняется юбилейное обращение к ней, наряду с другими произведениями, сыгравшими сходную историческую роль, — например, очерками В. Овечкина.

Усиленно подчеркивая историческое значение, мы, конечно, прибегаем к эвфемизму, позволяющему примирить совесть с ностальгией. Хотя устарелость — естественная участь критической продукции вообще, а советской — тем более, может показаться, что в случае Померанцева устарелость прямо-таки скандальна: статью регулярно вспоминают, но не цитируют. Так, например, без цитат обходится в своем разборе померанцевского текста Наталия Кузнецова («Магнитная стрелка искренности» — «Континент», 59). Однако внимательное чтение убеждает в некоторой поспешности вывода о тотальной устарелости работы Померанцева, позволяет выявить в ней кое-что опередившее и пережившее свое время.

Ну, например, выясняется, что Померанцев предсказал появление «Ста лет одиночества» Гарсиа Маркеса («Знаете, как надо писать книгу о людях одной деревеньки? Так, чтобы о ней прочитал весь земной шар»). Актуальным представляется и такое соображение Померанцева: «...мы еще неверно понимаем значение романов как «документов эпохи». Ведь художественные документы должны чем-то отличаться от подлинных документов истории, не должны переписывать их... «Документ эпохи» не должен ее документировать. Из него мы хотим не документы вычитывать, но душу эпохи». В чей огород этот камушек, объяснять, вероятно, нет нужды.

За всем тем, однако, остается фактом, что категория, достойная литературоведческого анализа, такого анализа у Померанцева не удостоилась. А посему очередной юбилей статьи — подходящий случай для того, чтобы, по совету Андре Жиды, «наконец обдумать и четко сформулировать понятие искренности в искусстве» (Дневники; запись от 31.12.1891). Но к этому толкает и кризис, по общему признанию, постигший отечественную

словесность, и попытки разобраться в его причинах, вновь скрыто или открыто ставящие вопрос о писательской искренности.

Искренность — тот узел, который связывает в России литературу и сферы внелитературные, например, общественную жизнь. Одна из актуальных проблем этого спектра — вопрос о том, почему отмена цензуры, о чем так долго мечтали отечественные литераторы, стимулирует у них ныне не творческую активность, а ностальгию по временам подцензурным? Или иначе: почему конец застоя общественного обернулся началом застоя литературного?

Чаще всего литературу последних лет упрекают во вторичности, надуманности, деланности. На языке Померанцева это упрек в неискренности («...неискренность — это не обязательно ложь. Неискренна и деланность вещи»), который невозможен, если признание (а именно так чаще всего трактуется у нас литературное произведение) сделано под давлением, в той или иной мере вынуждено — как, скажем, был вынужден обстоятельствами истории и судьбы «Архипелаг» Солженицына. В этом смысле давление цензуры гарантировало подлинность произведения, оправдывая его по крайней мере как человеческий документ. Если учесть количество и значение подобных «документов» в русской литературе, становится понятно, почему с отменой цензуры литература у нас как бы лишилась оправдания своего существования. И это подтверждает фундаментальную роль искренности в нашей литературе, особое место этой категории в русском литературном сознании.

Это особое место уместнее всего определить, позаимствовавшись из медицинского лексикона, — скажем, как опухоль или нарыв. Но ни один из этих более-менее конкретных терминов не позволяет дать о картине такое ясное представление, как расплывчатое слово «болезнь». Поэтому обратимся к анамнезу и зададим вопрос, обратный тому, что ставил в свое время Померанцев («Откуда в нашу литературу могла проникнуть неискренность?»): когда проникла в нашу литературу искренность?

Перечитывая в хронологическом порядке наших классиков, приходишь к выводу, что искренность — врожденная болезнь русской литературы. Ее течение определило весь классический период русской словесности, эпитафией коему стали слова Горького: «Писатель прежде всего должен быть искренним». На всем данном отрезке понимание и весь спектр возможных применений этого понятия оставались неизменными.

Натурально, искренность должна была особенно тревожить сознание писателей, озабоченных «судьбой общества, поколения, страны, в конечном итоге — всего мира» (Н.Кузнецова). Например — Писемского. В его романе «Люди сороковых годов» главный герой, начинающий литератор, рекомендует свое творение так: «Я пишу за женщину, за ее достоинство... и если не слишком даровито, то по крайней мере горячо и совершенно искренно»¹⁾. Как видим, ссылкой на искренность тут оправдывается бездарность, или, мягче, творческая беспомощность героя.

Тем самым мы сразу оказываемся в круге идей, не теряющих актуальность, идей, на которые продолжают охотно ссылаться апологеты искренности в литературе.

Взять, к примеру, недавнюю статью Ст.Рассади́на «Голос из арьергарда» («Знамя» 11, 1991). Правда, вспомнил об искренности наш критик не ради нее самой, а по ходу дела: доказывая несостоятельность литературы бывшего андерграунда. При этом им используется тот же прием, что был опробован в свое время В.Померанцевым, считавшим образцом художественности очерки Овечкина и вообще всяческую документалистику... Только на тот раз андерграундовцам противопоставляются графоманы, и сравнение их текстов оказывается не в пользу первых. Ход мысли таков: то, что у Т. Кибирова, Д. Пригова, В. Сорокина... преднамеренно, т.е. концептуально, т.е. неискренно, т.е. литература, — у графоманов естественно, т.е. случайно, т.е. искренно, т.е. «сама жизнь»: «И шедевр Киселевой (имеется в виду «Кишмарева, Киселева, Тюричева», «Новый мир» 2, 1991 — типичный «человеческий документ» — В.Л.)... и скромный стишок счастливого мужа — ... выполнили одно из важных условий искусства: они не подделка. Они первичные (иначе говоря: искренни — В.Л.). В то время как... едва ли не главный упрек, который выслушивают нынешние «другие», это их вторичность. Вольная и невольная. Отчасти принципиальная и, во всяком случае, неизбежная... Ну-ка сравните творение Киселевой с «Песнями восточных славян» Петрушевской... каким безъязыким, ненатуральным (иначе говоря, неискренним. — В.Л.).. кажется профессиональный труд». Вообще-то такое противопоставление некорректно, но в силу тех выводов, к которым эти рассуждения ведут, а также по причине их традиционности, некорректность нейтрализующей, мы, так и быть, не будем ставить ее Рассадину в строку, не будем педалировать этот момент. Рассуждения Рассади́на удобны для нас тем, что прямоком выводят к грани, разделяющей литературу и все, что литературой не является, прежде всего — жизнь. Грань эта, как и следует ожидать, оказывается размытой — у Рассади́на, как и у Померанцева. Понятно, нравится это далеко не всем. Вот и рождается иллюзия, будто искренность для литературы — не лом, а следовательно, и против нее есть прием. Таким приемом традиционно представляется ирония. Недаром неочевидной причиной многих наших литполемик является конфронтация сторонников искренности с защитниками иронии. (И именно поэтому большинство этих полемик спустя какое-то время кажется недоразумением). Что до аргументов в пользу иронии, то основной из них звучит так: «... ирония — неперемное условие существования искусства. Ведь искусство — невозможно без момента «отчуждения, отстранения личности от совершающего», искусство стоит на условности... Объект иронии... — сама действительность, включая сюда и личность художника... Главная функция иронии — не разрушение, а сохранение равновесия, расчет баланса.... При свете иронии невозможно размыть границы между искусством и жизнью, а только при этом условии искусство

способно выполнять несвойственные ему функции» (А. Агеев «Прерванный сон...» — «Октябрь» 11, 1991).

Дихотомией искренности / иронии определяется история русской литературы. Можно было бы даже сказать, что это — переведенная в литературоведческие термины базовая оппозиция спонтанности/ сознательности, которая была предложена американской исследовательницей К. Кларк в известной работе о советском романе («Оппозиция спонтанности/ сознательности отвечала потребности русского народа в ритуале... Это — самобытный русский вариант характерной для западного мышления оппозиции природы и культуры»²¹). Действительно, искренность принято ассоциировать со спонтанностью, непосредственностью, иронию — с сознательностью, рефлексией. Казалось бы, нам остается только присоединиться к выводам К. Кларк, лишь расширив сферы их применения, и ритуализировать всю историю отечественной словесности, а не один ее советский период. Известно, однако, что «дискурс обусловлен категориальным аппаратом» (Цветан Тодоров). Категории, использованные К. Кларк, — из арсенала психологии, а потому перенос их в литературоведение дает некую разновидность юнгианского мифологизма. В то время как «чистота» наших категорий позволяет выявить совершенно иную диалектику между членами оппозиции, позволяет говорить об их структурном сходстве.

«Я стою перед выбором между моралью и искренностью. Суть морали в том, чтобы воспитать естественного человека (ветхого Адама), научить его смотреть на себя со стороны, сделать неискренним. Искренний человек — ветхий Адам. Он — поэт. Человек моральный — художник. В борьбе между ними рождается произведение» (А. Жид). Это остроумно, но неверно. Потому хотя бы, что искренность вовсе не первична, не естественна, не является проявлением природного естества, но подразумевает ту же рефлексивную дистанцированность от объекта, что и ирония. Правда, объект тут внутри, и дистанция — по отношению к самому себе. Это структура исповеди, от которой берет начало психологическая проза. Искренность в литературе обыкновенно связывается с психологизмом, традиционной, реалистической манерой письма. Не зря в европейском понимании «писатель — это психолог» (О. Шпенглер).

Традиционность — один из главных аргументов защитников искренности, ибо опора на традицию, как кажется им, гарантирует литературе прочный фундамент вечных ценностей. «Магнитная стрелка искренности указывает одно направление, но не два и не десять» (Н. Кузнецова). Возразить против этого нечего. Хотелось бы только узнать, почему означенные ценности в литературной практике постоянно оказываются искаженными, имеют привкус чего-то совсем не вечного и уж во всяком случае не ценного. Это искажение не случайно, являясь прямым следствием эстетической установки на искренность.

Ибо искренность как любая рефлексия, как всякий психологический анализ неизбежным образом субъективирует надличностные ценности, ставя их в зависимость от человека. Причем это не та естественная субъективность, что сопутствует «диалогической жизни» (М. Бубер), но субъективность как насилие и искажение. Самовыражение, самопроявление субъекта. Исторически именно ориентирующийся на искренность психологизм устранил из эстетики такую несомненно принадлежащую к вечным ценностям категорию, как категория прекрасного. Процесс описан Киркегором ("Или/или"): "... психологическую текучесть невозможно запечатлеть в четких формах, представление о ней может дать только череда перетекающих друг в друга, расплывчатых картин, заставляющих забыть о пластических прекрасных формах... психологизм не прекрасен и не безобразен". Произошло это в эпоху романтизма, в эстетике которого самовыражению принадлежит центральное место.

Искренность в отношении себя и мира для романтика разумелась сама собой. Что не мешало ему оставаться творцом новых форм (Новалис: «Художнику нужны новые формы, чтобы искренно выразить себя»), размышлять об иронии, высказывая при этом мысли, к которым сегодня, по совести говоря, нечего прибавить не одному только А. Агееву.

Оставаясь искренним, романтик не мог не быть ироничным. Романтизм показал глубинное тождество искренности и иронии. И не случайно именно в эпоху романтизма искусство впервые перепутало себя с жизнью. Игра, мистификация, всяческая условность — словом, все, что мы привычно связываем с представлением о романтизме, вызвано его исходной установкой на искренность. Как писал в своей капитальной «Психологии мировоззрения» Карл Ясперс: «Искренность — условие психологических наблюдений. Но вступив на этот путь, вскоре нам приходится признать, что объект наших наблюдений — иллюзорен. Психоанализ оборачивается эстетической мистификацией». Автор и произведение, искусство и жизнь сливаются воедино. Эта дорога ведет к утопии. И перекрыть эту дорогу ирония не в силах³⁾.

Вспомним историю русской словесности. Герои иронической прозы — от Гоголя до Шукшина — перешагивали границы текста не реже, чем герои прозы искренней, исповедально-психологической. С одной стороны, мы имеем Хлестакова, с другой — Раскольникова. С одной — весь выводок Карамазовых, Фому Опискина — с другой.

Последний пример, кстати, показывает, насколько легок переход от искренности к иронии и обратно. Не только в пределах творчества одного писателя, но даже в пределах одного текста. Сугубо ироничных писателей не бывает. Так же как сугубо искренних.

Несмотря на все это у нас продолжает существовать соперничающий с культом искренности своего рода культ иронии. Еще более странно, что культ этот связывается в представлении наших критиков с постмодерниз-

мом. Меж тем — по мнению западных исследователей — именно для постмодернизма характерно сомнение в — философских, равно как эстетических — возможностях иронии. Как формулирует немецкий литературовед Клаус Р. Шерпе, «постмодернизм — после всего, в том числе — после иронии».

Постмодернизм, вобравший в себя опыт XX века — века осуществленных утопий, есть сознание конца той культурной эпохи, что началась Возрождением. Утопия — единство искусства и жизни. Но она же знаменует собой предельную изоляцию человека, его моральное и эстетическое банкротство. И в этом смысле постмодернизм есть конец утопизма.

Учитывая логоцентризм культуры нового времени, естественно искать корни утопизма в той модели, которая со времен Ренессанса продуцирует текст. Определяется эта модель двумя словами: самовыражение и субъект.

Искренность и ирония — две стороны одной медали: творческого самовыражения субъекта. В понятии «самовыражение» имплицитно присутствует базовая структура расколотого и дуалистического сознания возрожденческого человека, стремящегося, однако, — незаконными — путями эту расколотость «снять». Структура эта просматривается от Канта до Маркса, Фрейда и семиотики. Отражающий ее текст значит «что-то еще», а стало быть, его восприятие стоит под знаком «правды», т.е. соответствия с затекстовой реальностью. Но стоит чуть-чуть сместить акцент, — и мы уже готовы предъявить самой реальности требование соответствовать тексту. На практике так оно постоянно и происходит.

Описанная модель не была поставлена под сомнение ни модернизмом, «остающимся в самой своей негативности устремленным к правде и цельности» (Клаус Р. Шерпе), ни даже наирадикальнейшим авангардом, сохраняющим — как, например, у Сергея Третьякова — понимание искусства как органа правды — с тем только нюансом, что последняя мыслится «в сослагательном наклонении классовой борьбы» (Т. Адорно).

Именно эта модель открывает дорогу насилью искусства над жизнью, ибо благодаря ей читателю кажется, что в книге — «все как в жизни», персонажи воспринимаются «как живые люди»: «Когда автор неуклюже дает мне понять, что живущие (! — В.Л.) на сцене мужчины и женщины знают о моем пребывании в зале и говорят для меня, а не для других живущих (!! — В.Л.) на сцене людей, то мне уже неинтересно их наблюдать, а им — уже несвободно живется». Однако Померанцев напрасно полагал, что «свободно живется» персонажам только при свете искренности: в ироничной атмосфере им дышится легче⁴⁾.

Как видим, категория правды релевантна для традиционного — искреннего, равно как и ироничного — произведения, т.е. произведения, предполагающего за-знаковую глубину. Можно, конечно, спорить о степени социального нигилизма данной модели (см. напр., начавшуюся с январского номера «Знамени» 1992 публикацию материалов «круглого

стола» «Русская классика и Октябрьская революция»). Но несомненно ее нигилизм по отношению к самому искусству, ибо она санкционирует марксистско-фрейдистские интерпретации, не ставя против них никакого заслона. Для структуры безразлично, является ли текст выражением идеологии класса или самовыражением субъекта, ведь в ней изначально присутствует дуализм знака и означаемого.

Деконструкция субъекта, предпринятая Жаком Деррида, близка, как ни парадоксально, «диалогическому принципу» Мартина Бубера. В обоих случаях отрицается сама структура возрожденческого сознания и началом дискурса признается не «я», но «ты». «Я» как такового не существует. Я появляется только в отношении к Ты или в отношении к Оно. Говоря Я, мы имеем в виду одно из двух». Это может показаться цитатой из «Голоса и Феномена» Жака Деррида. Однако слова принадлежат Буберу. Такое «я» уже не может претендовать на то, чтобы — искренно или иронично — выразить себя в искусстве. Переосмысливается — а точнее возвращается к довозрожденческому — само понимание творчества. «Искусство — это всегда только по-новому оформленное старое. Самовыражению нет места в искусстве» (Нортроп Фрай). Назвав это концептуализмом, мы употребим верное слово.

Но слово это еще и старое. Что можно расценить как достоинство, учитывая стремление любого течения назвать как можно больше предшественников. Прав на родословную у концептуализма больше, чем у других, исключая, пожалуй, только реализм. Достаточно вспомнить хотя бы средневековый испанский «концептизм». «Мы пишем лишь о том, о чем читали», — с гордостью заявлял испанский поэт Беркео, формулируя одновременно эстетический принцип нынешних концептуалистов.

Говорят, впрочем, что никакого концептуализма у нас нет, а то, что есть, — просто плохая литература. Сдается, однако, что у нашей критики нет категорий для разговора на эту тему.

Исходя из того, что лежаций перед нами постмодернистский текст, скажем, Пригова — есть продукт искреннего или ироничного самовыражения автора (элементарная предпосылка критического разбора), мы ничего в нем не поймем. Постмодернистский текст — безличен, он не выражает ни отношения автора к миру, ни его отношения к самому себе. Отсюда цитатность такого текста. Цитата — способ уйти от самого себя. Поэтому цитата не «обыгрывается» (это вновь заставляло бы говорить о самовыражении). Отношение к ней нейтрально. Важно не содержание цитаты, но сам ее принцип — кавычки. Что заставляет читателя подозревать наличие цитаты даже там — и прежде всего там, — где никакой цитаты нет. И это позволяет нам сформулировать одно из главных отличий постмодернистского текста от текста, таковым не являющегося. Оно состоит в том, что любой комментарий к нему (расшифровка цитат и пр.под.) — не в пример лотмановско-набоковским комментариям к «Евгению Онегину» — ничего не добавляет к его

пониманию, но сам становится самостоятельным произведением литературы. Ибо основной признак постмодернизма — это «борьба с референтом, ведущая к новой поверхности» (Клаус Р.Шерпе).

Она же — тавтологичность. Тавтология, внушающая ужас любому художнику Нового времени (вплоть до таких типичных модернистов, как Набоков или Бродский), становится конструктивным принципом постмодернизма. Тавтологичность лежащей в основе постмодернистского текста модели снимает вопрос о его искренности или ироничности. Такой текст равен самому себе, т.е. тексту. И только.

Говоря философски, мы имеем дело с принципом тождества. Многим кажется, что постмодернистские тексты вряд ли переживут своих авторов. Против таких опасений, по совести, нечего возразить. Их можно только по-иному истолковать. «Забвение есть условие памяти», — утверждал Бергсон. В плане индивидуальном тождественность личности самой себе ("я-я" — любимый пример Гегеля) должна быть «забыта», чтобы дать место сознанию. И в этом смысле отсутствие претензий на вечность у постмодернизма, утверждающего тождество искусства самому себе, как раз и позволяет ему быть началом какой-то новой эпохи, началом, которое должно быть «забыто», если оно будет иметь продолжение.

Что это будет за продолжение, — сказать, разумеется, трудно. Ясно лишь, что оно — по ту сторону оппозиций Нового времени. Применительно к русской литературе — по ту сторону ее магистралей, заданной дихотомией искренности/иронии.

Примечания

1. — «Искренним считает себя всякий молодой человек, имеющий «убеждения» и неспособный отнестись к ним критически» (М.Пруст).

2. — Katerina Clark. The Soviet Novel. History as ritual. London. 1981. p. 20

3. — Более того: структурный анализ общепринятого определения иронии — «ирония предполагает, что о несуществующем говорится, как о существующем» (Анри Бергсон) — вскрывает в нем утопический потенциал, который мы привыкли не замечать.

4. — В этом пункте функциональное сравнение искренности и иронии вновь подтверждает их структурное сходство: «Гоголевский мир... находится все время в зоне контакта (как и всякое ироническое изображение)... все становится современным, реально присутствующим» (Бахтин). — «При определенном уровне профессионализма... искренность непременно передается читателю... и вызывает ответное чувство — доверие. Так автор и читатель становятся соучастниками одного и того же процесса — решения... наболевшей проблемы» (Н.Кузнецова).

Елена ШВАРЦ

РЕКВИЕМ ПО ТЕПЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ, ИЛИ МАЯКОВСКИЙ КАК БОГОСЛОВ

/О книге Ю. Карабчиевского и не только о ней/

Короткое предуведомление: сразу о терминах. «Теплый человек» — значит — не холоден, не горяч. Когда говорю «душевный» — значит — не духовный, «хороший» — судящий других с определенных, довольно четких этических позиций. Собственно, тип критики, созревший в лоне шестидесятничества. Но в том или ином виде, он был всегда (хотя бы Добролюбов). Остальное ясно из нижеследующего.

1.

Чего хочет «хороший» («теплый», «душевный») человек от Поэзии? Да немногого. Он хочет, чтобы она изливалась прямо из сердца, говорила о том, «что на самом деле» и чтобы «форма соответствовала содержанию», т.е. тоже была бы простой и ясной, без выкрутас.

Замечу, что такого рода стихотворения, когда получаются, являют собой, может быть, высочайший, а может, просто особый, очень редкий род поэзии — я бы назвала его неодетым. Пример — «вот иду я вдоль большой дороги» Без выкрутас. Для него и поздняя Цветаева — это лишь «формулы и афоризмы», «изнурительная борьба со стихом...», «лингвистическая карусель». «Сложная пьеса — писать которую унижительно...» А вот Бродского «унижительно даже уже и читать...Много сказано и не сказано ничего». О, он конечно отдает должное Бродскому, «который и много умнее Маяковского... да и мастерство его абсолютно». Что касается ума М. — то уж разрешите поверить Пастернаку, да и Чуковскому. Абсолютное же мастерство если оно есть — то разве у Демиурга — при сочинении каштана, например. А если что и унижительно, это нижайшая почтительность перед «мастерством», за которое он принимает сложную рифмовку и аллитерацию, не понимая (не дано уж было), что никакого мастерства и нет как такового, а есть сложное сознание и хаотическое бессознательное, стремящиеся себя выразить, а иначе говоря — гений и удача.

Ему бы, хорошему человеку, писать о Есенине, ну о Твардовском. (Об обоих не хочу сказать ничего обидного). Это — его. Ан нет! Зачем-то находит себе большое уязвимое раненое и даже убившееся Человекоживотное.

(«Какими Голиафами я зачат»)

и всаживая ему в окровавленный бок нож — спокойно и неторопливо, по мере сил своих — фельдшера-недоучки — с ученым видом рассуждает об анатомии этого несуразного Существа. Никогда бы он не сделал этого, если бы сам Слон не превратил себя в Моську: не опозорил себя добровольно сотрудничеством со стучащим кулаком и растирающим в пыль башмаком.

2.

Что был бы Маяковский для русской поэзии, если бы в 16 году умер или растворился тогда же в пространствах?

Он — «красивый двадцатидвухлетний» — был бы наш Рембо.

Еще более дерзкий, еще более «сверхчеловек». (Да, это не всегда — ругательство. Святой, да и всякий истинный христианин стремится к сверхчеловеческому и неслышанному).

Году в семнадцатом умчался он из русской поэзии в свою плоскокрасную Африку. Поэзия более изнурительное занятие, чем думают, просто сил не хватило, как и французу.

И превратилось его дионисийское бешенство, нечеловеческое сострадание ко всему, само над собой издевающееся, и гигантизм — в плоскость (пошлость) и жестокость.

Но это не было неизбежным и закономерным, как хочет убедить нас шестидесятник. Скорее — внезапным падением небесного тела, на лету превращающимся в человеческое. Это такая же случайность, как торгашество Рембо, умершего с непригодившимся золотом в поясе.

Все же — зачем автор — честный и скромный, серьезно изучивший законы версификации — взялся думать и писать об этом несчастном Человекослоне (у которого по словам К. и души-то нет, а только — «сгущенная пустота». Пустота, впрочем, как ни сгущай, все равно ведь пустотой останется. К тому же и многие великие души не что иное, как пустота приемлющая, может быть и для поэта — это большой комплимент)? Зачем же, спрашивается? Чем притягивает, гипнотизирует — до того, чтобы потом и смертью собезьянничать? Одно ли желание разбить кумир юности? Только ли чтобы доказать, что неверные с его точки зрения эстетические послышки ведут и к «неверной» морали, и что сложность вообще не к добру?

То-то хохочет там над ним Маяковский, вертя в огромных лапах, то-то подхихикивает Лиля, и оба они утешают, плоско остря, расстроенного своей смертью хорошего человека. (Я не так представляю загробную жизнь Маяковского, но приблизительно так ее должен бы мыслить К.)

3.

Маяковский говорил: «Я где боль-езде».

Как — К. спрашивает — можно быть везде? Нельзя ведь, значит — это пустые слова. Не знает К. — тот, кому больно всерьез и изначально — в том — вся боль мира, он ее вбирает, он — центр болящего мира, в коем страдание и сострадание — неразличимы.

Главное движущее Маяковским чувство (и как личности, и как поэта) К. видит (и тут мы с ним согласимся) — в обиде. Но на что? Не затрудняясь доказательствами или объяснениями, К. просто отвечает — на то, что его не приняли. Мелко. Помилуйте! Кто еще был столь ослепительно знаменит, а значит и принят (воспринят) современниками? Да — обида. Но не на «мужа Марьи Ивановны», а на боль всего живого и на Творца, допустившего ее.

Серьезно и с ученым видом препарирует К. шутки Маяковского, убеждая, что они неостроумны. Да никакие шутки не смешны, когда их рассматривают в лупу.

Объясняя доверчивым читателям, что Маяковский в своих человеческих проявлениях был просто хам, К. приводит пример, очень известный, из статьи К. Чуковского. Причем удивляется — почему трезвый умом Чуковский восхищается тут Маяковским. (Еще бы! Чуковский-то не был «хорошим», «теплым» человеком, как после публикации дневников стало еще яснее.) Я тоже восхищаюсь поведением Маяковского в этом мелком незначительном случае. Приходит в бильярдную известный критик и, отрывая молодого поэта от игры, начинает расхваливать его книгу. Маяковский делает вид, что ему не до похвал и игра для него важнее (позвольте тут уж ему не поверить) и отсылает критика к какому-то старичку, за дочерью которого ухаживает (сомнительно, что с такими уж серьезными намерениями — он уже был мужем Лили Юрьевны Брик), и чье мнение для него якобы жизненно важно. И вот, вместо того, чтобы увидеть тут естественное смущение и особого рода душевное целомудрие, да и своего рода аскетизм (в пренебрежении похвалой) и внутреннюю огромную свободу — кто еще был или будет способен так легко пренебречь похвалой влиятельного лица? — К. видит в этом хамство. Господи прости, больше ничего не скажешь.

В чем К. сочувствует Маяковскому и даже перестает скрывать некоторую тайную влюбленность в своего героя — так это в истории его любви. (Мне, впрочем, кажется, что никакой тайной влюбленности нет, а есть ее расчетливая симуляция, льстящая «тонкому» читателю — ах, вот он на самом-то деле Маяковского любит! Хороший какой!) К. становится ужасно подробным и пристальным, пронизывает все завесы — хотя одна записка Лили Брик говорит нам об этом ясно и просто гораздо больше того, что К. хочет сказать. Он ему очень сочувствует. Нечего сочувствовать. Да, не было у него «нормальной семейной жизни», но была любовь

— такая несчастная, такая счастливая, такая средневеково-рыцарственная, что из поэтов один только Блок может с ним в этом сравниться.

Естественно, что если Маяковский пишет о Земле, как о бабе «ерзающей мясами хотя отдаться», то невинный во многих смыслах хороший человек видит в этом скрытую ненависть к женщинам и обиду на них. Даже как-то неловко говорить об очевидном — о яркости мифологического сознания Поэта, его связи с древним и архаическим, где Земля именно — женщина, и не всегда мать. Солнце в стихах Маяковского с удивительной настойчивостью лезет с самого начала. Этот житель бессознательного для него — то враг, то — брат, то — Бог. И, конечно, не для того поит его чаем Маяковский в 20 году, чтобы, как наивно утверждает честный разоблачитель, намекнуть — что он «сам — солнце русской поэзии». А просто потому, что поэт не может отвязаться от солнца, оно пристает к нему и горит на поверхности его души даже на закате первоначального и истинного Маяковского.

Порядочный человек никогда, видимо, и Фрейд не читывал, иначе не возмущался бы так бурно строками Маяковского:

«Отца —
Мы и его
Обольем керосином
И в улицы пустим для иллюминаций.

Может быть тут и есть чем возмущаться, потому что это — богохульство, Отец-то — небесный, это ясно видно из контекста — речь идет о французской революции и о том, что она не все, по мнению Маяковского свергла, что надо было. Но исследователь возмущается не тем, а важно замечает: «отец — это всегда отец... Неужто всерьез написал? Можно ли отца поджигать и гнать по улицам?». Не надо быть специалистом по Фрейду, чтобы знать, что ребенок, любящий своего отца наяву — во сне может убивать его, жечь и всячески мучить. А стихи — это тот же уровень существования, что и сны. Человек в снах и стихах неподсуден, и не надо называть его извергом за сны, которые снятся.

«Маяковский был воинствующим атеистом» — уверяет критик. Далее: «все же он боролся против неба». Нелогично — для атеиста нет «неба», воинствует он с людьми. «Разумеется, я не хочу сказать, что он хоть в самой глубине души был верующим». Ох, нелогично. Если боролся, то уже — не атеист, а богоборец, а богоборец, по определению, верующий, знает, с кем борется. Богоборчество подразумевает веру, и горячую. «С кем Иаков боролся в ночи».

«Он был человеком без убеждений, без концепций и без духовной родины». Допустим. Хотя убеждения все же были, а любовь — тоже духовная родина. Я бы иначе поставила вопрос — человек ли он? Он — поэт, значит — уже нет или еще нет, а человеком только прикидывается.

К концу книги хороший человек все же расчувствовался. Очень, даже «смертельно» вдруг ему стало жалко Маяковского — на последнем его ужасном вечере, когда комсомольцы насмеялись и унижали его до того, что он растерялся и даже потерял свою способность пусть глупо, но острить. Униженного, растерянного пожалел К. Маяковского. Спасибо. Покойный, вероятно, слегка тронут и мы вместе с ним. Когда все силы настоящего, текущего в тот момент 30 года времени обрушились на него и домучивали и так замученного бесплодием и собственной неправдой поэта, хороший человек, добавив пинков из будущего, все же пожалел жертву. На то он и хороший. Тут он даже слишком хороший.

Отвлечемся, наконец, от вынужденных разговоров с хорошим человеком и поговорим немного о Чудовище.

4.

Для «борцов с тоталитарным режимом» политические взгляды Маяковского буквально — красная тряпка, за которой они не видят и не желают видеть ничего больше. Мне они, как и всякий утопизм, неинтересны. Как и весь постыдный и жалкий второй период его жизни, когда он пытался сделать драгоценный свой дар орудием — штыком или метлой — а дара-то уже не было, он лишь изредка, задавленный, пробивался. Маяковский просто занялся в это время другим делом, как, повторим, Рембо — торговством. Это — его несчастье. Поздний он — мертвая и уродливая ветвь того дерева, которое и сейчас живо. Его ранние поэмы и стихи — такое живое пространство, такой оглушающий вал, дикий, как все стихийное. Вот с ним-то и борется К. — против божественного огня и непереносимой боли. А это в отличие от богоборчества — и неблагоприятно и грех — потому, что богоборчество Богу не страшно, а вот человека и творения его затоптать ногами можно.

Второй Маяковский как будто воплотил в жизни выдумку Шамиссо, он человек без тени. Тот же самый, но на самом деле — сам плоская тень. Ее победить и разоблачить — нетрудно. К. делает вид будто другого, автора гениальных поэм не было никогда на свете. А был.

5.

Был ли Маяковский воинствующим безбожником? Воинствующим антиклерикалом — да. Взять хотя бы стихотворение о шести монахинях, которое кончается тем, что если бы Христос воскрес и увидел нудную тоскливую жизнь и якобы служение Ему этих монахинь, он бы повесился. Богохульство? Может быть. Но и ревность по Боге, в своем роде. «Служите Ему в страхе и трепете.

Служите Ему с радостью. Пойте Ему песнь новую.»

Был ли Маяковский религиозным поэтом? Стихотворение «Если звезды зажигают» — это в миниатюре целая богословская система. Оно — о равнодушии Бога к творению. О его незаинтересованности. Можно найти параллели с древними ересями, манихейством, например, но не в этом дело. Богу не нужны звезды, ни те, кто без них жить не может. Приходится врываться к Нему, умолять — то есть молиться. Просить ради другого кого-то, из любви. И Бог все-таки по молитве делает. Весь космос по Маяковскому держится силой любви, сострадания и молитвы. Для дальнейшего развития модели мира, для богословствования Маяковского именно важно, что тут все на человеке держится. На его просьбе слезной, на молитве. Но и обида тут скрыта — что просить вообще приходится, должен бы Сам о своих детях позаботиться. Потом, когда обида за чужую боль стала по-настоящему сильной, он разговаривал с Богом уже без слез. Это — уже вопль, ругань, месть.

Согласно механико-интуитивному методу — всякий поэт есть горло какой-то стихии — что бы стихией не называть — от воды и огня — до окурка (и он — стихия), она все время навязчиво, хотя и незаметно для поэта себя через него выговаривает. Стихия Маяковского — летящий шар. Прежде всего Солнце, оно всюду и везде, в разных видах у него — от глаза до антропоида, на каждой почти странице — «за солнцами улиц», «солнце — отец мой» и т.д. Со всем, что шаровидно, он чувствует родство — с землей — «дай исцелю твою лысеющую голову», с луной, о ней — «жена моя» и звездами. Двойник луны — лысая голова, о которых часто и подробно пишет. Глаз (круглый и двигающийся) — вспоминает до болезненности часто. И как тени и отблески летящего шара в жизни — бильярд и пуля.

Почему так волнует его шар летящий? Да потому, что он помнит свое падение, свой кометный полет. «Был и я ангелом». Утренняя звезда. Родство с демоном, которого так часто и все поминал. Обиженный на все, мощный врубелевский демон — похож на него. Поэма «Человек» о запретных скитаниях с болью воплощающегося бесприютного духа. Пал к нам — на шар земной и с помощью маленького круглого тела — вылетел.

Восстание против Бога? Но и не менее очевидное — служение. В «Войне и мире» взял всю вину человечества — на себя. И вину каждого человека. Признается во всех грехах, какие не совершал. «Маяковский еретикам в подземелье Севильи дыбой выворачивал суставы. Простите!.. Это я ... нес к подножию идола обезглавленного младенца. Простите». А зачем?! Чтобы взяв этот грех весь, стянув в одну точку — уничтожить. Чтобы только он один во всем мире виноват был, с одного бы и спрос. Гордыня. Слишком много на себя взял — и сломался. Безумная утопическая мечта о жертвенности. О жертве за всех — это дело не человеческое. Вот теперь и выворачивают еретику суставы на дыбе — уже другие, хорошие.

Игорь ЯРКЕВИЧ

ЛИТЕРАТУРА, ЭСТЕТИКА, СВОБОДА И ДРУГИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ВЕЩИ

Тягостное впечатление от нынешнего литературного процесса стало уже общим местом любой статьи, любой рецензии. Но в принципе оно не является новым для российской культурной ситуации.

Кажется, знаменитое утверждение «У нас нет литературы», мимоходом оброненное известным критиком в середине девятнадцатого века, висит как проклятие над русской литературой. То есть с литературой было плохо всегда, но каждый раз по-разному. Это утверждение стало априорной оценкой, которую современник выносит о современниках, меняется только эпоха. Потом проходит какое-то время, и к счастью для всех выясняется, что литература была, и далеко не самая плохая.

Любой нормальный разговор на литературную тему сегодня представляется невозможным. Произошла чудовищная путаница в терминах, каждый из них уже ничего не обозначает или, наоборот, применим к чему угодно. Теперешняя литературная критика напоминает умную собаку: она все понимает, только вслух сказать ничего не может.

Впрочем, это опять же не ново. Гоголя, помнится, в свое время усиленно делали главой «натуральной школы». Потом Гоголь стал писать мистику, а через полтора года «натуральная школа» превратилась в «постмодернизм». Но изменений по сути нет, в нашем контексте два этих понятия означают приблизительно одно и то же.

Но вообще «постмодернизм» — очень хорошее слово. А «андеграунд» еще лучше! Есть замечательные определения типа «другая литература» и даже более глобальные — «другая культура». Только вот по отношению к кому она другая — к Чингизу Айтматову или Франсуа Рабле? Что же касается андеграунда, то классическим произведением этого жанра теперь можно считать роман Александра Фадеева «Молодая гвардия». Роман — о подполье, все герои безукоризненно преданы подполью и мыслят свое существование только в его пределах, а сделан роман в самом что ни на есть андеграундном стиле — корявом, безыскусном, напрочь отталкивающим любого читателя.

Пусть будет «андеграунд», еще одна яркая зарубежная наклейка. Все-таки в конце концов понятно, о чем идет речь: «постмодернизм» — условное обозначение условного же поворота культуры, а вот «андеграунд» — это все, что не маховый соцреализм.

Но главная особенность сегодняшнего литературного процесса не в появлении новых слов, а в том, что «поминки по советской литературе» грозят перерасти в поминки по русской литературе вообще. Слишком тяжелое наследие досталось тем, кто оказался втянутым в этот процесс.

Российская культурная среда была в очередной раз обманута социализмом. Считалось, что бой с этим чудовищем будет затяжным и красивым, но чудовище взяло и рухнуло в один момент, предоставив всем полную свободу, а к ней культурная среда оказалась как раз и не готова. Наиболее видимую, публичную поверхность культуры и литературы в первую очередь стали определять в основном шестидесятники.

Беда не в том, что пресловутые шестидесятники были плохими в свое время. Беда в том, что их время безнадежно затянулось, и спустя десятилетия они продолжали делать то же самое. И делали они свое дело в конце восьмидесятых так же честно, как когда-то. Но только результаты уже были другие.

В России много всяких бед, а еще одна из них, что никто не умеет вовремя уйти. Более того, отдельный человек или целое поколение появляется на широкой общественной арене тогда, когда его творческий взлет уже далеко позади. Но в целом шестидесятникам можно только позавидовать — они легко и естественно умели произнести «мы», в их произведениях звучали голоса миллионов. Все романы как бы написаны одним писателем — только если, когда создавался «Архипелаг Гулага», этот писатель был одинок и сосредоточен, то для получения «Ожога» ему пришлось дышать самыми ядовитыми испарениями московского интеллигентского болота.

Солженицын и Аксенов, несмотря на кажущуюся эстетическую оппозицию, как раз эстетически удивительно похожи. Их эстетика определяет прежде всего засильем коммунистов. Все, что против коммунистов, — хорошо, неважно что, — джаз, церковь, сексуально-алкогольная неврастения, народный дух, лагерный бунт... Эта эстетика не допускает «я», разговор идет только от имени масс или поколений. У Аксенова в «Ожоге» протагониста нет совсем, он комбинирован из пяти наиболее характерных представителей эпохи. Как в известных спектаклях Театра на Таганке, где сначала пять актеров играют Маяковского, а потом Пушкина; шестидесятники умели делиться сюжетами.

Для писателей следующих возрастов проблем с «мы» уже не было. Они не имели такого безусловного коллективного опыта и могли произнести только «я». Но к своему «я» им пришлось достаточно долго пробираться сквозь светлые шестидесятнические воспоминания о том, как все были вместе, и светлые мечты, когда все снова будут вместе.

Для них этот мир, этот «совок» (а «совок» был единственной возможной реальностью) был уже не плох и не хорош. Это единственно возмож-

ный мир, иного не будет. И для достижения конкретного, а не придуманного мира оказался нужен опыт Шаламова.

Шестидесятники оценили Шаламова в основном как очередного лагерного свидетеля, а нынешняя критика так же воздала ему хвалу, как очередному социальному страдальцу. Человек сидел, человек страдал, его не печатали, и вокруг все было не слава Богу — такой вот лейтмотив практически всех статей. И вроде бы это правильно, но самого Шаламова здесь явно не хватает.

Шаламов, вероятно, самый «экзистенциальный» из русских писателей послевоенной эпохи. Его творчество точно соответствует высказыванию Адорно: «После Освенцима не может быть литературы». Шаламову не надо было объяснять смысл этой фразы, после советских лагерей литературы так же быть не могло.

Шаламов и не писал «литературу», Шаламов писал «романы» с ударением на первом слоге. На блатном жаргоне «роман» обозначает прежде всего не любовную интригу и не художественную форму, а устный ночной рассказ, которым образованный интеллигент занимает уголовников за определенную мзду. Тема рассказа — любая, на усмотрение рассказчика, лишь бы легко тянулась лагерная ночь.

Шаламов и «тискал» такие «романы», но уже для свободных людей. Недаром среди его «Колымских рассказов» так много повторяющихся сюжетов. Это словно бы все тот же «роман», который варьируется, обрастает бесконечными подробностями, а до утра еще далеко.

Но Шаламов меньше всего претендовал на роль новой Шехерезады в качестве гида по миру лагерей. Шаламов оказался первым писателем «конца литературы», отрефлексировавшим свое место. Литература кончилась, потому что ее интенцией перестал быть социально-исправительный результат. Шаламов никуда не звал и ничего не доказывал. Уголовная романтика, столь популярная у шестидесятников, ему отвратительна, и весь свой лагерный опыт Шаламов считает «отрицательным для человека».

Ситуация «конца литературы», обозначенная в европейской культуре в начале двадцатого века, стала близкой и понятной для русской культуры значительно позже, когда «роман» окончательно превратился в «роман». Собственно говоря, сейчас протекает новый «конец», но к таким «концам» уже начинаешь привыкать. Сам по себе очередной «конец» предполагает не исчезновение и не печальный итог, а новый виток или поворот культуры. Но многие незыблемые основания культуры лишаются на таком повороте своей уникальности.

Например, соцреализм. Он совсем не так одинок, аналогов ему вполне хватает. Если посмотреть на него без социальной боли и сквозь призму кино, то выясняется, что знаменитый американский фильм тридцатых годов «Унесенные ветром» по своим художественным достоинствам равнозначен советскому фильму тех же годов «Цирк». А если вернуться

к литературе, то романы Л. Фейхтвангера эстетически несколько не полярны знаменитой эпопее А. Толстого «Петр Первый». Не зря Фейхтвангер так любил Сталина... Соцреализм — все тот же «большой стиль», но только по-советски — изобретен не здесь, и он полностью равен «большому стилю» в любом другом месте.

И тогда возникает потребность в гирях (писателях) «новой» литературы, которые смогли бы уравновесить весы культуры, на которых перевешивают писатели «большого стиля».

Пишут и те и другие об одном и том же, но перепутать их невозможно. Для писателей «большого стиля» что концлагеря, что проститутки интересны не как самодостаточные ценности, а только как средства к улучшению мира. Поэтому лагерь Шаламова находится в ином измерении, чем лагерь Солженицына, а «Интердевочка» В. Кунина не о чем будет разговаривать при гипотетической встрече с «Русской красавицей» Вик. Ерофеева, хотя обе они — коллеги. Но если «Интердевочка», лежащая на чаше «большого стиля», ищет правду только на земле и вся пропитана зависимостью от социально-политических условий и полным отсутствием рефлексии и метафизики, то «Русская красавица», хоть и не менее уверенно плывет по волнам поп-культуры, но ищет ту правду, которой нет и выше.

Для «новой» литературы ее противостояние «большому стилю» стало главным и по началу единственным достоянием. Сами по себе различия внутри нее были не так важны до тех пор, пока в «новую» литературу автоматически не стало зачисляться все, что хоть как-то не напоминает «большой стиль».

А потом разбираться уже не было времени. Дальнейшее существование «новой» литературы пришлось на расцвет гуманитарного кризиса, и он уже не предоставил места для внятных разговоров о любой литературе.

И снова не обойтись без участия шестидесятников. Хотелось бы оставить их в покое, но на чужих ошибках хотя бы иногда учиться надо.

Их голоса наиболее звонко прозвучали тогда, когда культурная парадигма безнадежно изменилась. Но для шестидесятников, владевших в конце восьмидесятых всеми «толстыми» журналами и издательствами, время словно бы остановилось. Всему необъятному книжному рынку был словно бы сделан приказ равняться на «Доктора Живаго» и «Жизнь и судьбу». И совершенно закономерно для книжного рынка такое равнение ничем хорошим кончиться не могло.

Вероятно, для своего времени это были очень нужные романы, но превращать их в бестселлеры через тридцать лет после создания было полным абсурдом. Но люди, определявшие, что издавать, без всяких колебаний считали, что если вся страна прочтет в миллионах экземпляров то, что они сами узнали в далекой молодости из плохого ксерокса, то вся жизнь непременно изменится. Их интересовали только глобальные, а не локальные культурные и эстетические изменения.

Задолго до 1985 года во всех либерально ориентированных тусовках звучало как девиз: «Если завтра опубликовать Солженицына и Библию, то послезавтра мы проснемся в другой стране». Господство над миром посредством литературы — эта идея грела не только сердца секретарей СП. Разными представлялись только авторы, то есть средства.

Хиты русской литературы многолетней давности следовали один за другим, но читатель начинал скучать. И тогда настало время публицистики — она стремительно и честно подняла тиражи. Причем публицистика, как правило, была очень плоха. Это была не история, не историософия, не экономика в чистом виде, а именно публицистика, то есть откровенная спекуляция на малом количестве информации. Где-то и когда-то, пусть слишком поздно, но лучше поздно, советский читатель должен был прочитать то, что он и так давно знал: колхозы — плохо, Ленин — плохо, уничтожение Аральского моря — плохо и так далее, список плохого оказался бесконечным. Советский человек стал вечным Адамом наоборот, несовершенство мира с каждым новым номером «толстого» журнала открывалось ему с новой стороны. Под аккомпанемент вечного первооткрывательства неплохо шла и русская литература.

Странно, что издательский кризис не наступил два-три года назад, а только сейчас, когда окончательно изменились социально-экономические условия. Время спекуляции должно было когда-нибудь закончиться.

И этот кризис совершенно закономерен. Любая гуманитарная деятельность, издательская в том числе, определяется в первую очередь степенью эстетического накала. Чем выше накал, тем больше смысла имеет гуманитарная деятельность. В издательской практике конца восьмидесятых этого накала не было в принципе.

Официозный литературный процесс шел под прежними флагами. Не возникло внятных издательских концепций, с невероятным замедлением осуществлялась ротация имен, да и в конце концов количество демократии, резко возросшее в политике и экономике, в издательской практике оставалось на прежнем уровне.

Не могли спасти ситуацию и эмигранты. Большинство из них при ближайшем рассмотрении оказалось не лучше и не хуже советских писателей, но эмигрант — это уже не советский, а значит практически — зарубежный. Насколько «Панасоник» лучше «Электроники», а «Форд» — «Жигулей», ровно настолько же русский зарубежный писатель казался притягательнее русского советского. Взять в руки журнал или книжку, где бывший соотечественник, — это ведь все равно, что открыть банку импортного пива.

Но эмигранты всех обманули. Нетерпеливая общественность ждала, что ее одарят не только произведениями с определенным сроком давности, но и ощущением связи с мировой культурой. И зря надеялись. В основном писатели уверяли, что за годы проживания на своей новой Родине

не выучили ее языка, а также расписывались в своей горячей нелюбви к Западу и охотно вспоминали годы борьбы с тоталитарным строем. До мировой культуры уже просто не доходили руки. Более того, скоро литературная ситуация в метрополии стала идентичной той, которая сложилась в изгнании: разомкнутость культурного пространства, какие-то вечные разборки... И пафос объединения «наших» с нашими, русских зарубежных с русскими советскими, двух половинок одной литературы, уже оставил, кажется, даже самых ревностных сторонников такого союза.

Официальная литературная песня сопровождалась неизменным рефреном: «Раньше не печатали, потому, что было нельзя, а теперь напечатали и все будет хорошо». Куплеты в песне менялись и переставлялись — Кузмин, Шестов, Иоанн Кронштадтский, Хрущев, Галич, — но рефрен оставался одинаковым. Притом уверенный в том, что «все будет хорошо» исходила прежде всего из того, что конкретное произведение не было напечатано в России в течение последних семидесяти лет. А поскольку не печаталось практически ничего, а потом вдруг стало печататься как будто бы все, то сам собой родился миф о безразмерности русского духовного мешка. Казалось, что сколько раз в этот мешок руку не засунешь, то обязательно вытнешь каждый раз что-нибудь интересное и новое.

Но только вот читатель оказался потерян. Под читателем, естественно, подразумевается не вся Вселенная, а до сих пор большой российский культурный рынок. По социологическим подсчетам, этот рынок составляет от семи до десяти миллионов человек. Вроде бы должно хватить на всех.

Но отсутствие внятных издательских концепций (что издавать в журнале, а что — книгой, каким должен быть журнал и т.п.) привело к полному разрыву между читателем и литературой. Читателя неподготовленного второпях вываленный мешок оглушил; а читателю подготовленному содержание мешка стало неинтересно. То есть средний читатель понял, что русская литература прежде всего — это что-то о политике давних лет и исключительно в черно-белом варианте. И сейчас надо доказывать, что современная литература — это не только Ленин и Сталин, но еще и любовь, эротика, метафизика, все традиционные и нетрадиционные «вечные» и «проклятые» вопросы, и ничто человеческое ей не чуждо.

Но где доказывать и как? Поразительно, фантастично, но это факт — за годы свободы в России не возникло ни одного (!) нового регулярного литературного журнала. Представление о «новой» литературе дают в основном альманахи, между выходами которых большие промежутки: создаются они по принципу: «Сделаем номер, а там посмотрим», и большинство из них не доходит даже до читателя элитарного. Инфраструктура разрушена напрочь, отсутствует литературная журналистика, критика, все существуют сами по себе — альманахи, издательства, писатели, читатели, литературный процесс.

И здесь не виновата экономика или другие социальные факторы. Кризис издательский — дело самой литературы. Эстетический накал был настолько слаб, что просто удивительно, как вообще что-то выходило. Издатели второй половины восьмидесятых годов были ориентированы на любую культурную ситуацию, кроме той, что сложилась в реальности, а имя ей (разумеется, опять же условно, но точных литературных идентификаций нет, критика озабочена другим) постмодернизм. И эта ситуация требовала уже совершенно иных издательских концепций, и прежде всего попыток слияния «элитарного» и «попсового». Разделять две эти категории в нынешней ситуации бессмысленно. Хороша такая ситуация или нет — вопрос другой, но еще Пушкин советовал, что лучше быть дураками по моде, чем вне моды. Перефразируя Пушкина, можно заметить, что лучше быть дураками по конкретной культурной ситуации, то есть по «постмодернизму».

Но ни шестидесятники, ни все остальные «дураками» быть не захотели. И литература оказалась в плотной и надежной изоляции, просто перестав быть частью культуры. Она оторвана от театра, кино, живописи... С одной стороны, это вполне объяснимо, ведь если раньше все были вместе — художники, музыканты, врачи, поэты, краснодеревщики, то теперь каждому надо идти своей профессиональной дорогой. Но с другой стороны, изоляция литературы от культуры — феномен откровенно прискорбный. Дело в том, что русская культура, как, впрочем, и любая европейская, всегда «вращалась» вокруг слова, вокруг Логоса, в отличие от тех культур, которые строились на визуальном восприятии. И выпадение литературы из культуры означает для культуры отсутствие «центра», объединяющего и подстегивающего.

А писателю никак не удастся снять с себя доспехи героя. Если раньше он сражался против идеологического идиотизма, то теперь — против экономического. То, что с большой натяжкой можно назвать русским постмодернизмом, вполне соответствует российскому книжному рынку. Писатель барахтается в оппозиции «попсовое» (коммерческое) — «элитарное» (некоммерческое), хотя такое противопоставление абсолютно бесперспективно. Впрочем, для гуманитарного кризиса характерны надуманные, взятые откуда-то с потолка историсофские и культурологические схемы как в отношении прошлых лет, так и своего времени.

Равнение на прошлые культурно-исторические пласты без учета сегодняшней ситуации, без критического подхода к необъятному наследию является определяющим в издательской практике. Хороший или плохой философ Бердяев — раньше такой постановки вопроса просто быть не могло, потому что Бердяев, как одно из действующих звеньев борьбы с коммунизмом, был «святым». Нет больше коммунизма и необходимости борьбы с ним, но «святость» Бердяева и других персонажей культуры все равно не подлежит сомнению. Издатели «коммерческие» (а иначе как в кавычках их обозначить нельзя, сложно представить, например, во Франции, коммер-

ческие издания Бердяева) озабочены прежде всего созданием полки непререкаемых авторитетов, священной плеяды борцов. И без каких бы то ни было попыток серьезного разговора, насколько дело этих борцов «работает» в сегодняшней ситуации, только «святые» — и все. А самый убедительный довод: раньше ведь не печатали, об этом даже и подумать было нельзя, а теперь вот напечатали, и все должно сразу измениться к лучшему.

Но главная причина этой «святости», пожалуй, в другом. По уже сложившимся стереотипам, Бердяев и другие религиозно-философские писатели несли иную эстетику, чем вскоре победивший ленинизм.

И Бердяев, и Ленин в одинаковой степени выросли на марксизме. Бердяев, кстати, всегда любил Маркса и ценил его. И не случайно, что марксизм наложил на Бердяева не менее значимый отпечаток, чем на Ленина. Знаменитая фраза последнего «Учение Маркса всесильно...» могла бы вполне принадлежать и первому.

Самым страшным оружием большевиков всегда была демагогия. Перед фразой, типа только что процитированной, можно только склонить голову и завороченно смотреть, как кролик на удава; никаких логических аргументов против нее найти невозможно. Немало подобных фраз есть и у Бердяева.

В статье 1907 г. «Метафизика пола и любви» он пишет: «Возьмем для примера хотя бы Пшибышевского, отравленного демонизмом пола, проклятием пола. Да и вся почти новая литература пишет о том, как демоничен пол, как не может с ним справиться современный человек».

Прошло много лет, в новой литературе произошла естественная ротация имен, но критика «толстых» журналов продолжает упрекать ее в том, что пишет она только о поле и, следовательно, далека от истинных христианских позиций. И это неудивительно, в последние годы целый ряд «толстых» журналов как по приказу сменили свои невразумительные политические и гуманистические «позиции», на такие же невразумительные, но уже христианские.

Ориентация журналов может быть какой угодно, но упреки к новой литературе — очень похожи. Стрелка часов времени словно бы застыла на 1907-м годе.

Держатся эти позиции в основном на зыбких и достаточно инфантильных представлениях — в частности, что своеобразие России объясняется прежде всего двумя прилагательными: крестьянская и христианская. Но ведь любая европейская страна и даже некоторые страны Америки тоже являются христианскими. И тоже были до какого-то времени исключительно крестьянскими. Но никто же не выводит только из двух прилагательных особенности менталитета среднего ж и т е л я одной из этих стран. С Россией как всегда все сложнее: умом не понять, зато можно поверить. Но верить-то м о ж н о по-разному.

Неизвестно почему, легко забывается, что Россия всегда была конфессионально неоднородна. И дело здесь не в других религиях, которые существовали территориально рядом с православием, а в том, что начиная с реформы Никона дало трещину само православие. Но этот год практически не отражен в современных истории и историософии, в основном он известен по романтическим преданиям. Значительно менее интересные даты упоминаются (хотя часто и концептуально беспомощно) несравненно чаще. И само православие моделируется по образу государственно-синодальной религии. Просто удивительно, что религия, имеющая бесконечное множество оттенков — от интеллектуально-изошренного до всевозможных форм «народного» православия, объединяющего древние архетипы с церковной догматикой, сводится к одному знаменателю.

Ожидали от «толстых» журналов, на самом деле, другого, а именно — заполнения провала, находящегося там, где должна быть христианская эстетика — своеобразный «мост» между церковной догматикой и светской жизнью. Понятно, что такую эстетику нельзя создать, но попытаться выявить ее и описать было бы вполне по силам. Но нет, все это как-то сложно, гораздо проще в сто первый раз обвинить новую литературу в аморальности, безнравственности, отходе от традиционных для русской литературы чистоты и теплоты.

Да только литература и не обязана отвечать никаким церковным нормам. Она — занятие исключительно светское, а когда критик, который также занят светским делом — литературной критикой, публикует статью с претензиями к новой литературе в светском также издании, все это в итоге выглядит достаточно забавно. С таким же успехом можно обвинить новую литературу, что она не соответствует правилам игры в баскетбол.

К тому же русская культура, как опять же, впрочем, и любая европейская, последнюю тысячу лет существует исключительно в рамках христианства, и любой писатель, владеющий русским, априорно находится среди знаков и флажков христианоцентричной культуры. И в рамках этой культуры Евгений Харитонов ничуть не менее христианский писатель, чем Гаршин или Глеб Успенский.

Вообще новая литература значительно более традиционна, чем это кажется на первый взгляд предубежденному читателю. Например, вполне традиционно для писателя раздвоение на «экзистенциалиста» и «гражданина». «Экзистенциалист» слишком далек от окружающих его реалий, его занимает мир страстей, но из этого мира надо порой возвращаться к жизни, и тогда на помощь приходит «гражданин», который пишет статьи и ведет активную общественную работу. Бахтин назвал некоторые статьи «Дневника писателя» Достоевского «персонажными», то есть их вполне мог бы написать кто-нибудь из персонажей «Бесов» или «Идиота». Приблизительно такое же впечатление персонажности остается от публицистики и выступлений Эдуарда Лимонова. Трудно

представить отрывки из его романов «Это я, Эдичка» или «Подросток Савенко» на страницах тех изданий, где Лимонов регулярно печатается как журналист. А любопытному читателю остается только терпеливо ждать — кто же окажется сильнее, кто в конце концов победит: «эксистенциалист» или «гражданин».

Достаточно традиционна и ситуация, в которой оказалась новая литература. Русское культурное пространство всегда было «разорвано», цифровые совпадения не обещают ничего хорошего. Так и не познакомилась Толстой с Достоевским, никогда не выезжал за границу Пушкин, а после его гибели на квартире остались нераспроданными тысяча семьсот семьдесят пять экземпляров «Истории Пугачевского бунта», который был, как известно, в 1775 году.

Что касается эротики, с которой так усердно связывают новую литературу, то сегодня именно эротика мало кого интересует. В основном, это — «как бы» (любимое выражение русского постмодернизма) эротика, некая отдаленная область, куда можно убежать от социальной заколдованности будней. И символизирует эротика, как правило, совсем другое, к эротике прямого отношения не имеющее, а то и прямо ей противоположное.

Стоит попытаться определить смысл российского постмодернизма. Главное его достоинство — точное зафиксирование ситуации «конца литературы», когда уже окончательно ясно, что роман (рассказ, повесть) писать нельзя, и каждый раз роман (рассказ, повесть) означает удачный выход из положения «нельзя писать». Постмодернизм «юридически» оформил дистанцию между писателем и его произведением. Но опять же это не совсем ново для России.

Уже в «Евгении Онегине» эта дистанция четко определена. Да и Достоевский умел обыграть эту дистанцию.

Постмодернизм можно поблагодарить и за то, что многие противоречия русской культуры он высветил ярко и сильно. И если сейчас становится ясно, что читать Бердяева такое же удовольствие, как и Ленина, то это все-таки признак более серьезного отношения к культуре. Зато все видные звезды Баркова и Генри Миллера...

Никакая новизна невозможна на долгое время, поэтому новая литература перестала быть собственно «новой», она превратилась в «нормальную» профессиональную литературу. И уже в качестве таковой ей предстоит определять дальнейший ход литературного процесса, а во многом также и культурного.

Но выступать она уже будет, разумеется, не в роли указателя и чревощителя. А в какой? Может быть, в роли кота, умеющего каждый раз по-новому для членов семьи оценить давно знакомые вещи квартирной обстановки.

Валерий РОНКИН

СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ

(Архетипическое и актуальное)

Есть вещи экзотические и необыкновенные, а есть — привычные нам с самого детства. Сталкиваясь с чем-либо необыкновенным, мы рассматриваем его с интересом и вниманием, привычное же мы, как правило, своего внимания не удостоиваем. Между тем свежий взгляд на явление давно известное может открыть в нем много чудесного и удивительного. В журнале «Наш современник» (№ 9, 1987 г.) было опубликовано письмо журналиста Б. Пинаева из Свердловска «Унижение классики», в котором автор, в частности, ставит знак равенства между Древней Русью и царством Салтана. Письмо Пинаева было тем толчком, который вновь привлек мое внимание к знаменитой сказке и другим материалам, связанным с ней.

Тема странствия младенца по волнам, в корзине, сундуке, ящике, — одна из самых распространенных тем фольклора, в том числе и русского: эти странствия являются метафорой «загробных» странствий закатившегося солнца по потустороннему миру. (Наиболее явственно солнечные свойства героя проявлены в персонаже «Махабхараты» Карне, рожденном от бога солнца Сурьи и во всем подобном отцу — наделенном блестящим панцирем и золотыми серьгами. Стыдясь своего материнства, дева Кунти положила его в корзину, обмазанную воском, и пустила плыть по реке).

В восточных сказках, использующих этот сюжет, младенец наделяется теми или иными солнечными чертами — золотой, золотоволосый (памирские, кавказские варианты). Для западной традиции признаки такого рода не характерны, зато в мифе о Персее появляется мотив драконоборства и спасения девушки.

Для русского фольклора характерны солнечные признаки героя: «ручки по локоть золотые, ножки по колено серебряные». Мотив спасения женщины от чудовища в русских сказках отсутствует.

Первую запись, связанную с сюжетом будущей сказки, Пушкин делает в 1822 году в Кишиневе. Начало записи явно фольклорное, но в целом можно предположить, что она навеяна одной из новелл Чосера, с которым Пушкин был знаком по французским переводам. В записи уже фигурирует царь Салтан, имя в народных записях мне не встречавшееся. (У Чосера — сирийский Султан). 1824 годом датируется более полная запись этой же сказки, в которой также фигурирует царь Салтан.

Имя другого героя пушкинской сказки — Гвидон — автором заимствовано из лубочного цикла о Бове-королевиче, являвшегося русской интерпре-

тацией французского рыцарского романа, сюжет которого Пушкин пытался воспроизвести в незаконченном юношеском произведении. В этих же лубочных картинках фигурирует и противник Бовы — Салтан, иногда Салтан Салтанович (как и в сказке, записанной Пушкиным). Название одного из лубочных циклов «Сказка о храбром, славном и могучем витязе и богатыре Бове» несомненно повлияло и на название пушкинской сказки: «Сказка о царе Салтане, о сыне его, славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебедь».

Еще одним возможным источником пушкинских ассоциаций возможно является французская «Сказка о лебедином рыцаре» из средневекового сборника «Римские деяния» ("Жеста Романерум"). В этой сказке, как и во многих народных вариантах сказок, аналогичных по сюжету пушкинской, вредительницей является свекровь, отправляющая чудесных детей в лес на погибель, где их подбирает старик-отшельник; когда бабка узнает об этом, она пытается превратить своих внуков в лебедей.

Наконец, еще одним источником ассоциаций мог быть образ Егория Храброго (Георгия Победоносца) народных духовных стихов. Вот портрет пушкинской записи: «ножки по колено серебряные, ручки по локотки золотые, во лбу звезда, в заволоче месяц». А вот портрет Егория:

Святая Софья Премудрая
 Породила она сына Егория:
 По колена ноги в чистом серебре,
 По локоти руки в красном золоте.
 Голова у Егория вся жемчужная,
 По всем Егории часты звезды.

Хотя этот и подобные ему тексты были опубликованы через 30 лет после написания «Сказки о царе Салтане», Пушкин мог быть с ними знаком непосредственно от бродячих слепцов, распевавших духовные стихи. В образах сказочного младенца и Егория много общего — Гвидон мужает в бочке, Егорий — в подземелье, куда его посадил царь Демьянище; освободившемуся из подземелья Егорию противостоит некая Черногар-птица, которую он побеждает молитвою. Как бы то ни было, исходил ли Пушкин из знакомства с текстами духовных стихов или руководствовался поэтической интуицией, в образе Гвидона угадываются черты Георгия Победоносца. Пушкин освободил его образ от золотых ручек и серебряных ножек, но каким бы путем ни шли пушкинские ассоциации, от путешествия вместе с матерью в сундуке по морю (Персей) или от образа Егория, несомненно одно — Пушкин обогатил распространенный в России сюжет мотивом спасения женщины от темной силы, мотивом более характерным для западной куртуазной рыцарской поэзии, чем для русского фольклора. Целиком пушкинское создание и образ царевны Лебедь вобрали в себя, с одной стороны, черты русской Василисы Премудрой, с другой — библейской Софьи Премудрой (обра-

зы, впрочем, восходящие к одному архетипу). Царевне Лебедь Пушкин передал некоторые черты чудесного мальчика из записанной им сказки — «месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит», брата — морские богатыри, которые в пушкинской записи являются братьями героя. (В русских народных сказках Василиса Премудрая — дочь морского царя).

Царевна Лебедь обладает не только божественной или магической мудростью устроительницы мира, ей присуща и обыкновенная житейская мудрость, мотив невероятный для фольклора. Когда Гвидон признается ей в любви,

Лебедь белая молчит
И, подумав, говорит:
«Да! Такая есть девица,
Но жена не рукавица:
С белой ручки не стряхнешь
И за пояс не заткнешь.
Услужу тебе советом —
Слушай: обо всем об этом
Пораздумай ты путем,
Не раскаться б потом».

Во всех мифологических традициях закатившееся солнце считалось владыкой страны заката, там же, на западе, помещались и острова блаженных, чудесные острова бессмертия и вечной молодости. В полном соответствии с мифологической традицией остров, на который волны выбросили бочку с героем и его матерью, находится на западе:

Мы объехали весь свет,
.....
А теперь нам вышел срок,
Едем прямо на восток,
Мимо острова Буяна
В царство славного Салтана.

И снова на архетипическую основу Пушкин накладывает некую иную реальность — блаженные острова мифов находятся на самом краю света, на самом западе, и возврат оттуда простому смертному невозможен. Между тем мимо нашего острова регулярно курсируют купеческие корабли, остров этот они посещают на обратном пути, возвращаясь из еще более западных стран, и каждый раз докладывают царю Салтану, что «за морем житье не худо». Но остров Гвидона лежит не просто западнее царства Салтана; чтобы вернуться домой, гостям следует проплыть «мимо острова «Буяна». Остров Буян не столько связан с народной сказкой, сколько с заговорами, в них он выступает как «центр мира» (на нем дуб о четырех ветвях, на нем камень алатырь, который посреди моря лежит, на нем голова самого Адама). «Центр» делит мир на две части: Запад и Восток. Восточному имени царя «Салтан» (властитель) противостоит западное имя, которое получает

герой, вступая во владение островом и городом: «И нарекся князь Гвидон». (Итальянское имя «Гвидо», как имевшее ту же транскрипцию французское слово, означает «вождь», «руководитель». Пушкин не мог не обратить внимания на значение этого имени, тем более что в лубочных сюжетах о Бове, как и во французском романе, противопоставление «западного» Гвидона «восточному» Салтану имеет существенное значение).

Через много лет после выхода пушкинской сказки и после гибели самого поэта русский драматург Островский вложит в уста странницы Феклуши такие слова: «Говорят такие страны есть, где и царей-то нет православных, а салтаны землей правят. В одной земле сидит на троне салтан Махнут турецкий, а в другой — салтан Махнут персидский: и суд творят они надо всеми людьми, и что ни судят они, все неправильно, такой уж предел положен. У нас закон праведный, а у них неправедный; что по нашему закону так выходит, а по ихнему все напротив. И все судьи у них, в ихних странах, тоже все неправедные; так им и в просьбах пишут: “Суди меня, судья неправедный!”». В записанном Пушкиным варианте сказки никакой судья не фигурирует, но вот в записи Афанасьева тетки подменяют племянника, и царь приказывает жену судить: «Собрались, съехались люди старшие — нет числа! Судят, рдят придумывают-пригадывают, и придумали царевне голову рубить. Нет, — сказал главный судья, — выколоть ей глаза, засмолить с ребенком в бочку и пустить в море; виновата — потонет, права — выплывет». В пушкинской сказке бояре (люди старшие) чинят нечто вроде суда:

Делать нечего: бояре,
Потужив о государе
И царице молодой,
В спальню к ней пришли толпой.
Объявили царску волю —
Ей и сыну злую долю,
Прочитали вслух указ,
И царицу в тот же час
В бочку с сыном посадили,
Засмолили, покатали
И спустили в Окиян —
Так велел де царь Салтан.

Мы видим, что поэт прямо следует народному мнению о том, «что ни судят они, все неправильно». Таково «окружение» царя Салтана, впрочем, и сам Салтан, несмотря на то, что он является «положительным» героем сказки, получив весть о рождении у него «неведомого зверушки», ведет себя «по-азиатски»:

Как услышал царь-отец,
Что донес ему гонец,
В гнев начал он чудесить,

И гонца хотел повесить;
Но смягчившись на сей раз,
Дал гонцу такой приказ:
«Ждать царева возвращенья
Для законного решенья».

С удивительно тонким юмором обыгрывает здесь Пушкин простонародное «царь-отец» — речь ведь действительно идет о его отцовстве, но одновременно и о восприятии его гонцом, как родного отца, который хочет — казнит, хочет — милует. Мы можем только догадываться, почему бояре ничего не сказали Салтану по возвращении — очевидно, не хотели ссориться со всеильной троицей или боялись, что в гневе царь начнет чудесить и на сей раз может не смягчиться.

Как библейской мудрости Софии противостоит некая «женщина безрасудная, шумливая, ничего не знающая», так в сказке Пушкина царевна Лебедь противостоит баба Бабариха. Если ткачиха с поварихой затевают подмену писем из зависти и корысти, то Бабариха, бабка Гвидона и, следовательно, мать всех трех девиц, принимает в ней участие единственно из глупого тщеславия и суетной гордыни. Соответственно и наказаны они по-разному. Ткачиха с поварихой окривели. В русском языке слово «кривой» не только означает «одноглазый», но и противопоставляется слову «прямой», как правда — кривде, это противопоставление архетипично. Если слепота в мифе — признак мудрости (у Фемиды на глазах повязка, чтобы она не обращала внимания на внешнее, суетное), хорошее зрение — признак ума, то одноглазие — признак хитрости и хищности (одноглазы пираты, Циклоп, Лихо — одноглазое). Бабариха же наказана иначе: она задирала нос, совала нос не в свое дело, вот и получила по носу, осталась с носом, изрядно опухшим. Наказание троицы — это проявление скрытых до поры качеств персонажей, реализация метафоры. Ткачиха с поварихой присутствуют во многих сказках этого типа у разных народов, а вот Бабариха в подобной ситуации появляется только у Пушкина. Но не из ничего, а опять-таки из фольклора. Бабариха — языческий персонаж русских заговоров, имеющий некоторые солнечные черты. «Бабариха держит каленую сковороду, которая ее не жжет, не печет, не тревожит, так бы и меня, имярек, болезнь не жгла, не пекла, не тревожила».

Интересно сравнить и те чудеса, которыми отметил Пушкин остров «Гвидонию», с чудесами фольклорных источников. Чудесный город есть во всех сказках этого типа, во многих из них есть, в той или иной форме, и тридцать три богатыря. Царевна Лебедь — целиком авторский образ. В записанной Пушкиным сказке есть еще дуб с золотой цепью, по которому ходит кот ученый и, как символ богатства нового царства, «два бобра грызутся, а меж ними сыплется золото да серебро».

Освободив дуб от золотой цепи и кота, Пушкин использовал его как символ дикого, нежилого острова:

В море острѳв был крутой,
 Не привальный, не жилой;
 Он лежал пустой равниной;
 Рос на нем дубок единый.

Символом же цивилизованного острова, а заодно и символом его богатства становится ель с золотыми орехами и живущей на ней белкой. Сказки знают немало чудес, сказочные яблоки могут быть и молодильными и золотыми, но ни в одной сказке яблоки не растут на груше или на березе. Однако ель с золотыми орехами не досужий вымысел Пушкина, такая ель существует — это новогодняя, рождественская елка. «Переняв, через Питер, от немцев обычай готовить детям к Рождеству разукрашенную, освещенную елку, мы зовем иногда так и самый день елки, сочельник» (толковый словарь Даля). За тридцать лет до выхода в свет далевского словаря немецкий, западный характер елочной традиции должен был ощущаться не менее остро. И белка, скачущая по символическому дереву, образ тоже западный, скандинавский. Обращение с чудесной белкой тоже западно-прагматическое:

Князь для белочки потом
 Выстроил хрустальный дом.
 Караул к нему приставил
 И притом дьяка заставил
 Строгий счет орехам весть,
 Князю прибыль, белке честь.

Соответственно «все в том острове богаты, избоб нет, везде палаты». В «Гвидонии» вся жизнь сочельник, в «Салтании» в сочельник тоже происходят чудеса, разве не чудо — царь, бродящий в одиночестве между простолюдинами? Ведь именно в сочельник должен был состояться разговор, закончившийся так:

Здравствуй, красная девица, —
 Говорит он, — будь царица
 И роди богатыря
 Мне к исходу сентября.

Рождественское чудо может случиться повсеместно, но вот рождество в «Салтании» не празднуют, иначе с чего бы то царь вечером стал в одиночестве бродить «позадь забора». Вообще, описывая «Салтанию», Пушкин тщательно избегал разговоров о тамошней религии. Фавор, в который попали Бабариха и ее дочери, свидетельствует скорее о язычестве, чем о христианстве. Другое дело, когда речь заходит о чудесном острове. Князь Гвидон крещен с детства, но узнает читатель об этом только тогда, когда бочку выбрасывает на берег: «Со креста снурок шелковый натянул на лук дубовый».

Вот возникает на острове волшебный город: «Блещут маковки церквей и святых монастырей».

Мать и сын идут ко граду.
 Лишь ступили за ограду.

Оглушительный трезвон
Поднялся со всех сторон:
К ним народ навстречу валит;
Хор церковный Бога хвалит.

Корабельщики, вернувшись к Салтану, рассказывают ему про новый город со златоглавыми церквями. Вот Гвидон ведет царевну Лебедь к своей матери:

Над главою их покорной
Мать с иконой чудотворной
Слезы льет и говорит:
«Бог вас, дети, наградит».

Салтан, наконец, приезжает в гости к своему сыну: «Разом пушки запалили, в колокольнях зазвонили».

На протяжении сравнительно короткой сказки в связи с чудесным островом христианская символика упоминается, по крайней мере, семь раз. (В связи с «Салтанией» — ни одного!)

Итак «Салтания» и «Гвидония» противопоставлены друг другу как страны Востока и Запада, произвола и мудрости, язычества и христианства. Было бы, однако, бессмысленно искать их на географической карте. И лексика сказки (баяре, дьяки, гости, терема, палаты, избы), и экспорт «Салтании» («Торговали соболями, чернобурьми лисами»; «Торговали мы конями, все донскими жеребцами»), и архитектура «Гвидонии» («Блещут маковки церквей и святых монастырей»; «С златоглавыми церквями, с теремами и садами») — все это убеждает нас, что и «Салтания» и «Гвидония» — это все-таки Россия, Россия отцов и Россия детей, Россия прошлого и Россия будущего. (Метафорическое замещение временных соответствий пространственными, ежедневно иллюстрируемое перемещением солнца с востока на запад, является универсальным свойством нашего мышления — ср. «дорога жизни», «отрезок времени» и т.п.).

Конечно, создавая сказку, Пушкин не конструировал ее, как ребенок делает машинку из деталей конструктора, — поэтический синтез не есть «анализ наоборот».

В январе 1830 года Пушкин подал прошение на имя шефа жандармов Бенкендорфа о поездке за границу и получил отказ. Приходило ли ему в голову, что путешествия Байрона или Мериме ни в коей степени не зависели от жандармского благоволения? Безусловно.

В октябре 1836 года Пушкин пишет Чаадаеву: «Что надо было сказать и что Вы сказали, это то, что наше современное общество столь же презренно, сколь глупо; что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью, правом и истиной, ко всему, что не является необходимостью. Это циничное презрение к мысли и к достоинству человека. Надо было прибавить (не в качестве уступки, но как правду), что правительство все еще единствен-

ный европеец в России. И сколь бы грубо и цинично оно ни было, от него зависело бы стать сто крат хуже. Никто не обратил бы на это ни малейшего внимания». (Чем не описание «Салтанин»?!)

1834 годом пушкиноведы датируют набросок плана истории русской литературы. Вот отрывок из него (речь идет о допетровской эпохе):

«Литература собственно;

Причины:

1) ее бедности,

2) отчуждения от Европы,

3) уничтожения или ничтожности влияния скандинавского.

Сказки, пословицы: доказательство сближения с Европой».

Эти и подобные им размышления отразились в знаменитой сказке о царе Салтане.

Не о том ли думал и Лермонтов, когда писал свое знаменитое «Прощай, немытая Россия»? «Быть может, за хребтом Кавказа укроюсь от твоих пашей».

И уж совсем без обиняков на эту же тему писал А.К.Толстой, например, в балладе «Змей Тугарин» (1868 г.):

И в тереме будет сидеть он своим,
Подобен кумиру средь храма,
И будет он спины вам бить батожем,
А вы ему стукать да стукать челом —
Ой срама, ой горькая срама!

.....

И с честной посоритесь вы стариной,
И предкам великим на сором,
Не слушая голоса крови родной,
Вы скажете: «Станем к варягам спиной,
Лицом повернемся к обдорам!»

А.К.Толстой в виде сказки-баллады оформил свою политическую программу.

Не то у Пушкина — он писал сказку. Его политические взгляды, его размышления о судьбах России, страхи и надежды, помимо его воли и сознания, сложной системой образов накладывались на сказочный текст.

С помощью алгебры нельзя сконструировать гармонию, но можно этот текст полнее понять, анализ структуры художественного произведения не может заменить живого, непосредственного восприятия, но может обострить это восприятие, сделать его более полным и содержательным.

ПУБЛИЦИСТИКА

Леонид ЛЮКС

ОБРАЗЫ РОССИИ В ПОЛЬШЕ И В ГЕРМАНИИ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЗАРИСОВКА

Образы России, сложившиеся к середине прошлого века в Польше и в Германии, обнаруживают значительное сходство. Если принять во внимание глубокую разницу в исходной позиции по отношению к России обоих народов, то это сходство кажется особенно удивительным. Еще в 1813-1815 гг. царской империей в Германии восхищались, так как видели в ней освободительницу от тирана (Наполеона). В Польше же, напротив, поражение этого «тирана» воспринималось как национальная трагедия, ибо с именем Наполеона здесь связана была надежда на восстановление полной государственной независимости. И все же, несмотря на столь разный опыт, спустя всего лишь несколько десятилетий, и в Польше, и в Германии русофобия достигла почти одинаковой интенсивности.

Противоречия между Польшей и Россией не вызывают удивления, ибо за ними стоит вековая традиция. С особой силой они обострились после ноябрьского восстания 1830 года, явившегося своего рода рубежом во взаимоотношениях обоих народов. До тех пор Петербург предпринимал немало попыток склонить к лояльности политическую элиту включенной в состав России части Польши.

Почти парадоксом кажется то, что из всех держав, принимавших участие в разделе Польши, именно в автократической царской империи эти усилия предпринимались к началу XIX века особенно широко. Не в последнюю очередь это было связано с характером государственной власти, при которой политика в невероятной мере зависела от личности того или иного властителя. Как следствие, пропольские и либеральные симпатии Александра I оказали чрезвычайно благоприятное влияние на положение поляков. «Польши больше нет, но мы продолжаем жить как поляки в Польше», — такого рода высказывания помещиков в Восточной Польше были в начале прошлого века не редкостью.

Либеральную политику в отношении Польши, проводившуюся петербургским кабинетом до 1812 года, можно объяснить тем, что он стремился противопоставить наполеоновской концепции Польши собствен-

ную альтернативу. Но и после покорения Франции характер русской политики по отношению к западному соседу сначала почти не изменился. Флирт Польши с Наполеоном был забыт. Политическое и военное руководство Великого герцогства Варшавского (1807 — 1813 гг.) — одного из самых верных союзников Франции — по существу было сохранено в королевстве Польском, созданном на Венском конгрессе. Новое государство на Висле, несмотря на личную унию с русским царем, получило одну из самых либеральных конституций на континенте. В последние годы правления Александра I эта конституция все больше выхолощивалась. После восшествия на престол Николая I (1825-1855) политический курс Петербурга на Висле особенно обострился. И все-таки Николай I, несмотря на свою деспотическую натуру, чувствовал себя связанным словом своего брата и в мае 1829 года короновался в Варшаве, став королем Польши. Тем самым он подтвердил польскую конституцию, давно уже ставшую бельмом на глазу русских консерваторов. Будучи конституционной монархией, Королевство Польское находилось в непримиримом противоречии со всей остальной Российской империей (если не принимать во внимание Великое княжество Финляндское). В самой России конституционное разделение властей было введено лишь после октябрьского манифеста царя в 1905 году. Поэтому гнев царя и русских консерваторов по поводу «неблагодарности» поляков после восстания 1830 года был безграничным. С подавлением польского мятежа 1830/31 годов, к которому после некоторых колебаний присоединилась почти что в полном составе правящая верхушка Польского королевства, были уничтожены остатки польской самостоятельности.

Характерное для Польши противостояние государства и общества особенно обострилось после 1831 года. Социальный престиж был теперь никак не связан с государственными прерогативами и функциями. Правда, и после 1831 года сохранялось немало польских аристократов, занимавших высокие посты в судах и в аппарате управления государством. Но к их общественному авторитету это ничего не добавляло, ибо они служили не собственной стране, а иностранному господству. Иерархия общественных и государственных ценностей далеко разошлась между собой. Сложился общественный кодекс чести, запреты и заветы которого определяли жизнь в стране, пожалуй, гораздо сильнее, чем государственные законы.

Уже накануне 1830 года враждебность по отношению к России занимала в сознании польской элиты особое место. И тем более радикально эта тенденция проявилась после поражения 1830 года. На Висле царская империя воспринималась не просто как политический противник, а скорее как воплощение зла, борьба между двумя народами выступала как противостояние света и тьмы. Таким образом, конфликт перерастал политические рамки и приобретал псевдометафизический характер.

Особенно четко эта тенденция проявлялась у известных поэтов страны, прежде всего у Адама Мицкевича и Зигмунда Красинского. Они предостерегали Запад от отношения к России как к обычной великой державе, ибо этот деспотический гигант стремится, по их мнению, не только к тотальному подчинению своих собственных подданных, но и к порабощению всего мирового мира.

Примерно 10 тысяч польских эмигрантов, находившихся на Западе после 1831 года, продолжали там свои споры с Россией и появлялись почти везде и всюду, где велась борьба против царской империи. Но своей главной победы они добились на арене европейской общественности. Резкое ухудшение образа России на Западе после 1830 года объясняется не в последнюю очередь их влиянием. Борьба между польским Давидом и русским Голиафом увлекла многих европейцев, и симпатии к России испытывали только легитимисты. В глазах русских властителей, в свою очередь, поляки были синонимом бунтарства и непокорности. Но в то же время они ни за что не хотели удалить польскую занозу из тела империи. Убеждение, что от владения Польшей зависит судьба их империи, превратилось в своего рода идею фикс русских царей — замечает в этой связи английский историк А. Дж. П. Тэйлор.

Но не только господствующая бюрократия и близкие к правительству публицисты упрекали Польшу в чрезмерном анархизме. Подобных воззрений придерживались и некоторые классики русской литературы, такие, как Пушкин, Гоголь или Достоевский. Таким образом, зачастую извращенный образ России, создавшийся националистическими настроенными польскими поэтами, имел свой русский эквивалент. Разумеется, были и русские интеллигенты, восторженно относящиеся к Польше. Их восхищение вызывало свободолюбие маленькой соседней страны (Герцен, Бакунин). Но передать свое отношение большинству земляков им так и не удалось.

Затем, примерно три десятилетия спустя после ноябрьского восстания, наметилась разрядка в польско-русских отношениях. Деспотическая система Николая I, направленная на сохранение существующего положения, потерпела поражение в Крымской войне. Царская империя оказалась вынужденной заняться модернизацией своих устаревших политических структур. Грандиозные по размаху реформы начали проводиться в жизнь вскоре после восшествия на престол Александра II (1855-1881). Не остался в стороне от политики реформ и польский вопрос. И хотя Александр II категорически отказывался восстановить конституцию 1815 года, можно было ощутимо почувствовать перемену климата на Висле в конце 50-х годов прошлого века. Была провозглашена амнистия политическим заключенным, и в результате вернулись домой из Сибири многие изгнанники. Организационные связи, полностью разрушенные в стране в 1831 году, можно было наладить вновь. В 1857 году

было допущено создание так называемого Сельскохозяйственного общества, которое в течение короткого времени превратилось в важнейший политический фактор в Королевстве. Казалось, что оно представляет собой оптимального партнера для переговоров с петербургским правительством, которое явно устало от многолетней конфронтации с Польшей. С одной стороны, эта организация выдвигала консервативную социальную программу, и благодаря этому становилась приемлемой для русского правящего слоя. Но в то же время она представляла собой подлинный рупор польской общественности, и таким образом могла стать мостом между Петербургом и обществом в польском королевстве. Однако с последним обстоятельством была, как раз, и связана большая проблема. Чтобы избежать каких бы то ни было обвинений в чрезмерной уступчивости, председатель организации, Анджей Замоиский, уклонялся от любых шагов, которые можно было бы истолковать как коллаборационизм с русскими. Так анонимная власть общественного мнения, о которой никто не мог сказать, чьи интересы она выражала, парализующе влияла на единственного возможного посредника между Петербургом и польским обществом. Еще в 1815 году польские генералы и политики, служившие до этого Наполеону, могли без колебаний принести присягу своему новому суверену — русскому царю. Но переломный 1830 год и последующие десятилетия настолько углубили пропасть между обоими народами, что возврат к неомраченности 1815 года был уже невозможен. Польская политика России опять оказалась в тупике. Настроения в стране радикализировались. Но подавляющее большинство политически активных слоев в стране было все же против вооруженного восстания. К военной конфронтации подталкивало лишь незначительное радикальное меньшинство. Но его сила заключалась в том, что оно в крайней форме выражало ценности, признанные всей политической элитой страны. Ибо готовность бороться за независимость страны представляла собой моральное обязательство, от которого никто не мог отступить. Главное значение придавалось при этом не победе, а воле к сопротивлению. На Западе, где принято деловито и рационально рассчитывать свои поступки, по поводу такого поведения только пожимали плечами. Да и в самой Польше нашлись его многочисленные критики. Но при этом не замечалось следующее. При реалистическом рассмотрении геополитического положения Польши и соотношения сил между ней и ее противником можно было с точностью рассчитать, что в принципе страна не имеет никаких шансов вернуть свою независимость. И как раз поэтому национальный инстинкт самосохранения с неизбежностью должен был бы переместиться с материального в преимущественно идеальное измерение. Как исторический субъект Польша сохраняла свое существование до тех пор, пока она не отказалась от надежды на

национальное самоопределение — невзирая на ее явно утопический характер.

После поражения январского восстания 1863 года часть польской политической элиты отошла от максималистского образа мышления в категориях альтернативы: все или ничего. Этот поворот отразился в концепции тройственной лояльности, которая предписывала необходимость сотрудничества с державами — участницами раздела Польши и временный отказ от борьбы за достижение полной самостоятельности Польши. И даже в русской части Польши политическая элита отчасти готова была на верноподданнические жесты. Позиция, которой Петербург безуспешно добивался от поляков в 1830 — 1864 годах, теперь была налицо. Но русское правительство это больше не интересовало. Любого рода компромиссы и договоры с польским обществом были теперь для него исключены. Начиная с этого времени поляки должны были превратиться в русских, говорящих на польском языке и ничем больше не отличаться от других подданных империи. Петербургское руководство вновь погрузилось в бюрократический утопизм, который был в свое время отличительной чертой правления Николая I. Оно действовало исходя из убеждения, что посредством распоряжений и принудительного регламентирования можно изменить национальный характер народа. На рубеже веков против этой иллюзии попытался выступить один из самых значительных правоведов России — Борис Чичерин. Он говорил о том, что Россия отняла у Польши самое святое из всего, что у нее было — отечество. Как можно требовать от народа, чтобы он с этим смирился? У русских, пишет Чичерин, в результате не осталось другого выбора, кроме как установить деспотический режим. И он обесчестил не только угнетенных, но и самих угнетателей, оказав кроме того разрушительное воздействие на их правовую культуру. Но предостережения Чичерина не встретили никакого отклика.

На рубеже веков в Польше возникло влиятельное политическое движение, прилагавшее усилия к тому, чтобы пересмотреть коренным образом сложившийся в Польше образ России. Это была национально-демократическая партия под руководством Романа Дмовского. Наиболее опасного противника Польши Дмовский видел не в России, а в Германии. Дмовский говорил, что Германская империя — это жизнеспособная, набирающая силу держава, которая обязательно возобновит свой рывок на Восток. И если в Европе утвердится немецкая гегемония, то у Польши не будет никаких шансов восстановить свою независимость. Совсем другое положение вещей было в России.

Царская империя переживала глубочайший политический и социальный кризис, она представляла собой отмирающую ветвь исторического развития. И в пределах этого увядающего великана у Польши были довольно большие возможности для самовыражения и развития.

Дмовский взывал и к петербургскому руководству, призывая его к уступкам Польше. По его мнению, Россия стала особенно зависимой от поддержки Польши после поражения в русско-японской войне и революционных потрясений 1905 года: «От позиции России в польском вопросе зависит будущее России», — писал Дмовский сразу после революции 1905 года.

Но русская бюрократия так и не пошла на союз с польскими националистами. Причиной этого не в последнюю очередь был страх перед протестом русских националистов, от поддержки которых она зависела.

Большевики рассматривались в Польше главным образом как преемники царей. Пакт между Сталиным и Гитлером, Катынь или сталинский террор в Польше после 1944 года отнюдь не способствовали смягчению антирусских чувств на Висле. И все же ужасы национал-социалистической оккупации, которые за пять лет многократно превзошли ужасы 120-летнего владычества русских царей, привели к перемене в настроениях части польской общественности. Ведущую роль в этом процессе играла группа вокруг влиятельной католической газеты «Тыгодник повшехны». Она критиковала традиционную русофобию в стране и призывала к примирению с восточным соседом. В этой связи кое-кто из членов редакции клеймил романтическую идеализацию восстаний 1830 и 1863 гг. С особой остротой это делал публицист Станислав Стома. Мятаж 1863 года он характеризовал в 1963 году как акт безумия, отбросивший Польшу на десятилетия назад. Это «неразумное поведение» общества Стомма пытался объяснить глубоко укоренившимся «антирусским комплексом». Любая политика компромисса с Россией в польском обществе XIX века рассматривалась как своего рода предательство национальных интересов. В противовес этому компромиссы с другими державами, участвовавшими в разделе Польши, например, с Австрией, не вызывали подобных эмоций. Тезисы Стоммы вызвали гневную отповедь кардинала Вышинского, который видел в восстании 1863 года проявление здорового стремления народа к независимости. Молодые католические публицисты Круль и Карпинский со своей стороны критиковали (спустя несколько лет) польских политиков XIX века, стремившихся к компромиссам с царской империей. По их мнению, эти политики не понимали характера государственного устройства Российской империи, которая всегда и во всем была нацелена на тотальное угнетение своих подданных. Они считали, что царское правительство можно было подтолкнуть к уступкам единственным способом — революционным давлением снизу.

Правозащитник Адам Михник поставил в упрек этим публицистам (1975) то, что они не видели, что в русской традиции существовал не только деспотический, но и либеральный компонент. События 1989-91 годов лишь подтвердили слова Михника.

II

Немецкая русофобия середины прошлого века имела гораздо более сложную генеалогию, чем польская. Ни один из членов Германского Союза (1815-1866) не страдал напрямую от царского гнета. Тем не менее изначально либеральное национальное движение в Германии проявляло солидарность с угнетенными народами царской империи. И не случайно здесь русофобия достигла своего первого пика после подавления польского восстания 1830-31 гг. Но после того, как в 1848 году стало очевидно, что требование о восстановлении суверенитета Польши несовместимо с территориальными интересами Германии, восторженное отношение немецких либералов к Польше заметно остыло. Национальное собрание, заседания которого проходили в церкви святого Павла во Франкфурте, приняло в июле 1848 года подавляющим большинством голосов решение в пользу «здорового народного эгоизма» против «сентиментального космополитического идеализма» — то есть, против Польши. За независимость Польши и тем самым за революционный крестовый поход против России в конце концов выступили только радикальные левые. Но это свое требование они не в состоянии были осуществить точно так же, как и все остальные.

И все же, несмотря на отказ от поддержки Польши, после революции 1848 года немецкая русофобия достигла новой кульминации. Борцы за объединение Германии отдавали себе отчет в том, что территориальное преобразование Средней Европы, к которому они стремились, недостижимо без существенного ослабления позиций России. Николай I и его министр иностранных дел граф Нессельроде считали планы объединения Германии «нелепыми выдумками немецких профессоров» и рассматривали раздробленность Германии на мелкие княжества как неприкосновенную данность. По этой причине такие германские националисты, как Густав Дицель, в начале 50-х годов прошлого века были пламенными сторонниками войны против России. Правда, осуществить свои планы они не смогли. Немецкие государства во главе с Пруссией сохранили нейтралитет в ходе Крымской войны. Тем не менее национальное движение в Германии в значительной степени пожинало плоды динамизации развития в Европе, начавшейся вследствие поражения царской империи.

Однако, в отличие от Польши, немецкая русофобия отражала лишь одну из сторон в отношении немцев к России. Среди представителей консервативного спектра немецкой общественности существовали и ярко выраженные русофильские тенденции. Критики западного просвещения и так называемого западного «декаданса» связывали с «неиспорчен-

ным» цивилизацией Востоком большие надежды. В связи с этим мюнхенский католический богослов Франц фон Баадер писал в 1841 году: «Промысел Божий удержал русскую церковь в стороне от всемирного европейского движения, а стало быть, и от движения в сторону дехристианизации как науки, так и гражданского общества». И поэтому русская церковь в состоянии «оказать освободительное влияние на Запад».

Август фон Хакстхаузен восхвалял преимущества русской сельской общины и оказал большое воздействие на русских славянофилов. Сильными пророссийские тенденции были и в высших слоях прусского общества.

Но и здесь в середине прошлого века стали намечаться новые тенденции. Тот факт, что царь рассматривал прусского короля как своего рода младшего партнера и непрестанно вмешивался во внутренние дела Германии, вызывал возмущение в правящих кругах Берлина. Они стремились как можно скорее избавиться от той всепоглощающей тени, которую отбрасывала гигантская восточная империя. И это произошло вскоре после объединения Германии в 1871 году. Пути Германии и России начинали постепенно расходиться. Еще в 1871 году Вильгельм I рассыпался в благодарностях русскому царю за нейтралитет России в франко-германской войне. Но уже два десятилетия спустя оба государства находились в разных политических лагерях, а их правящие слои оказались подхваченными потоком националистической фразеологии, в которой речь шла о неизбежной борьбе между славянами и германцами. Модернизация России, которую на рубеже веков пытались осуществить государственные деятели типа Сергея Витте и Петра Столыпина, стоила имперскому руководству Германии немало бессонных ночей. В страхе германского руководства перед слишком сильной Россией немецкий историк Фриц Фишер усматривает одну из главных причин развязывания первой мировой войны.

Но и после первой мировой войны, которую оба государства проиграли, установка немцев по отношению к России оставалась весьма амбивалентной. На одной стороне были Рапалло и беспримерная увлеченность веймарской элиты русской культурой. Хуго фон Гофмансталь, например, жаловался в 1921 году на то, что Достоевский, кажется, способен сбросить Гете с его пьедестала.

Однако в то же самое время необычайной интенсивности достигли и антирусские тенденции. Изоляция большевистского государства была для экстремистских националистических кругов в Германии большим собланом. С точки зрения Эрнста Нольте, например, Гитлер действовал «с сознанием уникальной исторической возможности... возможности искоренить русскую революцию при поддержке и симпатии со стороны европейской общественности и тем самым создать для Германии принципиально новое геополитическое положение, которое гарантировало бы ее будущее».

Без всякого труда Гитлер преодолел сопротивление прорусских кругов в империи и осуществил свою концепцию. И в результате страна, которую нередко обвиняли в преувеличенной русофилии, начала против России войну на уничтожение, которая в новейшей европейской истории является беспрецедентной.

Колебания между крайней русофобией и русофилией не в последнюю очередь были обусловлены срединным положением Германии. Россию рассматривали в Германии то как союзника против Запада, то как помеху, подлежащую устранению, с тем, чтобы прорвать блокаду вокруг Германии. И только интеграция Германии в западный мир после 1945 года, завершившаяся полностью в 1989 году, положила конец этим колебаниям. Правда, российские критики Горбачева усматривают в выдаче ключей к немецкому единству, хранившихся в Москве, предательство русских интересов, ибо окончательная интеграция объединенной Германии в западный мир якобы означает «аннулирование результатов второй мировой войны». Но при этом упускается из виду, что выступления Германии против Запада никогда не служили интересам России, ибо в конечном счете с особой силой обращались против самой России (1914-1918, 1941-1945 гг.).

Перевод Л. Л. Лисюткиной.

Сведения об авторах

Михаил Айзенберг (1948) — поэт, эссеист. Окончил Московский архитектурный институт. Печатался в журналах “Знамя”, “Театр”, “Глас”, “Огонек”, “Континет”, “Синтаксис”, “Время и мы”, альманахах “Личное дело”, “Понедельник”, “Молодая поэзия”. Живет в Москве.

Дмитрий Болотов (1965) — поэт. Окончил Тартуский университет. Опубликовал три стихотворения в газете ТГУ “Альма матер”. Живет в С.-Петербурге.

Андрей Бычков (1954) — прозаик. Публиковал рассказы в журналах “Новый мир”, “Октябрь”, “Смена”, в “Литературной газете”. В издательстве “Московский рабочий” вышла книга “Вниз-Вверх” в 1990. Живет в Москве.

Зиновий Зиник (1945) — прозаик, радиожурналист. До эмиграции в 1975 учился в Московском университете, сотрудничал с журналом “Театр”. Его рассказы и романы “Руссофобка и фунгофил”, “Извещение”, “Уклонение от повинности”, “Перемещенное лицо”, “Ниша в Пантеоне”, “Русская служба”, “Лорд и егерь” переведены на большинство европейских языков и в последнее время стали публиковаться в России. Живет в Лондоне.

Игорь Померанцев (1948) — прозаик, поэт, драматург, переводчик. До эмиграции в 1978 году опубликовал две подборки стихов в московском журнале “Смена”. Публиковал стихи, прозу в зарубежных русских журналах: “Ковчег”, “Время и мы”, “22”, “Синтаксис”, “Континент”, издал несколько книг. В последнее время печатается в отечественных периодических изданиях. Живет в Лондоне.

Валерий Ронкин (1936) — публицист, критик, культуролог. Окончил ленинградский Технологический институт. В 1965 осужден по 70-й статье за участие в т. н. “технологическом деле”. Провел в заключении, а затем в ссылке более 10 лет. Публиковался в западных и отечественных изданиях, таких как “Поиски”, “Век XX и мир”, “Звезда”, “Нева”. Живет в Луге.

Валерий Холоденко (1945) — прозаик. Окончил художественное училище им. Серова. Публиковался в альманахе “Молодой Ленинград” и в самиздатских журналах, в частности, “Обводном канале”. Живет в С.-Петербурге.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА, ПОЭЗИЯ

1. З. ХАНСЕЛК, И. СЕВЕРИН. Момемуры (пер. с англ. М. Берга)	5
2. В. ХОЛОДЕНКО. Книга моих преступлений (повесть)	87
3. Е. ШВАРЦ. Стихи последних лет	105
4. И. МАКАРОВ. «Адмирал Макаров» (рассказ)	115
5. Е. ХАРИТОНОВ. Слезы на цветах (рассказ)	119
6. М. АЙЗЕНБЕРГ. Что нам дано... (стихи)	133
7. И. ПОМЕРАНЦЕВ. Граф Рымникский (рассказ)	143
8. А. БЫЧКОВ. Билет в Н. (рассказ)	158
9. Д. БОЛОТОВ. Стихи	166

ПУБЛИКАЦИИ

10. В. КУЛАКОВ. Е. Кропивницкий: «Я - поэт окраины»	171
11. Е. КРОПИВНИЦКИЙ. Стихи	176
12. П. УЛИТИН. Фотография пулеметчика (проза)	185
13. З. ЗИНИК. Приветствие ваш неуспех. (Памяти Павла Улитина)	203

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

14. Н. ВОЛКОВА. Занимательная ветеринария	214
---	-----

КРИТИКА, ЭССЕИСТИКА

15. Н. КЛИМОНТОВИЧ. Уединенное слово	222
16. В. ЛИНЕЦКИЙ. Об искренности в литературе	229
17. Е. ШВАРЦ. Реквием по теплому человеку, или Маяковский как богослов	237
18. И. ЯРКЕВИЧ. Литература, эстетика, свобода и другие интересные вещи	243
19. В. РОНКИН. Сказка о царе Салтане	253

ПУБЛИЦИСТИКА

20. Л. ЛЮКС. Образы России в Польше и Германии	261
Сведения об авторах	270

“Вестник новой литературы” № 5

Обложка художника В.Т.Левченко
Технический редактор В.И.Петрухин
Корректор А.Т.Баруздина

Подписано в печать 24.02.93.
Формат 60x84 1/16. Бумага офсетная.
Гарнитура таймс. Печать офсетная.
Усл. п. л. 15,8.

Зак. 627. Тир. 5000 экз.

Набор и оригинал-макет выполнены
АО «Издательские-компьютерные системы “ИКС”»
С.-Петербург, ул. Бобруйская, 4, ком.25

Издательство Ассоциации “Новая литература”.
198005, С.-Петербург, а/я 237

Санкт-Петербургская картографическая фабрика ВСЕГЕИ
199178, С.-Петербург, Средний пр. В.О., 72

ВЕСТНИК НОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
